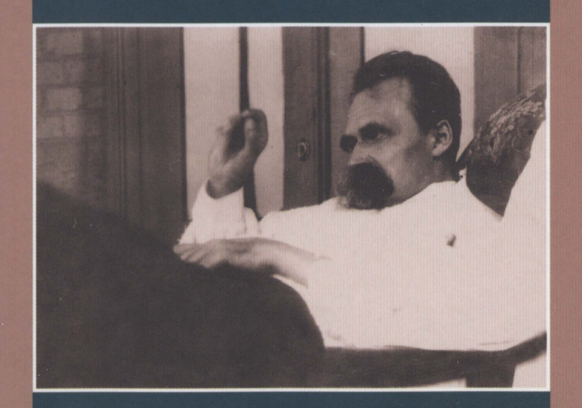
Фридрих Ницше



6

полное собрание сочинений


РЕВОЛЮЦИЯ
КУЛЬТУРНАЯ

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений в тринадцати томах

Издательство
«Культурная Революция»
Москва

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений

Шестой том

Сумерки идолов
Антихрист
Ecce homo
Дионисовы дифирамбы
Ницше contra Вагнер

Перевод с немецкого

Издательство
«Культурная Революция»
Москва 2009

ББК 87.3 Герм
Н70

Сверка, научное редактирование, общая редакция
И.А. Эбаноидзе
Перевод Ю.М. Антоновский, Я.Э. Голосовкер,
А.В. Карельский, В.Б. Микушевич, А.В. Михайлов,
Н.Н. Полилов, К.А. Свасьян, И.А. Эбаноидзе
Оформление И. Бернштейн

Ницше, Фридрих.
Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии.– М.: Культурная революция, 2005–
Т. 6: Сумерки идолов. Антихрист. Ecce homo. Дионисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер / Пер. с нем. Ю.М. Антоновского, Я.Э. Голосовкера и др.; науч. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2009. – 408 с. – ISBN 978-5-250-06071-4.

В шестой том полного собрания сочинений Ф. Ницше вошли наиболее поздние его произведения, созданные во второй половине 1888 года. «Сумерки идолов» публикуются в переводе Н.Н. Полилова, который был тщательно сверен и отредактирован. Текст «Ecce homo» подготовлен на основе перевода Ю.М. Антоновского, в который добавлены фрагменты нового перевода, в том числе те фрагменты рукописи Ницше, которые впервые увидели свет лишь в рамках немецкого академического собрания сочинений Ницше под редакцией Д. Колли и М. Монтинари. «Антихрист» публикуется в переводе А.В. Михайлова (озаглавленном переводчиком «Антихристианин») с учетом редактуры и с добавлением мест, опущенных в немецком издании 1906 г. «Дионисовы дифирамбы» и «Ницше contra Вагнер» в полном и аутентичном виде публикуются на русском впервые.

В комментариях к тому детально освещена как история создания произведений, так и история фальсификации и воссоздания некоторых фрагментов подлинных текстов Ницше.

Содержание

9 **Сумерки идолов** (*пер. Н. Полилова*)

Предисловие 11

Изречения и стрелы 13

Проблема Сократа 21

«Разум» в философии 28

Как «истинный мир» наконец стал басней 33

Мораль как противоестественность 35

Четыре великих заблуждения 41

«Исправители» человечества 49

Чем обделены немцы 53

Набеги Несвоевременного 60

Чем я обязан древним 99

Молот говорит 106

107 **Антихрист**

Антихристианин (*пер. А. Михайлова*) 109

Закон против христианства 185

185 **Ecce homo** (*пер. Ю. Антоновского и И. Эбаноидзе*)

Предисловие 187

Почему я так мудр 192

Почему я так умен 205
Почему я пишу такие хорошие книги 223
Рождение трагедии 232
Несвоевременные 237
Человеческое, слишком человеческое 242
Утренняя заря 247
Веселая наука 250
Так говорил Заратустра 251
По ту сторону добра и зла 264
Генеалогия морали 266
Сумерки идолов 267
Случай «Вагнер» 269
Почему я судьба 276

285 Дионисовы дифирамбы
Паяц – и только! Поэт – и только!
(*пер. Я. Голосовкера*) 287
В кругу дочерей пустыни (*пер. Я. Голосовкера*) 291
Последняя воля (*пер. И. Эбаноидзе*) 297
Меж коршунов (*пер. А. Карельского*) 298
Огненный знак (*пер. В. Микушевича*)
/ Сигнальный огонь (*пер. А. Карельского*) 301
Садится солнце (*пер. А. Карельского*) 303
Жалоба Ариадны (*пер. В. Микушевича*) 305
Слава и вечность (*пер. А. Карельского*) 309
О бедности богатейшего (*пер. И. Эбаноидзе*) 313

317 Ницше contra Вагнер
Предисловие (*пер. И. Эбаноидзе*)....319
Чем я восхищаюсь (*пер. К. Свасьяна*)....320
В чем я возражаю (*пер. К. Свасьяна*)....321
Интермеццо (*пер. Ю. Антоновского*)....323
Вагнер как опасность (*пер. И. Эбаноидзе*)....324
Музыка без будущего (*пер. И. Эбаноидзе*)....325
Мы антиподы (*пер. К. Свасьяна и И. Эбаноидзе*)....326
Где Вагнеру место (*пер. Н. Полилова*)....328
Вагнер как апостол целомудрия (*пер. К. Свасьяна*)....330
Как я освободился от Вагнера (*пер. И. Эбаноидзе*)....333
Слово берет психолог (*пер. Н. Полилова*)....334
Эпилог (*пер. К. Свасьяна*)....337
О бедности богатейшего (пер. *И. Эбаноидзе*)....341

345 Приложение
Послесловие редактора....347
Список сокращений....353
Комментарии....355

Сумерки идолов

или

как философствуют молотом

Предисловие

Сохранять азарт в темном и непомерно ответственном деле не малый фокус; и все же, что еще может пригодиться тут больше, чем азарт? Ни одна вещь не удастся, если в ней не принимает участия задор. Только излишек силы служит доказательством силы. – *Переоценка всех ценностей*, этот вопросительный знак, столь черный, столь чудовищный, что он бросает тень на того, кто его ставит, – такая роковая задача вынуждает каждое мгновение выбегать на солнце, стряхивать с себя тяжелую, ставшую слишком тяжелой серьезность. Тут хорошо всякое средство, тут всякий «случай» – счастливый случай. Прежде всего *война*. Война всегда была великой находкой всех сокровенных, ставших слишком глубокими умов; даже в полученных ранениях заключена целебная сила. Издавна моей любимой поговоркой было изречение, происхождение которого я утаю от ученого любопытства:

> increscunt animi, virescit volnere virtus[1].

Другое лечение, в некоторых случаях для меня более желательное – это *прислушиваться к идолам*... В мире больше идолов, чем реальностей: это *мой* «злой взгляд» на этот мир, а еще – мое «злое *ухо*»... Задавать здесь вопросы *молотком*, чтобы, возможно, услышать в ответ тот самый гулкий полый звук, говорящий о вздутии, – какой это восторг для человека, который еще и за ушами имеет уши, – для меня, старого психолога и крысолова, перед которым *должно зазвучать* именно то, что хотело бы отсиживаться в тиши...

Также и настоящее сочинение – об этом говорит заглавие – есть прежде всего отдых, солнечное пятно, увиливание в праздность, досуг психолога. Быть может, также и новая война? И мы будем припадать ухом к новым идолам?..

---

1 Души крепнут, добродетель расцветает от ран (*лат.*).

Это маленькое сочинение – *великое объявление войны;* что же касается простукивания идолов, то на сей раз это не временные, а *вечные* идолы, к которым здесь прикасаются молотком, как камертоном, – и нет на свете более старых, более уверенных, более надутых идолов... И более полых... Это не препятствует тому, что в них *больше всего верят;* да и называют их, особенно тех, кто поважнее, отнюдь не идолами...

Турин, 30 сентября 1888 г.,
в день, когда была окончена первая книга
Переоценки всех ценностей

Фридрих Ницше

Изречения и стрелы

1

Праздность есть мать всякой психологии. Как? Разве психология – порок?

2

И самый отважный из нас очень редко обладает отвагой к тому, что он собственно *знает*...

3

Чтобы жить в одиночестве, надо быть зверем или богом, говорит Аристотель. Тут не учтен третий случай: надо быть и тем и другим – *философом*...

4

«Всякая истина проста». – Разве это не усложненная ложь?

5

Я хочу раз навсегда *не* знать многого. – Мудрость полагает границы также и познанию.

6

В своем диком естестве лучше всего отдыхаешь от своей неестественности, своей духовности...

7

Как? разве человек только ошибка Бога? Или Бог только ошибка человека?

8

Из боевой школы жизни. – Что не убивает меня, то делает меня сильнее.

9

Помогай себе сам: тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему.

10

Не проявлять трусости по отношению к своим поступкам! Не отворачиваться от них! – Угрызения совести неприличны.

11

Может ли *осел* быть трагичным? – Когда гибнешь под тяжестью, которую не можешь ни нести, ни сбросить?.. Случай философа.

12

Если имеешь свое «*почему*» жизни, то поладишь почти со всяким «*как*». – Человек *не* стремится к счастью; к нему стремится только англичанин.

13

Мужчина создал женщину – но из чего? Из ребра своего бога – своего «идеала»...

14

Что? Ты ищешь? Ты хотел бы удесятерить, увеличить себя во сто раз? Ты ищешь приверженцев? – Ищи *нулей!*

15

Посмертных людей – меня, например, – понимают хуже, чем современных, но лучше *слушают*. Говоря точнее: мы никогда не будем поняты – и *отсюда* наш авторитет...

16

Между женщинами. – «Истина? О, вы не знаете истины! Разве она не покушение на все наши pudeurs[1]?»

17

Вот художник, каких я люблю, скромный в своих потребностях: он хочет собственно только двух вещей, своего хлеба и своего искусства, – panem et *Circen*[2]...

18

Кто не умеет вкладывать в вещи свою волю, тот по крайней мере вкладывает в них *смысл*: т.е. он полагает, что воля в них уже есть (принцип «веры»).

---

1 стыдливости (*фр.*).

2 хлеба и Цирцеи (*лат.*).

19

Как? вы выбрали добродетель и возвышенные чувства, и одновременно поглядываете с завистью на барыши людей бесцеремонных? – Но ведь, выбрав добродетель, *отказываются* этим от «барышей»... (на входную дверь антисемиту).

20

Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех: для пробы, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и *чтобы* это кто-нибудь заметил...

21

Попадать в отчаянные положения, где ты просто не имеешь права на мнимые добродетели, где ты, скорее, как канатный плясун на своём канате: сорвешься с него, устоишь на нем, или пройдешь по нему до конца...

22

«У злых людей нет песен». – Отчего же у русских есть песни?

23

«Немецкий ум»: уже восемнадцать лет contradictio in adjecto.

24

Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспять; в конце концов он и *верит* тоже вспять.

25

Чувство удовлетворения предохраняет даже от простуды. Простуживалась ли хоть одна женщина, умеющая хорошо одеваться? – Я имею в виду те случаи, когда она была едва одета.

26

Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности.

27

Женщину считают глубокой. Почему? Потому что у неё никогда не дойдешь до дна. Женщина даже и не мелка.

28

Если у женщины мужские добродетели, то от нее впору бежать; если же у нее нет мужских добродетелей, то она убежит сама.

29

«Как же прежде кусалась совесть! Какие хорошие зубы у неё были! – А теперь... И в чем тут дело?» – Вопрос для зубного врача.

30

Люди редко ограничиваются одним опрометчивым поступком. Совершая первый такой поступок, всегда делают чересчур много. Именно поэтому обычно решаются на второй опрометчивый шаг – и на сей раз делают слишком мало...

31

Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали: *смирение.*

32

Есть ненависть ко лжи и притворству, порожденная щепетильностью в вопросах чести; есть такая же ненависть, порожденная трусостью, поскольку ложь *запрещена* божественной заповедью. Слишком труслив, чтобы лгать...

33

Как мало нужно для счастья! Звук волынки. – Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога распевающим песни.

34

On ne peut penser et ecrire qu'assis[1] (Г.Флобер). – Вот я и поймал тебя, нигилист! Усидчивость есть как раз *грех* против духа святого. Только *выхоженные* мысли имеют ценность.

35

Бывают случаи, когда мы уподобляемся лошадям, мы, психологи, и впадаем в беспокойство: мы видим перед собой нашу собственную колеблющуюся тень. Чтобы вообще видеть, психолог должен не обращать внимания на *себя.*

---

1 Думать и писать можно только сидя (*фр.*).

36

Наносим ли мы, имморалисты, *ущерб* добродетели? – Столь же мало, как анархисты – государям: с тех пор, как в них начали стрелять, они снова крепко засели в своих тронах. Мораль: *нужно стрелять в мораль*.

37

Ты спешишь *впереди?* – Как пастух? Или как исключение? Возможен еще и третий случай: беглец... Это *первый* вопрос совести.

38

Ты настоящий? Или только актер? Выступаешь ли ты вместо чего-то или ты и есть то, что должно выступить на свет? – В конце концов ты ведь можешь оказаться всего-навсего копией актера... Это *второй* вопрос совести.

39

Говорит разочарованный. – Я искал великих людей, а находил всего лишь *обезьян* их идеала.

40

Ты из тех, кто только смотрит? Или кто участвует? Или кто не обращает внимания, идет своей дорогой?.. Это *третий* вопрос совести.

41

Ты хочешь сопутствовать? Или предшествовать? Или идти сам по себе?.. Надо знать, *чего* хочешь и хочешь *ли*. Это *четвертый* вопрос совести.

42

Для меня это были ступени, я поднялся выше их, для этого мне нужно было по ним пройти. А они-то воображали, будто я хотел усесться на них отдыхать...

43

Что с того, что правым остаюсь *я*! Я слишком прав. – А кто нынче хорошо смеётся, тот посмеется и последним.

44

Формула моего счастья: Да, Нет, прямая линия, *цель*...

Проблема Сократа

1

О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: *она никуда не годится*... Всегда и всюду из их уст слышали один и тот же вздох – вздох, полный сомнений, полный тоски, усталости от жизни, противостояния жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить – это значит быть долго больным: я должен исцелителю Асклепию петуха». Даже Сократу она надоела. – Что это *доказывает*? На что это *указывает*? – В прежние времена сказали бы (– о, это говорили, и довольно громко, и прежде всех наши пессимисты!): «В этом наверняка должна быть какая-то правда! Consensus sapientium доказывает истину». – Будем ли мы и нынче так говорить? *Вправе* ли мы? «Здесь наверняка должна быть какая-то *болезнь*», ответим *мы*: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва взглянуть на них поближе! Быть может, все они уже не твердо стояли на ногах? Были утомленными? Пошатывающимися? Декадентами? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали?..

2

Мне самому эта непочтительность, что великие мудрецы суть *упадочные типы*, впервые пришла в голову при рассмотрении именно того случая, где ей сильнее всего противостоит ученый и неученый предрассудок: я опознал Сократа и Платона как симптомы упадка, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков («Рождение трагедии», 1872). Упомянутый выше consensus sapientium – я понимал это все яснее – менее всего доказывает их правоту в том, в чем они совпадали: он доказывает скорее, что

сами они, эти мудрейшие, кое в чем совпадали *физиологически*, раз они относились – *вынуждены* были относиться – в равной мере отрицательно к жизни. Оценки, суждения о ценности жизни, за или против, в конечном счете никогда не бывают истинными: они представляют ценность лишь как симптомы, они принимаются в соображение лишь как симптомы, – сами по себе такие суждения являются глупостями. Нужно непременно поставить своей целью и постараться уловить ту удивительную finesse, что *ценность жизни не может быть установлена*. Ее не может установить живущий, поскольку он является стороной и даже объектом спора, а не судьею. Ее не может установить умерший, по другой причине. – Поэтому если философ видит в *ценности* жизни проблему, это с его стороны даже возражение самого себя, вопросительный знак к собственной мудрости, отсутствие мудрости. – Как? а все эти великие мудрецы – оказывается, они были не только décadents, оказывается, они даже и не были мудрыми? – Но я возвращаюсь к проблеме Сократа.

3

Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Известно, и даже можно до сих пор увидеть, насколько он был уродлив. Но уродство, само по себе дающее повод к возражению, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком? Уродство достаточно часто является результатом скрещивания, развития, которое было *замедлено* скрещиванием. В другом случае оно является *нисходящим* развитием. Антропологи из среды криминалистов говорят нам, что типичный преступник уродлив: monstrum in fronte, monstrum in animo[1]. Но преступник есть décadent. Был ли Сократ типичным преступником? – По крайней мере этому не противоречит то знаменитое суждение физиономиста, которое друзьям Сократа показалось таким обидным. Один иностранец, умевший разбираться в лицах, проходя через Афины, сказал Сократу в лицо, что он monstrum, – что он таит в

---

1 чудовище по виду, чудовище в душе (*лат.*).

себе все дурные пороки и вожделения. И Сократ ответил только: «Вы знаете меня, мой господин!»

4

На décadence указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также перепроизводство логического и характерная для Сократа *злоба рахитика.* Не забудем и о тех слуховых галлюцинациях, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демоний Сократа». Все в нем преувеличено, buffo, карикатура, все вместе с тем затаенно, себе на уме, подземно. – Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии проистекает сократовское уравнение: разум = добродетель = счастье – это причудливейшее из всех существующих уравнений, которое особенно претит всем инстинктам древних эллинов.

5

С Сократа греческий вкус меняется в пользу диалектики; что же там, собственно, происходило? Прежде всего ею оказался побежден *аристократический* вкус; вместе с диалектикой наверх всплывает чернь. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер: они считались дурными манерами, они компрометировали. Молодежь предостерегали от них. Также не доверяли всему этому выкладыванию доводов. Приличные вещи, как и приличные люди, не таскают своих доводов так вот в руках. Неприлично показывать всю пятерню. То, что сперва еще должно себя доказать, стоит немногого. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не «обосновывают», а приказывают, диалектик оказывается чем-то вроде паяца: над ним смеются, его не принимают всерьез. – Сократ был паяцем, *заставившим принять себя всерьез:* что же тут, собственно, произошло?

6

Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект, произведенный диалектиком: это доказывает опыт любого собрания, где произносятся речи. Она может быть лишь *средством вынужденной защиты* в руках людей, не имеющих никакого иного оружия. Должно быть, приходилось *завоевывать* свое право: ни на что, кроме этого, она не годилась. Поэтому диалектиками были евреи; Рейнеке-Лис был им; как? и Сократ тоже им был?

7

Что такое ирония Сократа? Выражение протеста? Ресентимент черни? Не наслаждается ли он, как угнетенный, своей собственной свирепостью, вонзая, как нож, свои силлогизмы? *Мстит* ли он знатным, которых очаровывает? – Если ты диалектик, то у тебя в руках беспощадное орудие, им можно тиранить; побеждая, ты еще и компрометируешь. Диалектик вынуждает своего противника доказывать, что тот не идиот: он приводит в бешенство и вместе с тем делает беспомощным. Диалектик *депотенцирует* интеллект своего противника. – Как? разве диалектика у Сократа является только формой *мести*?

8

Я дал понять, чем мог отталкивать Сократ, – но теперь тем более надо объяснить, *чем* он привлекал. – Во-первых, тем, что изобрел новый вид агона, что был для знатных афинских кругов первым наставником на этом поприще. Он привлекал, будя агональный инстинкт эллинов, – он привнес свой вариант в состязание между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был еще и великим *эротиком*.

9

Но Сократ угадал еще больше. Он видел кое-что за *спиной* своих знатных афинян; он понимал, что *его* случай, его идиосинкразия уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготовлялось всюду в тиши: старым Афинам приходил конец. – И Сократ понимал, что все *нуждаются* в нем – в его средствах, в его врачевании, в его личной сноровке самосохранения. Повсюду инстинкты находились в анархии; каждый был в пяти шагах от эксцесса: monstrum in animo был всеобщей опасностью. «Инстинкты хотят стать тираном; нужно изобрести *противотирана*, который был бы сильнее»... Когда упомянутый физиономист открыл Сократу, кто он такой, назвав его вертепом всех дурных похотей, великий насмешник обронил еще одно словечко, дающее ключ к нему. «Это правда, – сказал он, – но над всеми ними я стал господином». *Как* сделался Сократ господином над *собой?* – Его случай был в сущности лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием: что никто уже не был господином над собою, что инстинкты обратились друг *против* друга. Он притягивал, как этой крайний случай, – его внушающее страх уродство говорило в его пользу каждому глазу: он притягивал, само собою разумеется, еще сильнее как ответ, как решение, как кажущееся *врачевание* этого случая.

10

Коль скоро из *разума* понадобилось делать тирана, как это сделал Сократ, то должна была существовать немалая угроза того, что таким тираном сделается нечто иное. В разумности тогда угадали *спасительницу;* ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными – это было de rigueur[1], это было их *последнее* средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение: находились в опасности, был

---

1 необходимо (*фр.*).

только *один* выбор: или погибнуть, или – быть *абсурдно-разумными*... Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически, равно как и их оценка диалектики. Разум = добродетель = счастье – это просто означает: надо подражать Сократу и возжечь против темных вожделений раз и навсегда *дневной свет* – дневной свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало: каждая уступка инстинктам, бессознательному ведет *вниз*...

11

Я дал понять, чем очаровывал Сократ: казалось, что он врач, спаситель. Нужно ли указывать еще на заблуждение, заложенное в его вере в «разумность любой ценой»? – Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из décadence, что объявляют ему войну. Выйти из него – выше их сил: то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением décadence – они *меняют* его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением; *вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением*... Самый яркий дневной свет, разумность во что бы то ни стало, ясная, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам жизнь сама была лишь болезнью, иной болезнью – а вовсе не возвращением к «добродетели», к «здоровью», к счастью... Быть *вынужденным* побеждать инстинкты – вот формула для décadence; но пока жизнь *восходит*, счастье равно инстинкту.

12

Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя[1]? Не сказал ли он это себе под конец *мудростью* своей отваги к смерти?.. Сократ *хотел* умереть: не Афи-

1 Более компактным, но менее точным вариантом перевода здесь было бы «из всех самообманщиков». – *Прим. ред.*.

ны ему, а *он* себе дал чашу с ядом, он вынудил Афины дать эту чашу... «Сократ не врач, – тихо сказал он себе, – одна смерть здесь врач... Сократ сам был долго всего лишь больным...»

«Разум» в философии

1

Вы спрашиваете меня, что же является идиосинкразией у философов?.. Например, отсутствие у них исторического чувства. Их ненависть к самому представлению становления, их египтицизм. Они воображают, что делают *честь* какой-нибудь вещи, если деисторизируют ее, sub specie aeterni, – если делают из нее мумию. Все, что философы в течение тысячелетий пускали в ход, были мумии понятий; ничто действительное не вышло живым из их рук. Когда эти господа-жрецы понятий поклоняются им, они убивают, они бальзамируют, – они становятся опасными для жизни всего, когда поклоняются. Смерть, изменение, старость, так же как зарождение и рост, являются для них возражениями – даже опровержениями. Что есть, то не *становится;* что становится, то не *есть*... И вот все они, даже с каким-то отчаянием, верят в сущее. Но так как не могут его заполучить, то ищут причин, почему его от них скрывают. «Должна быть иллюзия, обман в том, что мы не воспринимаем сущего: где же скрывается обманщик?» – «Мы нашли его, – кричат они радостно, – это чувственность! Эти чувства, *которые и без того так безнравственны,* обманывают нас относительно *истинного* мира. Мораль: следует освободиться от обмана чувств, от становления, от истории, от лжи, – история есть не что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль: отречься от всего, что верит чувствам, от всего остального человечества – все это "люд". Быть философом, быть мумией, с мимикой могильщика изображать монотонотеизм! – И прежде всего прочь *тело*, эту жалкую idée fixe чувств! Обремененное всеми ошибками логики, какие только есть, опровергнутое, даже невозможное, хотя и достаточно наглое для того, чтобы изображать из себя нечто действительное!..»

2

Я с глубоким почтением оставляю в стороне от этого разговора имя *Гераклита*. Если прочая философская публика отвергала свидетельство чувств, потому что последние указывали на множественность и изменения, то он отвергал их свидетельство потому, что они показывали, будто вещи обладают длительностью и единством. Гераклит тоже был несправедлив к чувствам. Они лгут не так, как полагали элеаты, но и не так, как полагал он, – они вообще не лгут. Лишь то, что мы сами *делаем* из их свидетельства, вкладывает в них ложь, – к примеру, ложь единства, ложь вещности, субстанции, длительности... «Разум» – причина того, что мы искажаем свидетельство чувств. Поскольку чувства показывают нам становление, минование, перемену, они не лгут... Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. «Кажущийся» мир и есть единственный: «истинный мир» только *прилган к нему*...

3

– А сколь тонкими орудиями наблюдения снабжены наши чувства! К примеру, этот нос, о котором еще ни один философ не говорил с почтением и благодарностью, является между прочим деликатнейшим из всех находящихся в нашем распоряжении инструментов: он способен констатировать самые минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились *принимать* свидетельство чувств и поскольку научились еще и изощрять их, вооружать, додумывать до конца. Остальное – недоноски и еще-не-наука: имею в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания. *Или* же формальная наука, учение о знаках: как то логика и прикладная логика, математика. В них действительности нет и в помине, даже как проблемы; так же как и вопроса, какую ценность имеет вообще такая конвенция о знаках, как логика.

4

Другая идиосинкразия философов не менее опасна: она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале *как* таковом то, что появляется в конце, – к сожалению! Ибо оно не должно бы появляться вовсе! – «высшие понятия», т.е. самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности. Это опять-таки только выражение их манеры поклоняться: высшее не *должно* произрастать из низшего, не *должно* вообще произрастать... Мораль: все, что первого ранга, должно быть causa sui[1]. Происхождение из чего-нибудь другого считается возражением, сомнением в ценности. Все высшие ценности суть первого ранга, все высшие понятия: сущее. Безусловное, доброе, истинное, совершенное – все это не может произойти, следовательно, *должно* быть causa sui. Но все это не может быть также неравным одно другому, не может находиться в противоречии с собою... Вот у них и получилось их удивительное понятие «Бог»... Последнее, самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как ens realissimum[2]... Чтобы человечество вынуждено было серьезно относиться к мозговым страданиям больных пауков-ткачей! – И оно дорого заплатило за это!...

5

– Противопоставим же наконец этому то, насколько иначе смотрим *мы* (– я говорю из учтивости мы...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, вообще становление доказательством кажимости, признаком того, что должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим себя – ровно в той мере, в какой предрассудок разума принуждает нас применять понятия единства, идентичности, постоянства, субстанции, причины, вещности, бытия,– некоторым образом впу-

---

1 собственной причиной (*лат.*).

2 наиреальнейшее существо (*лат.*).

танными в заблуждение, *приневоленными* к заблуждению; как бы ни были мы на основании строгой самопроверки уверены в том, *что* тут заблуждение. С этим обстоит так же, как с движением небесного тела: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь – наш язык. Язык по своему происхождению относится ко временам рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, когда доводим до нашего сознания основные предпосылки метафизики языка, по-немецки: *разума. Сознание* видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в *«Я»*, в *Я* как бытие, в *Я* как субстанцию и *проецирует* веру в субстанцию-*Я* на все вещи – оно только этим *создает* понятие «вещь»... Бытие всюду вмысливается, *подсовывается* в качестве причины; и только из концепции *«Я»* вытекает, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто *действующее* – что воля есть *способность*... Нынче мы знаем, что она – только слово... Гораздо позже, в тысячу раз более просвещенном мире в сознание философов, как озарение, проникла *уверенность*, субъективная *достоверность* в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вести свое происхождение из эмпирии – ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. *Откуда же ведут они свое происхождение?* – В Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире (вместо того, чтобы сказать – *в гораздо более низшем:* что было бы истиной!), мы, должно быть, были божественными, *ведь* у нас есть разум»!.. На деле ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, к примеру, элеатами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение! – Также и противники элеатов подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он придумал свой *атом*... «Разум» в языке – ох, что это за старая лживая бабенка! Я боюсь, что мы не избавимся от Бога потому, что еще верим в грамматику...

Мне будут благодарны, если я кратко выражу столь существенный, столь новый взгляд в четырех тезисах: этим я облегчаю понимание, этим я провоцирую возражение.

Первое положение. Основания, в силу которых «этот» мир был охарактеризован как кажущийся, скорее доказывают его реальность, – реальность *иного* рода абсолютно недоказуема.

Второе положение. Признаки, которыми наделили «истинное Бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на *ничто.* «Истинный мир» построили из противоречия действительному миру – вот на самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь *морально-оптическим* обманом.

Третье положение. Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, при условии, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни: в последнем случае мы *мстим* жизни фантасмагорией «иной», «лучшей» жизни.

Четвертое положение. Делить мир на «истинный» и «кажущийся», все равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конечном счете просто *вероломного* христианина), – это лишь внушение décadence – симптом *нисходящей* жизни... Что художник ценит видимость выше реальности, не может служить возражением против данного положения. Ибо «видимость» означает здесь *плюс еще одну* реальность, но только прошедшую отбор, усиленную, скорректированную... Трагический художник *вовсе не* пессимист, он говорит как раз *Да* всему темному и даже страшному, он *дионисичен...*

Как «истинный мир» наконец стал басней

История одного заблуждения

1. Истинный мир достижим для мудрого, для благочестивого, для добродетельного, который живет в нем, *который и есть этот мир.*

> (Древнейшая форма идеи, сравнительно умная, простая, убедительная. Перифраза положения: «я, Платон, *есмь* истина».)

2. Истинный мир недостижим сейчас, но обещан мудрому, благочестивому, добродетельному («грешнику, который кается»).

> (Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, – *она становится женщиной,* она становится христианской…)

3. Истинный мир недостижим, недоказуем, не может быть обещан, но даже в качестве мыслимого он является утешением, долгом, императивом.

> (В сущности, старое солнце, но сквозь пелену тумана и скепсиса: идея стала вконец утонченной, бледной, северной, кенигсбергской.)

4. Истинный мир недостижим? Во всяком случае не достигнут. А поскольку не достигнут, то и *неведом.* Следовательно, он и не утешает, не спасает и не обязывает: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..

> (Серое утро. Первое позевывание разума. Петушиный крик позитивизма.)

5. «Истинный мир» – идея, ни на что больше не нужная, и даже ни к чему более не обязывающая, – бесполезная, ставшая излишней идея, *следовательно,* опровергнутая идея – упраздним ее!

(Ясный день; завтрак; возвращение bon sens[1] и веселости; Платон краснеет от стыда; все вольнодумцы поднимают адский шум.)

6. Мы упразднили истинный мир – какой же мир остался? Быть может, кажущийся? ... Но нет! *Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!*

(Полдень; мгновение, когда тень так коротка; конец заблуждения, сопровождавшего нас так долго; апогей человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA[2].)

---

1 здравого смысла (*фр.*).

2 начинается Заратустра (*лат.*).

Мораль как противоестественность

1

У всех страстей бывает пора, когда они просто губительны, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, – и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они сочетаются брачными узами с духом, «одухотворяются». Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявили войну самой страсти: дали клятву уничтожить её, – все нравственные чудища старых времен сходятся в том, что «il faut tuer les passions»[1]. Самая знаменитая формула этого находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не *с высоты*. Там, например, говорится применительно к половой сфере: «если глаз твой соблазняет тебя, вырви его» – к счастью, ни один христианин не следует этому предписанию. *Уничтожать* страсти и вожделения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче в свою очередь только острой формой глупости. Мы уже не превозносим тех зубных врачей, которые *вырывают* зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «*одухотворение* страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась *против* «интеллигентных» на благо «нищих духом»; с чего бы ждать от неё интеллигентной войны со страстью? – Церковь устраивает против страсти во всех смыслах резню: её практика, её «лечение» есть *кастрация*. Она никогда не спрашивает: «как одухотворить, украсить, обожествить вожделение?» – она во все времена ставила дисциплинирующий акцент на искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности). –

---

1 надо убивать страсти (*фр.*).

Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви *враждебна жизни*...

2

То же самое средство: оскопление, искоренение – инстинктивно выбирают в борьбе с каким-нибудь вожделением те, кто слишком слабоволен, слишком выродился, чтобы знать в нем меру; теми натурами, которым нужна la Trappe*, говоря иносказательно (и без иносказания), какой-нибудь окончательный разрыв, *пропасть* между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря определеннее, неспособность *не* реагировать на раздражение, есть в свою очередь только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается симптомом, который заставляет задуматься: он дает право строить предположения относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. – Кстати, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда подобным натурам не хватает больше твердости даже для радикального лечения, для отречения от своего «дьявола». Просмотрите всю историю жрецов и философов, включая сюда и художников: самые ядовитые слова против чувств сказано *не* импотентами и *не* аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами...

3

Одухотворение чувственности называется *любовью*: оно является великой победой над христианством. Другая победа – это наше одухотворение *вражды*. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозаключаешь обратно тому, как поступали и умозаключали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов – мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики враж-

да стала теперь одухотвореннее – гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо *снисходительнее.* Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы враждебная партия не обессилела; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новые образования, к примеру, новая империя, более нуждаются во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствуют они себя необходимыми, только в контрасте *становятся* они необходимыми... Не иначе относимся мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворили вражду, и тут постигли её *ценность.* Являешься *плодовитым* лишь в силу того, что богат контрастами; остаёшься *молодым* лишь при условии, что душа не обмякает, не жаждет мира... Ничто не стало нам более чуждым, чем эта прежняя желанность, желанность «мира в душе», *христианская* желанность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная жвачка и жирное счастье чистой совести. Отказываясь от войны, отказываешься от *великой* жизни... Во многих случаях, конечно, «мир души» является только недоразумением – кое-чем *иным,* что просто не умеет назвать себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. «Мир в душе» может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального (или религиозного). Или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер. Или признаком того, что воздух влажен и скоро подуют южные ветры. Или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение (порою называемой «человеколюбием»). Или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи обретают новый вкус и который ждет... Или состоянием, следующим за интенсивным удовлетворением господствующей в нас страсти, довольством редкой сытости. Или старческой слабостью нашей воли, наших вожделений, наших пороков. Или ленью, которую тщеславие уговорило нарядиться в нравственность. Или появлением уверенности, пусть даже страшной уверенности, после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности. Или выражением зрелости и мастерства – в делании, созидании, воздействии, волении, спокойным дыханием, *достигнутой* «свободой воли»... *Сумерки идолов:* кто знает? быть может, это тоже лишь некий вид «мира в душе»...

4

Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т. е. всякая *здоровая* мораль, подчиняется инстинкту жизни, – какая-нибудь заповедь жизни выполняется с помощью определенного канона о «должен» и «не должен», а какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни с его помощью устраняются. *Противоестественная* мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, напротив, оборачивается как раз *против* инстинктов жизни – она оказывается то тайным, а то и явным и даже дерзким *осуждением* этих инстинктов. Говоря, что «Бог знает сердца», она говорит «Нет» низшим и высшим вожделениям жизни и считает Бога *врагом жизни*... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где *начинается* «Царствие Божие»...

5

Предположим, будет осознана вся преступность такого восстания против жизни, которое в христианской морали стало уже чем-то почти священным. Тогда, к счастью, будет осознано также и нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, *лживость* такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего оказывается ведь в конечном счете лишь симптомом определенного рода жизни; вопроса о том, справедливо оно или нет, мы этим вовсе не ставим. Надо было бы занимать позицию *вне* жизни, а с другой стороны, знать её так же хорошо, как один, как многие, как все, кто её прожил, чтобы вообще сметь касаться проблем *ценности* жизни – достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием вдохновения, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь оценивает через нас, *когда* мы определяем ценности... Отсюда следует, что и та *противоестественная мораль*, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью – *какой* жизнью? *каким* видом жизни? – Но я уже

дал ответ: нисходящей, ослабленной, усталой, обреченной жизнью. Мораль, как ее понимали до сих пор – как напоследок ее сформулировал еще и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», – есть сам *инстинкт* décadence, обращающий себя в императив. Она говорит: «*погибни!*» – она есть суждение осуждённых...

6

Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек *должен* быть таким-то и таким-то!». Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм, а какой-нибудь несчастный поденщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть *иным*»?.. Этот лизоблюд и пустосвят знает даже, *каким* именно должен быть человек; он малюет на стене самого себя и говорит при этом «ессе homo!»... Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «*Ты* должен бы быть таким-то и таким-то!» – он не перестает делать себя посмешищем. Индивид есть во всех отношениях частица фатума, еще один закон, еще одна необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» – значит требовать, чтобы все изменилось, даже вспять... И действительно, были последовательные моралисты, они хотели видеть человека иным, а именно, добродетельным, они хотели сделать его своим подобием, а именно, пустосвятом: для этого они *отрицали* мир! Не малое безумие! Вовсе не скромный вид нескромности!.. Мораль, поскольку она *осуждает*, сама по себе, а *не* из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не следует питать ни малейшего сострадания, *идиосинкразия дегенератов*, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы, иные, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, *одобрению.* Мы не отрицаем с такой легкостью, мы ищем чести для себя в том, чтобы быть *утверждающими.* Мы все больше ценим такую экономию, которая умеет пользоваться даже всем тем, что прежде отвергалось – отвергалось священным сумасбродством жре-

ца, *больным* разумом в жреце, – на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительных разновидностей пустосвята, жреца, добродетельного, – *какую* выгоду? – Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...

Четыре великих заблуждения

1

Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. – Нет более опасного заблуждения, чем когда *путают следствие и причину:* я считаю его настоящей порчей разума. Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу наиболее древних и ранних привычек человечества: оно даже освящено у нас, и носит название «религии», «морали». Его содержит в себе *каждое* положение, формулируемое религией и моралью; виновниками этой порчи разума являются жрецы и законодатели нравственности. – Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт долгой и счастливой – а также добродетельной – жизни. Не многие книги находили столько читателей, как эта; она ещё и теперь ежегодно печатается в Англии многотысячными тиражами. Не сомневаюсь в том, что мало какая книга (за исключением, разумеется, Библии) принесла столько вреда, *сократила* столько жизней, как этот столь благонамеренный curiosum. И это из-за того, что путают причину и следствие. Простодушный итальянец видел в своей диете *причину* своей долгой жизни: тогда как предусловие долголетия – чрезвычайно медленный обмен веществ и их малый расход – было причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало *или* много, его умеренность *не* была «свободной волей»: он становился болен, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только на пользу, но и необходимо есть *как следует.* Учёный *наших* дней, который быстро расходует нервную энергию, погубил бы себя этим régime Корнаро. Crede experto[1].

---

1 верьте эксперту (*лат.*).

2

Универсальная формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то – и будешь счастлив! В противном случае...» Каждая мораль, каждая религия есть этот императив – я называю его великим первородным грехом разума, *бессмертным неразумием*. В моих устах эта формула превращается в свою противоположность – *первый* пример моей «переоценки всех ценностей»: удавшийся человек, «счастливец», *должен* совершать определенные поступки и инстинктивно страшится других поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель есть *следствие* его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство *не* есть награда за добродетель, скорее сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, среди прочего, имеет следствием долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, *корнаризм*. – Церковь и мораль говорят: «род людской, народы гибнут от порока и роскоши». Мой *восстановленный* разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого *вытекают* пороки и роскошь (т. е. потребность всё в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощённой натуре). Вот молодой человек, который слишком рано стал вял и бескровен. Его друзья говорят: причиной этому такая-то и такая-то болезнь. Я говорю: то, *что* он стал больным, *что* он не сопротивлялся болезни, было уже следствием оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия погубит себя такой ошибкой. Моя *высшая* политика говорит: с партией, делающей такую ошибку, уже покончено – она лишилась инстинкта самосохранения. Всякая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли: это практически определение *дурного*. Всё *хорошее* есть инстинкт – и, следовательно, оно легко, необходимо, свободно. Когда надрываются, то этим опровергают себя; Бог имеет типическое отличие от героя (на моем языке: *легкие* ноги суть первый атрибут божественности).

3

Заблуждение ложной причинности. – Во все времена верили, будто знают, что такое причина, – но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; уж по меньшей мере здесь-то мы полагали, что *поймали причинность с поличным.* Равным образом не сомневались в том, что все antecedentia[1] поступка, его причины, следует искать в сознании, и что они найдутся там, если их поискать – в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны *в* поступках, не ответственны *за* них. Наконец, кто стал бы оспаривать, что мысль причиняется, что Я служит ее причиной?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые, казалось, являются порукой за причинность, первым и самым убедительным является факт *воли как причины:* концепция сознания («духа») как причины, а еще позже концепция Я («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того, как причинность была установлена волей как данность, как *эмпирия*... Но мы уже взялись за ум. Мы не верим нынче ни единому слову из всего этого. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: один из них – это воля. Воля уже ничем не движет и, следовательно, также ничего не объясняет – она только сопровождает события, она может даже отсутствовать. Так называемый «мотив» – еще одно заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее скрывает antecedentia деяния, нежели демонстрирует их. И даже Я! Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к черту! *Вот* что отсюда следует! – И мы мило злоупотребляли этот «эмпирией», мы *создали* на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая долговечная психология, она не делала ничего другого: всякое событие было для нее дея-

---

1 предшествующие обстоятельства (*лат.*).

нием, всякое деяние – следствием воли, мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под каждое событие. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он тверже всего верил, – волю, дух, Я; он выудил сперва понятие «бытие» из понятия Я; он понял «вещи» как нечто сущее по своему подобию, по своему понятию Я как причины. Что ж удивительного, если он потом всякий раз находил в вещах лишь то, *что вложил в них?* – Сама вещь, повторю, понятие «вещь», – просто рефлекс веры в Я как причину... И даже ваш атом, господа механики и физики, – сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме! – Не говоря уж о «вещи в себе», horrendum pudendum[1] метафизиков! Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! И назвать *Богом!*

4

Заблуждение, касающееся воображаемых причин. – Начнем со сновидения: под какое-нибудь определенное ощущение, возникшее, например, из-за отдаленного пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина (часто целый маленький роман, в котором этот спящий является главным персонажем). Между тем ощущение продолжается, как бы в виде резонанса: оно словно ждет, когда инстинкт причины позволит ему выступить на передний план – теперь уже не в виде случая, а в виде «смысла». Пушечный выстрел выступает на сцену *каузальным* путем, в кажущемся обратном течении времени. Сперва переживается более позднее, мотивация, часто с сотней подробностей, стремительно высвечиваемых, словно вспышками молнии; *затем следует* выстрел... Что же случилось? Представления, *порожденные* неким состоянием, были ложно поняты как его причина. – Фактически мы делаем в бодрствующем состоянии то же самое. Большая часть наших обычных ощущений – всякого вида затруднение, гнёт, напряжение, взрыв в перекрестной

---

1 ужасный срам (*лат.*).

игре органов, а особенно, в состоянии nervus sympathicus – возбуждают наш инстинкт причинности: мы хотим иметь основание на то, чтобы чувствовать себя *так-то и так-то* – чувствовать себя дурно или хорошо. Нам никогда не бывает достаточно просто констатировать факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт – *сознаем* его – лишь *когда* даем ему нечто вроде мотивировки. – Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит нам на память прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования – а *не* их причинность. Разумеется, благодаря этому воспоминанию появляется и вера в то, что причинами были сопутствующие явления сознания. Так возникает *привычка* к известному причино-толкованию, которая в действительности затрудняет *исследование* причины и даже исключает его.

5

Психологическое объяснение этого. – Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, дает чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу – первое же побуждение инстинкта направлено на то, чтобы *устранить* это тягостное состояние. Первый принцип: лучше, когда есть хоть какое-нибудь объяснение, чем когда нет никакого. Так как дело идет, в сущности, лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают особенно разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от *удовольствия* («силы») как критерий истины. – Итак, инстинкт причинности обусловливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько, скорее, *причину определенного сорта,* – успокаивающую, освобождающую, облегчающую. Первым следствием такой потребности оказывается то, что в качестве причины подставляется нечто уже *знакомое*, пережитое, записанное в воспоминании. Новое, неизведанное, чуждое в

качестве причины исключается. – Таким образом, ища причин, ищут не просто некий вид объяснений, а *избранный и привилегированный* вид объяснений – такой, благодаря которым быстрее и надежней всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, – словом, *самых привычных* объяснений. – Следствие: один вид установления причин все более перевешивает, концентрируется в систему и, наконец, выступает *доминирующим,* т.е. просто исключающим *другие* причины и объяснения. – Банкир сейчас же думает о «деле», христианин – о «грехе», девушка о своей любви.

6

Вся область морали и религии подпадает под это понятие воображаемых причин. – «Объяснение» *неприятных* общих ощущений. Они обусловливаются враждебными нам существами (злыми духами: самый прославленный случай – ложное понимание истеричек как ведьм). Они обусловливаются такими поступками, которые нельзя одобрить (чувство «греха», «греховности», подсовываемое под физиологическое недомогание, – всегда находишь основания быть недовольным собой). Они обусловливаются как наказания, как расплата за нечто, чего нам не следовало бы делать, чем нам не следовало бы *быть* (в бесстыдной форме обобщено Шопенгауэром в том положении, в котором мораль выступает тем, что она есть, настоящей отравительницей и клеветницей на жизнь: «Всякое великое страдание, все равно, телесное или духовное, говорит нам, чего мы заслуживаем, ибо оно не могло бы постичь нас, если бы мы его не заслуживали». Мир как воля и представление 2, 666). Они обусловливаются необдуманными, не приводящими к добру поступками (аффекты, чувства предполагаются в качестве причин, в качестве «виновных»; физиологические бедствия истолковываются с помощью *других* бедствий как «заслуженные»). – «Объяснение» *приятных* общих ощущений. Они обусловливаются упованием на Бога. Они обусловливаются сознанием добрых дел (так называемая «чистая» совесть, физиологическое состояние, порою как две капли воды схожее с удачным пищеварением). Они обусловливаются счастливым

исходом предприятий (наивное ложное заключение: счастливый исход предприятия вовсе не вызовет у какого-нибудь ипохондрика или Паскаля приятных общих ощущений). Они обусловливаются верой, любовью, надеждой – христианскими добродетелями. – В действительности все эти мнимые объяснения суть *результаты* и как бы переводы чувства удовольствия или неудовольствия на неправильный диалект: человек в состоянии надеяться *потому, что* основное физиологическое чувство снова стало сильным и богатым; уповают на Бога *потому, что* чувство полноты и силы дает человеку спокойствие. – Мораль и религия всецело относятся к *психологии заблуждения*: в каждом отдельном случае причину путают с воздействием; или истину путают с воздействием чего-то *считаемого* истинным; или же состояние сознания путают с причинностью этого состояния.

7

Заблуждение, касающееся свободной воли. – Мы нынче совершенно не сочувствуем понятию «свободная воля»: мы слишком хорошо знаем, что оно такое – самый сомнительный фокус теологов, какой только есть, с целью сделать человечество «ответственным» в их смысле, т.е. *сделать зависимым от них*... Я даю здесь лишь психологию всякого возлагания ответственности. – Всюду, где ищут ответственности, ищущим обыкновенно является инстинкт *желания наказывать и судить*. Становление лишают его невинности, если какое-нибудь положение вещей сводят к воле, к намерениям, к актам ответственности: учение о воле изобретено главным образом в целях наказания, т.е. *желания находить виновных*. Вся прежняя психология, психология воли, зиждется на том, что ее создатели, жрецы, стоявшие во главе древних общин, хотели закрепить за собой *право* присуждать к наказаниям – или закрепить такое право за Богом... Людей мыслили «свободными», чтобы их можно было судить и наказывать, – чтобы они могли стать *виновными*: следовательно, каждый поступок *должен был* мыслиться как намеренный, а источник каждого поступка – находящимся в сознании (– чем *наипринципиальнейшее* фальшивомонетни-

чество in psychologicis было возведено в принцип самой психологии...). Нынче, когда мы вступили в стадию *обратного* движения, когда мы, имморалисты, пытаемся всеми силами снова изъять из мира понятия вины и наказания и очистить от них психологию, историю, природу, общественные установления и санкции, в наших глазах не существует более радикальных противников, чем теологи, продолжающие, посредством «наказания» и «вины», заражать невинность становления понятием «нравственного миропорядка». Христианство есть метафизика палача...

8

В чем может заключаться *наше* учение? – Что никто не *дает* человеку его качеств – ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни *он сам* (– бессмыслица последнего из отрицаемых здесь представлений имеет место в учении Канта, как «интеллигибельная свобода», а может быть, уже и у Платона). *Никто* не ответствен за то, что он вообще существует, что он устроен так-то и так-то, что он находится среди этих обстоятельств, в этом окружении. Фатальность его сущности невоможно вырвать из фатальности всего того, что было и что будет. Он *не* есть следствие собственного намерения, воли, цели, в лице его *не* делается попытка достичь «идеала человека», или «идеала счастья», или «идеала нравственности», – абсурдно пытаться *свалить* его сущность в какую-нибудь цель. Понятие «цель» изобрели *мы*: в реальности цель *отсутствует*... Ты необходим, ты частица рока, ты принадлежишь к целому, *существуешь* в целом – нет ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие, ибо это значило бы судить, мерить, сравнивать, осуждать целое... *Но нет ничего, кроме целого!* – Что никого больше не будут делать ответственным, что специфику бытия не смогут сводить к causa prima, что мир, ни как сенсориум, ни как «дух», не есть единство, *только это и есть великое освобождение,* – только этим и восстанавливается вновь *невинность* становления... Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим *возражением* против бытия... Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: *этим* впервые спасаем мы мир.

«Исправители» человечества

1

Мое требование к философам известно: надо становиться *по ту сторону* добра и зла, оставлять иллюзию морального суждения далеко *внизу*. Это требование вытекает из понимания, впервые сформулированного именно мною: *что нет вовсе никаких моральных фактов.* Моральное суждение имеет то общее с религиозным, что верит в реальности, не являющиеся таковыми. Мораль есть лишь истолкование известных феноменов, точнее говоря, *ложное* толкование. Моральное суждение, как и религиозное, относится к той ступени невежества, на которой ещё отсутствует само понятие реального, различение реального и воображаемого: так что слово «истина» на этой ступени служит обозначением исключительно того, что мы нынче называем «фантазиями». Поэтому моральное суждение никогда не следует принимать буквально: как таковое, оно содержит одну только нелепость. Однако оно остаётся неоценимым в качестве *семиотики*: оно открывает, по крайней мере сведущему, ценнейшие реальности культур и душевных миров, которые недостаточно *знали*, чтобы «понимать» самих себя. Мораль есть просто язык знаков, просто симптоматология: нужно сперва знать, *с чем* мы здесь имеем дело, чтобы извлечь из нее пользу.

2

Вот, в качестве первого и совершенно предварительного примера. Во все времена хотели «исправлять» людей: прежде всего *это* называлось моралью. Но за одним и тем же словом скрываются самые разнообразные тенденции. «Улучшением» называют как *укрощение* зверя «человека», так и *разведение* определенной породы человека: только с помощью этих зоологических termini можно выразить реальности, – разумеется, такие реальности, о которых типичный «испра-

витель», священник, ничего не знает, – не *желает* знать... Называть укрощение животного его «улучшением» – это звучит для наших ушей почти шуткой. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там «улучшали». Его ослабляют, делают менее опасным, из-за депрессивного аффекта страха, из-за боли, ран, голода он становится *болезненным* зверем. – Не иначе обстоит и с укрощенным человеком, которого «исправил» священник. В раннем средневековье, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами «белокурых бестий», – «исправляли», например, знатных германцев. Но как выглядел после этого такой «исправленный», завлечённый в монастырь германец? Как карикатура на человека, как выродок: он сделался «грешником», он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий... И вот он слег, больной, жалкий, озлобленный на самого себя; полный ненависти к жизненным порывам, подозрений ко всему, что было ещё сильным и счастливым. Словом, «христианин»... Говоря физиологически: в борьбе со зверем разрушение его здоровья *может* быть единственным средством сделать его слабым. Церковь поняла это: она *испортила* человека, она ослабила его, – но она заявила претензию на то, что «исправила» его...

3

Возьмем другой случай так называемой морали – случай *выведения* определенной расы и породы. Грандиознейший пример этого дает индийская мораль, санционированная как религия в качестве «Закона Ману». Здесь поставлена задача выведения разом не менее четырех рас: жреческой, воинской, торговой и земледельческой, и, наконец, расы слуг, шудр. Ясно, что здесь мы уже не среди укротителей зверей: чтобы разработать хотя бы только план подобной селекции, нужен во сто крат более мягкий и разумный вид человека. Вздыхаешь свободно, переходя из христианской атмосферы больниц и тюрем в этот более здоровый, высокий, *просторный* мир. Как убог «Новый Завет» по сравнению с Ману, как дурно он пахнет! – Однако и этой организации понадоби-

лось быть *устрашающей*, – на сей раз в борьбе не с бестией, а с *ее* антитезой, с беспородным человеком, с человеко-помесью, с чандалой. И опять-таки она не нашла другого средства сделать его безопасным, слабым, как сделав его *больным*, – это была борьба с «великим множеством». Возможно, не существует ничего более противоречащего нашему чувству, нежели *эти* предохранительные меры индийской морали. Третье предписание, например (Avadana-Sastra I), «о нечистых овощах», устанавливает, что единственной пищей, дозволенной чандале, должны быть лук и чеснок, с учетом, что священная книга воспрещает давать им зерна или плоды, носящие семена, или *воду*, или огонь. То же предписание устанавливает, что необходимая им вода не может быть взята ни из рек, ни из источников, ни из прудов, а лишь из подступов к болотам и углублений, оставленных следами животных. Равным образом им запрещалось стирать белье и *мыться самим*, так как данной им из милости водою они были вправе пользоваться лишь для утоления жажды. Наконец, следовал запрет женщинам-шудрам оказывать помощь женщинам-чандалам при родах, последним же нельзя было *помогать при родах друг другу*... – Эффект от таких санитарно-полицейских предписаний не замедлил сказаться: смертельные эпидемии, омерзительные половые болезни, по отношению к которым – опять же применение «закона ножа»: обрезание для мальчиков, удаление малых срамных губ для девочек. – СамМану говорит: «Чандала – плод прелюбодеяния, кровосмешения и преступления (– это *необходимая* последовательность понятия селекции). Одеждой им должны служить лишь лохмотья с трупов, посудой – разбитые горшки, украшениями – старое железо, а для богослужений только злые духи; они должны без отдыха скитаться. Им запрещается писать слева направо и пользоваться для писания правой рукой: обычай делать это правой рукой и слева направо закреплен только за *добродетельными*, за людьми *расы*». –

4

Эти предписания довольно поучительны: в них мы имеем собственно *арийскую* гуманность в совершенно чистом, в

совершенно первоначальном виде, – мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является антиподом какой бы то ни было безобидности. С другой стороны, становится ясным, в *каком* народе увековечилась ненависть, чандальная ненависть к этой «гуманности», где она стала религией, где она стала *гением*... С этой точки зрения свидетельством первостепенной важности являются Евангелия; а еще более – книга Еноха. – Христианство, имеющее иудейский корень и постижимое лишь как растение этой почвы, представляет собою *противоход* всякой морали отбора, расы, привилегии: это *антиарийская* религия par excellence; христианство – переоценка всех арийских ценностей, победа ценностей чандалы, проповедь Евангелия нищим и низкородным, всеобщее восстание всех попираемых, униженных, неудавшихся, пострадавших против «расы», – бессмертная месть чандалы как *религия любви*...

5

По тем средствам, которые мораль *выведения породы* и мораль *укрощения* применяют для достижения своих целей, они вполне стоят друг друга: мы вправе в качестве высшего постулата констатировать, что для *создания* морали нужно иметь безусловно волю к чему-то совершенно противоположному ей. Вот великая, *жуткая* проблема, которую я преследовал дольше всего: психология «исправителей» человечества. Маленький и, в сущности, скромный факт, факт так называемой pia fraus[1], дал мне первый подступ к этой проблеме: pia fraus, наследие всех философов и жрецов, которые «исправляли» человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своем *праве* на ложь. Они не сомневались *в совсем других правах*... Формулируя это, можно сказать: *все* средства, с помощью которых человечество пытались до сих пор сделать нравственным, были совершенно *безнравственны*. –

---

1 святая ложь (*лат.*).

Чем обделены немцы

1

Среди немцев нынче недостаточно иметь ум: нужно еще заявить претензию на него, *позволить* себе быть умным...

Возможно, я знаю немцев, возможно, я даже вправе высказать им несколько истин. Новая Германия демонстрирует уйму унаследованных и привитых способностей, так что даже может некоторое время расточительно расходовать накопленное сокровище силы. В ее лице достигла господства *не* высокая культура, и тем более не утонченный вкус или аристократическая «красота» инстинктов, но *более мужские* добродетели, нежели те, что способна выказать какая-либо другая страна Европы. Здесь много бодрости и самоуважения, спокойной надежности в общении, во взаимности обязанностей, много трудолюбия, выносливости – и унаследованная умеренность, нуждающаяся скорее в шпорах, чем в тормозах. Прибавлю к этому, что тут еще повинуются так, что это не унижает повинующихся... И никто не презирает своего противника...

Вы видите, мое желание – быть справедливым к немцам: мне не хотелось бы изменить себе в этом, – стало быть, я должен также сказать, чт*о* я имею против них. Приход к власти обходится дорого: власть *оглупляет*... Немцы – их называли некогда народом мыслителей, – мыслят ли они сегодня вообще? Немцы скучают теперь от ума, немцы не доверяют теперь уму, политика поглощает всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей – «Deutschland, Deutschland über Alles», я боюсь, что это стало концом немецкой философии... «Есть ли немецкие философы? есть ли немецкие поэты? есть ли *хорошие* немецкие книги?» – спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, свойственной и мне в отчаянных случаях, отвечаю: «Да, *Бисмарк*!» – Разве я могу хотя бы сознаться в том, какие книги нынче читают?.. Проклятый инстинкт посредственности! –

2

Чем *мог* бы быть немецкий ум, кто только не размышлял об этом с тоскою! Но этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет: нигде так порочно не злоупотребляли двумя сильнейшими европейскими наркотиками – алкоголем и христианством. С недавних пор к ним прибавилось еще и третье, которое одно уже способно доконать всякую тонкую и смелую духовную подвижность, – музыка, наша засоренная, засоряющая немецкая музыка. – Сколько угрюмой тяжести, вялости, сырости, заспанности, сколько *пива* в немецкой интеллигенции! Как это собственно возможно, что молодые люди, посвящающие жизнь духовным целям, не ощущают в себе даже первейшего инстинкта духовности, *инстинкта самосохранения духа* – и пьют пиво?.. Алкоголизм ученой молодежи, быть может, еще не ставит вопроса касательно их учености – можно даже без всякого духа быть великим ученым, – но во всех других отношениях он остается проблемой. – Где только не найдешь его, этого мягкого вырождения, которое производит в духовной области пиво! Я указал уже однажды на такое вырождение в случае, ставшем почти знаменитым, – вырождение нашего первого немецкого вольнодумца, *умного* Давида Штрауса, в автора евангелия для распивочных и «новой веры»... Недаром он в стихах принес «прелестной шатенке» обет верности до гроба...

3

Я сказал о немецком уме, что он стал грубее, что он опошляется. Довольно ли этого? – В сущности, меня ужасает нечто совершенно другое: то, как все более деградирует немецкая серьезность, немецкая глубина, *немецкая* страстность в сфере духа. Изменился пафос, а не просто степень интеллектуальности. – Возьмем хотя бы немецкие университеты: что за атмосфера царит среди их ученых, какой бесплодный, какой невзыскательный и остывший дух! Предъявлять мне здесь в качестве возражения немецкую науку было бы глубоким недоразумением, да еще и доказательством того,

что человек не читал ни одного слова из моих сочинений. В течение семнадцати лет я неустанно указывал на *обездушивающее* влияние нашей теперешней индустрии науки. Суровое илотство, на которое нынче всякого осуждает чудовищный объем наук, является главной причиной того, что более одаренные, богатые, *глубокие* натуры уже не находят достойного их воспитания, *а также воспитателей*. Ни от чего наша культура не страдает *больше*, нежели от изобилия чванливых поденщиков и людей ущербных: наши университеты служат, против воли, настоящими теплицами для подобного оскудения духовного инстинкта. И вся Европа уже понимает это – большая политика никого не обманет... Германия все больше слывет европейской *низиной*. – Я все еще *ищу* немца, с которым *я* мог бы быть на свой лад серьезен, – но во сто крат больше ищу такого, с которым я мог бы быть беззаботен! – *Сумерки идолов*: ах, кто бы понял нынче, *от какой серьезности* отдыхает тут отшельник! – Беззаботность в нас самое непостижимое...

4

В общем и целом: то, что немецкая культура приходит в упадок – это не только очевидно, но и совершенно закономерно. В конечном счете, никто не может дать больше, чем у него есть – это относится и к отдельным личностям, и к целым народам. Если растрачиваешь себя на власть, на большую политику, на экономику, международные отношения, парламентаризм, военные интересы, если отдаешь имеющуюся в твоем распоряжении меру разумения, серьезности, воли, самопреодоления на *эту* сторону, то для другой стороны у тебя этого уже не найдется. Культура и государство – антагонисты, и не стоит обманываться на этот счет: «культурное государство» есть просто современная идея. Одно питается другим, одно преуспевает за счет другого. Все великие эпохи культуры суть эпохи политического упадка: что велико в смысле культуры, то было неполитичным, даже *антиполитичным*... У Гёте сердце заходилось от феномена Наполеона, – во время «войн за свободу» оно у него *зашло*... В то самое мгновение, как Германия выдвинулась в качестве

великой державы, Франция приобрела новое значение в качестве *державы культурной*. Уже сейчас много новой серьезности, много новой духовной *страстности* перекочевало в Париж; к примеру, вопрос пессимизма, вопрос Вагнера, почти все психологические и артистические вопросы трактуются там несравненно тоньше и основательнее, чем в Германии, – немцы даже *не способны* на серьезность такого рода. – В истории европейской культуры возникновение «рейха» означает прежде всего одно: *перенос центра тяжести*. Везде уже знают: в главном – а им остается культура – немцы больше не принимаются в расчет. Спрашивают: можете ли вы указать хоть на один имеющий европейское *значение* ум, каким был ваш Гёте, ваш Гегель, ваш Генрих Гейне, ваш Шопенгауэр? – То, что больше нет ни одного немецкого философа, вызывает бесконечное удивление.

5

Все высшее воспитательное дело в Германии лишилось главного – *цели*, равно как и *средства* для достижения цели. О том, что воспитание, *образование* (а *не* «империя») само есть цель, что для этой цели нужны *воспитатели* – а *не* учителя гимназий и университетские ученые – об этом забыли... Нужны воспитатели, которые *сами воспитаны*, превосходящие других, аристократы духа, доказывающие это каждую минуту, доказывающие это и словом и молчанием, зрелые, созревшие до *сладости* культуры, – а *не* ученые пентюхи, каких нынче в качестве «высших нянек» преподносит юношеству гимназия и университет. Воспитателей *нет*, не считая исключений из исключений, нет *первейшего* предварительного условия воспитания – *отсюда* упадок немецкой культуры. – Одним из этих редчайших исключений является мой досточтимый друг Якоб Буркхардт в Базеле: ему прежде всего обязан Базель своей высокой репутацией в гуманитарной сфере. – То, чего на деле достигают «высшие школы» Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с минимальной затратой времени множество молодых людей на пользу и *на расход* государственной службе. «Высшее воспитание» и *множество* – это изначально про-

тиворечит одно другому. Всякое высшее воспитание подобает лишь исключениям: нужно быть привилегированным, чтобы иметь право на такую высокую привилегию. Все великие, все прекрасные вещи никогда не смогут быть общим достоянием: pulchrum est paucorum hominum[1]. – Что *обусловливает* упадок немецкой культуры? Что «высшее воспитание» уже не является *уделом избранных* – демократизм «всеобщего», ставшего *пошлым* «образования»... Не следует забывать, что воинские льготы прямо-таки вынуждают *слишком многих к посещению* высших школ, т. е. способствуют их упадку. – Никто уже не волен в нынешней Германии дать своим детям аристократическое воспитание: все наши «высшие» школы с их учителями, учебными планами, учебными целями рассчитаны на самую двусмысленную посредственность. И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-нибудь упущено, если молодой человек в 23 года еще не «готов», еще не знает, что ответить на «главный вопрос»: *к какой профессии* он призван? – Высшая порода людей, с позволения сказать, не любит профессий, именно потому, что сознает себя призванной... У нее есть время, она не спешит, она вовсе не думает о своей «готовности», – в тридцать лет, в смысле высшей культуры, являешься начинающим, ребенком. – Наши переполненные гимназии, наши обремененные, отупевшие учителя гимназий – ведь это скандал: на то, чтобы защищать такое положение дел, как это было недавно сделано профессорами Гейдельберга, может быть и есть *причины*, но оснований для этого нет.

6

Чтобы остаться верным своему характеру, характеру *утверждающему* и лишь косвенно, лишь поневоле имеющему дело с противоречием и критикой, я тут же формулирую три задачи, ради которых нужны воспитатели. Надо научиться *смотреть*, надо научиться *мыслить*, надо научиться *говорить* и *писать*: целью всех трех является аристократическая культура. – Научиться *смотреть* – приучить глаз к покою, к тер-

---

1 прекрасное принадлежит немногим (*лат.*). Цитата из Горация.

пению, к погружению-в-себя; откладывать вынесение суждения, научиться со всех сторон обходить и охватывать частный случай. Такова *первая* подготовка к духовному развитию: *не* реагировать тотчас же на раздражение, а приобрести тормозящие, запирающие инстинкты. Научиться *смотреть*, как я понимаю это, есть почти то же самое, что на нефилософском языке называется сильной волей: суть этого как раз в том, чтобы *не* «хотеть», *быть в состоянии* откладывать решение. Вся бездуховность, вся пошлость зиждется на неспособности сопротивляться раздражению, – на *обязанности* реагировать, следовать каждому импульсу. Во многих случаях такая обязанность является уже болезненностью, упадком, симптомом истощения, – почти всё, что нефилософское невежество называет именем «порока», есть просто та самая физиологическая неспособность *не* реагировать. – Применение выучки смотреть: делаешься, как *учащийся* вообще, медлительным, недоверчивым, сопротивляющимся. К чуждому, ко всякой разновидности *нового* приближаешься поначалу с враждебным спокойствием, – отдергиваешь от него руку. Двери, открытые нараспашку, покорная простертость на брюхе перед каждым маленьким фактом, постоянная готовность влезть, *запрыгнуть* в других и в другое, словом, прославленная современная «объективность» – это дурной вкус и *неблагородство* par excellence.

7

Научиться *мыслить*: в наших школах не имеют более никакого понятия об этом. Даже в университетах, даже среди настоящих знатоков философии логика как теория, как практика, как *ремесло* начинает вымирать. Почитайте немецкие книги: никакого, даже самого отдаленного, воспоминания о том, что для мышления нужна техника, учебный план, воля к мастерству, – что мышлению нужно обучать, как обучают танцам, как если бы это *и был* своего рода танец... Кто из немцев знает еще по опыту ту тончайшую дрожь, когда *легконогость* духа струит и излучает себя во всю мускулатуру? – Напыщенная неуклюжесть духовных жестов, *грубость* ручищ, пытающихся ухватить суть дела – это нечто

до такой степени немецкое, что за границей это путают с немецкой натурой вообще. У немца нет *пальцев* для nuances... Одно то, что немцы выдерживали своих философов, прежде всего этого скрюченного инвалида понятий, *великого* Канта, дает уже немалое понятие о немецком изяществе. – В том-то и дело, что нельзя из *аристократического воспитания* исключать *танцы* во всех их формах, – умение танцевать ногами, понятиями, словами: стоит ли мне еще говорить, что надо уметь танцевать и *пером*, – что нужно учиться *писать*? – Но в этом месте я, должно быть, становлюсь для немецких читателей полнейшей загадкой...

Набеги Несвоевременного[1]

1

Мои невозможные. – *Сенека*, или тореадор добродетели. – *Руссо*, или возвращение к природе in impuris naturalibus[2]. – *Шиллер*, или трубач морали из Зэкингена. – *Данте*, или гиена, *стихотворствующая* в могилах. – *Кант*, или cant как интеллигибельный характер. – *Виктор Гюго*, или маяк у моря безумия. – *Лист*, или школа беглости – за женщинами. – *Жорж Санд*, или lactea ubertas, по-немецки: дойная корова с «прекрасным стилем». – *Мишле*, или вдохновение, снимающее сюртук. – *Карлейль*, или пессимизм, как вышедший назад обед. – *Джон Стюарт Милль*, или оскорбительная ясность. – *Les freres de Goncourt*, или два Аякса в борьбе с Гомером. Музыка Оффенбаха. – *Золя*, или «радость быть вонючим».

2

Ренан. – Теология, или испорченность разума «наследственным грехом» (христианство). Доказательство – Ренан, который промахивается с томительной регулярностью, едва только рискнет на какое-нибудь Да или Нет обобщенного характера. Ему хотелось бы, например, соединить в одно la science и la noblesse, но la science относится к демократии, ведь это ясно, как день. Он желает, с немалым честолюбием, представлять собою духовный аристократизм, но вместе с тем он ползает на коленях, и не только на коленях, перед противоположным ему учением, перед evangile des

---

1 См. комментарии.

2 в природных нечистотах (*лат.*).

humbles[1]... Что может поделать все вольнодумство, весь модернизм, вся насмешливость и проворство вертишейки, если ты с потрохами остался христианином, католиком и даже священником! Ренан совершенно иезуитски и духовнически изобретателен в обольщении; его духовной манере не чужды широкие поповские улыбки, – он, как и все священнослужители, становится опасным лишь когда любит. Никто не сравнится с ним в искусстве поклоняться с такой опасностью для жизни... Этот дух Ренана, дух *ослабленный*, – еще один рок для бедной, больной, слабовольной Франции.

3

Сент-Бев. – Ничего мужского; полон мелкой злобы ко всем мужественным умам. Слоняется, тонкий, любопытный, скучающий, подслушивающий, – в сущности особа женского пола, с женской мстительностью и женской чувственностью. Как психолог, гений de la médisance[2]; неистощимо богат подходящими для этого средствами; никто не умеет лучше его смешивать похвалу с ядом. Плебей в своих низших инстинктах, в родстве с ресентиментом Руссо: *следовательно,* романтик, – ибо под всяким romantisme хрюкает и рыщет инстинкт мести Руссо. Революционер, но еще кое-как сдерживаемый страхом. Несвободный перед всем, что обладает силой (общественное мнение, академия, двор, даже Пор-Рояль). Озлобленный против всего великого в людях и вещах, против всего, что верит в себя. Ему еще хватает поэтизма и половинчатой женскости, чтобы чувствовать мощь великого; но постоянно извивается, как пресловутый червь, потому что постоянно чувствует себя придавленным. Как критик лишен масштаба, опоры и хребта, с языком космополитического либертина для чего угодно, но без мужества хотя бы сознаться в libertinage. Как историк нефилософичен, без *властности* философского взора, – поэтому во всех главных вещах увиливает от задачи судить, прикрываясь маской «объективности». Совсем иначе он ведет себя

---

1 евангелие смиренных (*фр.*).
2 злословия (*фр.*).

по отношению ко всем тем вещам, где высшей инстанцией служит тонкий, изощренный вкус: тут у него действительно появляется мужество быть собою, удовольствие быть собою, – тут он *мастер*. – С некоторых точек зрения это предтеча Бодлера.

4

Imitatio Christi относится к числу книг, которые я держу в руках не без физиологического отвращения: от нее несет парфюмом Вечно-Женственного, для которого уже нужно быть французом – или вагнерианцем... У этого святого такая манера говорить о любви, что даже у парижанок возбуждает любопытство. – Мне говорили, что тот *умнейший* иезуит, Ог. Конт, который хотел привести своих французов *окольным путем* науки в Рим, вдохновился этой книгой. Я верю этому: «религия сердца»...

5

Дж. Элиот. – Они освободились от христианского Бога и полагают, что тем более должны удерживать христианскую мораль: это *английская* последовательность; мы не будем вменять ее в вину нравственным тетенькам à la Элиот. В Англии после малейшего отхода от теологии приходится самым устрашающим образом восстанавливать свою репутацию под видом фанатика морали. Там это *штраф*, который платят. – Для нас, других, все обстоит иначе. Отрекаясь от христианской веры, выдергиваешь этим у себя из-под ног *право* на христианскую мораль. Последняя – отнюдь *не* нечто само собой разумеющееся: на это обстоятельство постоянно нужно указывать, наперекор английским тупицам. Христианство есть система, сообразованное и *цельное* воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: ничего обязательного в руках больше не остается. Христианство предполагает, что человек не знает, не *может* знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один знает это.

Христианская мораль есть повеление; ее источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику; она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина, – она держится и падает вместе с верой в Бога. – Если фактически англичане верят, что сами, «интуитивно», знают, что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что христианство как гарантия морали им больше не нужно, то это – лишь *следствие* господства христианских суждений о ценностях и выражение *силы и глубины* этого господства. Так что источник английской морали забыт, а строгая обусловленность ее права на существование больше не ощущается. Для англичанина мораль еще вовсе не проблема...

6

Жорж Санд. – Я читал первые lettres d'un voyageur: они, как и все, что ведет свое происхождение от Руссо, фальшивы, деланны, напыщенны, утрированны. Я не выношу этого пестрого коврового стиля, равно как и плебейской претензии на благородные чувства. Самым худшим, конечно, остается женское кокетничанье мужскими повадками, манерами невоспитанных юнцов. – Как холодна она должна была быть при всем этом, эта несносная художница! Она заводила себя, как часы, – и писала... Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики, когда они сочиняли! И как самодовольно она, должно быть, при этом возлежала, эта плодовитая пишущая корова, в которой было нечто в худшем смысле немецкое (подобно самому Руссо, ее учителю), и которую во всяком случае сделал возможным только упадок французского вкуса! – Но Ренан чтит ее...

7

Мораль для психологов. – Не заниматься репортажной психологией! Никогда не наблюдать для того только, *чтобы* наблюдать! Это создает оптический обман, косоглазие, нечто вынужденное, преувеличенное. Переживание и *хотение* пе-

реживать не тождественны. Не *следует*, переживая что-нибудь, озираться на себя, каждый взгляд становится тут «сглазом». Прирожденный психолог инстинктивно остерегается видеть для одного лишь только вúдения; то же самое можно сказать и о прирожденном живописце. Он никогда не работает «с натуры», – он предоставляет своему инстинкту, своей camera obscura просеивать и выражать «случай», «природу», «пережитое»... Только *общее* проникает в его сознание, только заключение, результат: ему незнакомо это произвольное абстрагирование от отдельного случая. – А что выходит, если поступать иначе? Например, наподобие парижских romanciers заниматься репортажной психологией в больших и малых формах? Они как бы подкарауливают действительность, снабжая на каждый вечер целой пригоршней курьезов... Но посмотрите только, что в итоге из этого выходит, – множество пятен, в лучшем случае мозаика, в любом случае нечто составное, беспокойное, кричащее красками. Самого худшего в этом достигают Гонкуры: они не могут составить и трех фраз, которые просто не оскорбляли бы глаз, глаз *психолога*. – Природа, если оценивать ее артистически, вовсе не модель. Она преувеличивает, она искажает, она оставляет пробелы. Природа – это *случай*. Работа «с натуры» кажется мне дурным признаком: она выдает подчиненность, слабость, фатализм, – это падение ниц перед petits faits[1] недостойно *цельного* художника. Видеть то, *что есть*, присуще людям совсем иного рода, – *антиартистическим*, людям факта. Надо знать, *кто* ты такой...

8

К психологии художника. – Чтобы существовало искусство, чтобы существовало любое эстетическое деяние и созерцание, необходима одна физиологическая предпосылка – *опьяненность*. Опьяненность должна сперва усилить возбудимость всей машины: иначе до искусства дело не дойдет. Движущей силой для этого обладают все виды опьянения, сколь разнообразны ни были бы их причины: прежде всего

1 маленькие факты (*фр.*).

опьянение полового возбуждения, эта древнейшая, исходная форма опьянения. Равным образом опьянение, являющееся следствием всяких страстных вожделений, сильных аффектов: опьянение празднеством, состязанием, бравурной пьесой, победой, любым резким возбуждением; опьянение жестокостью; опьянение духом разрушения; опьянение под влиянием известных метеорологических явлений, например, весеннее опьянение; или под влиянием наркотика; наконец, опьянение волей, опьянение накопившейся и вздувшейся, как вена, волевой энергией. – Существенным в опьянении является чувство возрастания сил и их избытка. Это чувство мы изливаем на вещи, мы *принуждаем* их брать от нас, мы насилуем их, – это явление называют *идеализированием*. Освободимся же тут от предрассудка: идеализирование *не* состоит, как обыкновенно думают, в сбрасывании со счетов или исключении незначительного, побочного. Скорее решающим является чудовищное *выпячивание* главных черт, так что другие при этом исчезают.

9

В этом состоянии обогащаешь все из своего собственного избытка: все, что видишь, чего хочешь, представляется нам вздувшимся, сгущенным, могучим, перегруженным силой. Человек в этом состоянии преображает вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, – пока они не станут отражениями его совершенства. Эта *обязанность* превращать в совершенное есть искусство. Даже все то, чем он не является, становится для него несмотря на это чистым наслаждением; в искусстве человек наслаждается собою, как совершенством. – Позволим себе представить противоположное состояние, специфическую антихудожественность инстинкта, – бытие таким, кто обедняет, истончает все вещи, делая их чахоточными. И в самом деле, история богата такими антиартистами, такими заморышами жизни, которые неизбежно должны питаться вещами, обгладывать их, делать их *более тощими*. Таков, например, случай истого христианина, например Паскаля; христианина, который был бы вместе с тем и художником, *встретить нельзя*... Не следу-

ет с детской простотою приводить мне в ответ пример Рафаэля или каких-нибудь гомеопатических христиан девятнадцатого столетия: Рафаэль говорил «Да», Рафаэль *делал* «Да», следовательно, Рафаэль не был христианином...

10

Что означает введенная мною в эстетику антитеза *аполлонического и дионисического,* если понимать их как виды опьянения? – Аполлоническое опьянение держит в состоянии возбуждения прежде всего глаз, так что он обретает способность к видениям. Живописец, пластик, эпический поэт – визионеры par excellence. В дионисическом состоянии, напротив, возбуждена и усилена вся система аффектов: так что она разом разряжает все свои средства выражения, выказывая одновременно силу изображения, подражания, преображения, превращения, всякого вида мимику и актерство. Ключевой остается легкость метаморфоза, неспособность *не* реагировать (подобно некоторым истеричным субъектам, которые также, по первому знаку, входят во *всякую* роль). Для дионисического человека невозможно не поддаться какому-либо внушению, он не проглядит ни единого знака аффекта, он наделен наивысшей степенью понимающего и угадывающего инстинкта, равно как и наивысшей степенью искусства передачи. Он залезает в любую шкуру, в любой аффект: он постоянно преображается. – Музыка, как мы ее сегодня понимаем, есть как бы общее возбуждение и разрядка аффектов, и все же это лишь остаток гораздо более полного мира выражений аффекта, лишь residuum[1] дионисического гистрионизма. Чтобы музыка стала возможной как обособленное искусство, заставили умолкнуть немало чувств, прежде всего мускульное чувство (по крайней мере относительно: ибо всякий ритм в известной степени еще говорит нашим мускулам); так что человек уже не воспроизводит и не изображает тотчас в лицах все то, что он чувствует. Тем не менее *это* – подлинно нормальное дионисическое состояние, во всяком случае первозданное

---

1 остаток (*лат.*).

состояние; музыка есть его долго достигавшаяся, в ущерб близкородственным способностям, спецификация.

11

Актер, мим, танцор, музыкант, лирик глубоко родственны по своим инстинктам и по сути являются одним целым, но постепенно они специализировались и отделились друг от друга – доходя даже до противоречия. Лирик дольше всего составлял одно целое с музыкантом, актер с танцором. – *Зодчий* не представляет собою ни дионисического, ни аполлонического состояния: тут перед нами великий волевой акт, воля, сдвигающая горы, опьянение великой воли, жаждущей искусства. Зодчих всегда вдохновляли самые могущественные люди; зодчий всегда находился под внушением власти. В архитектурном произведении должна воплощаться гордость, победа над тяжестью, воля к власти; архитектура есть нечто вроде красноречия власти, вылившееся в формах, то убеждающего, даже льстящего, то исключительно повелевающего. Высшее чувство власти и уверенности выражается в тех вещах, которые обладают *великим стилем*. Власть, которой уже не нужны подтверждения; которая пренебрегает тем, чтобы нравиться; которая с трудом отвечает; которая не чувствует рядом с собой свидетелей; которая живет без тени сознания того, что ей могут противоречить; которая покоится в *себе*, фаталистичная, закон из законов: *вот что* заявляет о себе как великий стиль.

12

Я читал жизнь *Томаса Карлейля*, этот невольный и не ведающий себя фарс, эту героико-моральную интерпретацию диспептических состояний. – Карлейль, человек решительных фраз и поз, ритор по*неволе*, которого постоянно возбуждает жажда сильной веры, *а также* чувство неспособности к ней (в этом он типичный романтик!). Жажда сильной веры *не* доказывает еще присутствия ее, скорее напротив. *Тот, кто имеет ее*, может позволить себе прекрасную роскошь

скепсиса: для этого он достаточно уверен, достаточно твёрд, достаточно связан. Посредством fortissimo своего преклонения перед людьми сильной веры и своей яростью по отношению к людям менее простодушным Карлейль старается что-то заглушить в себе: ему *нужен* шум. Постоянная страстная *бесчестность* по отношению к себе – это его proprium[1], этим он был и остается интересен. – Конечно, в Англии его чтут именно за его честность... Что ж, это по-английски; а принимая во внимание, что англичане представляют собою народ совершеннейшего cant, – не только понятно, но даже естественно. В сущности Карлейль – английский атеист, ищущий своей чести в том, чтобы *не* быть им.

13

Эмерсон. – Гораздо более просвещенный, увлекающийся, разносторонний, утонченный, нежели Карлейль, прежде всего более счастливый... Из тех, кто инстинктивно питается одной амброзией, оставляя нетронутым неудобоваримое в вещах. По сравнению с Карлейлем человек вкуса. – Карлейль, очень его любивший, тем не менее сказал о нем: «Того, что он дает, *нам* не хватает на укус», – что, может быть, сказано справедливо, но не служит упреком Эмерсону. – Эмерсон обладает той доброй и гениальной веселостью, которая обезоруживает всякую серьезность; он совершенно не знает того, насколько он уже стар и насколько он еще будет молод, – он мог бы сказать о себе словами Лопе да Вега: «Yo me sucedo a mi mismo»[2]. Его ум всегда находит основания быть довольным и даже благодарным; а иногда он напоминает в своей веселой трансцендентности того доброго малого, который вернулся с любовного свидания tamquam re bene gesta[3]. «Ut desint vires, – сказал он с благодарностью, – tamen est laudanda voluptas»[4].

---

1 свойство (*лат.*).

2 я следую самому себе (*исп.*).

3 словно бы все удалось (*лат.*).

4 Пусть не хватает сил, но само сладострастие заслуживает похвалы» (*лат.*). См. комментарии.

14

Анти-Дарвин. – Что касается пресловутой «борьбы за *существование»*, то она представляется мне скорее голословным утверждением, нежели чем-то доказанным. Она присутствует, но как исключение; суммарный аспект жизни – *не* нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, – там, где борются, борются за *власть*... Не следует путать Мальтуса с природой. – Но если предположить, что эта борьба существует – а она и в самом *деле* присутствует, – то исход ее, к сожалению, обратен тому, которого хочет дарвинизм и которого мы *были бы вправе* желать вместе с ним, а именно: победа оказывается не на стороне сильных, привилегированных, счастливых исключений. Род растет *не* в направлении совершенства: слабые снова и снова становятся господами над сильными, – это оттого, что их большинство и они *умнее*... Дарвин забыл про духовное (как это по-английски!), *у слабых его больше*... Чтобы стать богаче духом, надо в нем нуждаться, – его теряют, когда он более не нужен. Кто обладает силой, тот отказывается от духа (– «пускай себе испаряется! – думают нынче в Германии, – *рейх*-то у нас останется»...). Как видите, я понимаю под духом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что является мимикрией (в разряд последней входит большая часть так называемой добродетели).

15

Казуистика психолога. – Вот знаток людей – для чего он собственно изучает их? Он хочет выудить себе маленькие преимущества перед ними или даже большие, – он политик!.. Вот тоже знаток людей – а вы говорите, что он не ищет в этом никакой выгоды для себя, что это великий «безличный». Вглядитесь пристальней! Быть может, он хочет даже еще более *недоброго* преимущества – чувствовать себя выше людей, иметь право смотреть на них сверху вниз, больше уже не смешивать себя с ними. Этот «безличный» *презирает* людей, – а тот первый являет собой более гуманную species,

что бы ни говорила внешность. Он по крайней мере становится вровень с ними, становится *в их ряды* ...

16

Мне кажется, что целый ряд случаев, представить перечень которых мне мешает моя скромность, ставит *психологический такт* немцев под серьезный вопрос. Но в одном случае у меня не будет недостатка в поводе для обоснования моего тезиса: я не могу простить немцам, что они ошиблись в *Канте* и его «философии лазеек», как я называю ее, – это *не* был тип интеллектуальной честности. – Другое, чего я не могу слышать, это пресловутое «и»: немцы говорят «Гёте и Шиллер», – боюсь, что они говорят «Шиллер и Гёте»... Разве этого Шиллера еще не *знают*? – Есть еще худшие «и»; я слышал собственными ушами, конечно лишь среди университетских профессоров: «Шопенгауэр *и* Гартман»...

17

Самые одухотворенные люди, при условии, что столь же исключительно их мужество, имеют дело еще и с несказанно мучительными трагедиями – но именно потому и чтут они жизнь, что она противостоит им всею своей мощью.

18

К «интеллектуальной совести». – Ничто не кажется мне более редким нынче, чем истое лицемерие. Сильно подозреваю, что этому растению не полезен мягкий воздух нашей культуры. Лицемерие относится к векам сильной веры: когда даже при *принуждении* выставлять напоказ другую веру не отступались от той веры, которую имели. Нынче от нее отступаются; или, что еще обычнее, прибавляют себе еще вторую веру, – в любом случае остаются *честными*. Без сомнения, нынче возможно гораздо большее число убеждений, чем прежде: возможно, т.е. дозволено, т.е. *безвредно*.

Отсюда возникает терпимость по отношению к самим себе. – Терпимость по отношению к самим себе допускает множественность убеждений: они сосуществуют вместе, они, как и все нынче, остерегаются компрометировать себя. Чем сегодня можно себя скомпрометировать? Тем, что ты последователен. Тем, что идешь по прямой. Тем, что в твоей *многозначности* «много» – это *меньше* пяти[1]. Тем, что честен... Я очень боюсь, что современный человек просто слишком изнежен для некоторых пороков: так что последние прямо-таки вымирают. Всё злое, обусловленное сильной волей, – а, быть может, нет ничего злого без силы воли – в нашем тёплом воздухе вырождается в добродетель... Немногие лицемеры, с которыми я познакомился, подделывали лицемерие: они были, как это свойственно в наши дни чуть ли не каждому десятому, актерами.

19

Прекрасное и безобразное. – Нет ничего более условного, скажем, более *ограниченного*, нежели наше чувство прекрасного. Кто захотел бы мыслить его свободным от удовольствия, доставляемого человеку человеком, тотчас потерял бы почву под ногами. «Прекрасное само по себе» – это просто слова, даже не понятие. Мерилом совершенства в прекрасном делает себя человек; в избранных случаях он поклоняется в этом себе. Род не *может* иначе, как таким вот образом, говорить «Да» себе и только себе. *Самый глубинный* его инстинкт, инстинкт самосохранения и самораспространения, проецирует себя даже на такие тонкие материи. Человек считает и самый мир наполненным красотою, – он *забывает* себя как ее причину. Он один и одарил его красотой, – только вот красотой человеческой, слишком человеческой... В сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным все, что отражает ему его образ: оценка «прекрасное» есть его *родовое тщеславие*... Во всяком случае скептику некоторое недоверие могло бы шепнуть на ухо: действительно ли мир украшает то, что именно человек

---

1 букв.: «тем, что ты менее чем пятизначен». – *Прим. ред.*

считает его прекрасным? Он *очеловечил* его – вот и все. Но ничто, решительно ничто не может быть порукой в том, что именно человек служит моделью прекрасного. Кто знает, как выглядит он в глазах высшего судьи вкуса? Быть может, спорно? Быть может, даже забавно? Быть может, немного своеобразно?.. «О, Дионис, божественный, зачем тянешь ты меня за уши?» – спросила раз Ариадна своего философа-любовника во время одного из тех знаменитых диалогов на Наксосе. – «Я нахожу нечто юмористическое в твоих ушах, Ариадна; почему они не еще длиннее?»

20

Ничто не прекрасно, только человек прекрасен: на этой наивности зиждется вся эстетика, она ее *первая* истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую: ничто не безобразно, кроме *вырождающегося* человека, – этим очерчены границы эстетического суждения. – Если поверять физиологией, то все безобразие ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, бессилии; он фактически теряет при этом силу. Действие безобразного можно измерять динамометром. Когда человек вообще подавлен, то он чует близость чего-то «безобразного». Его чувство могущества, его воля к власти, его мужество, его гордость – все это умаляется вместе с безобразным и возрастает вместе с прекрасным... Как в том, так и в другом случае *мы делаем одно заключение:* предпосылки к этому в невиданном изобилии содержатся в инстинкте. Безобразное понимается как намек на вырождение и его симптом: что хоть самым отдаленным образом напоминает о вырождении, то вызывает в нас суждение «безобразно». Каждый признак истощения, тяжести, старости, усталости, всякого вида несвобода, как судорога, паралич, прежде всего запах, цвет, форма разложения, тления, хотя бы даже в самом разреженном виде символа, – все это вызывает одинаковую реакцию, все это «безобразно». *Ненависть* рвется здесь наружу – кого ненавидит тут человек? Но в этом нет никакого сомнения: *упадок своего типа.* Он ненавидит тут в силу глубочайшего инстинкта рода; в этой ненависти есть содро-

гание, осторожность, глубина, дальнозоркость, – это глубочайшая ненависть, какая только есть. В силу нее и искусство *глубоко*...

21

Шопенгауэр. – Шопенгауэр, последний немец, идущий в счет (ведь он – *европейское* явление подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гейне, а *не только* местное, «национальное»), – это случай первого ранга для психолога: а именно, как озлобленно гениальная попытка вывести в бой на стороне общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании, одно за другим, *искусство,* героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию – то была грандиознейшая психологическая подделка, с какой только встречалась мировая история, если, конечно, не считать христианства. Если вглядеться внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации: с тою только разницей, что вдобавок смог *одобрить отвергнутые* христианством вещи, великие факты культуры человечества, – все в том же христианском, т.е. нигилистическом, смысле (именно как пути к «спасению», как предформы «спасения», как stimulantia потребности в «спасении»...).

22

Рассмотрю один случай. Шопенгауэр говорит о *красоте* с меланхолическим пылом, – отчего бы так? Потому что он видит в ней *мост,* который ведет дальше или возбуждает жажду идти дальше... Она на мгновения освобождает его от «воли»– и манит освободиться от нее навсегда... Особенно ценит он ее, как освободительницу от «средоточия воли», от полового влечения, – в красоте он видит *отрицание* полового инстинкта... Удивительный святой! Кое-кто

противоречит тебе, – боюсь, что природа. *Для чего* вообще существует красота звука, цвета, аромата, ритмического движения в природе? Что *вызывает* красота? – К счастью, ему противоречит также один философ. Не кто иной, как божественный Платон (так называет его сам Шопенгауэр) поддерживает другое положение: что любая красота побуждает к зачатию, – что это как раз proprium ее действия, начиная с самого чувственного и кончая высотами духа...

23

Платон идет дальше. С невинностью, для которой нужно быть греком, а не «христианином», он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей: их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение и не дает ей покоя, пока она не бросит семя всего великого в такую прекрасную почву. Тоже удивительный святой! – не веришь своим ушам, даже если предположить, что веришь Платону. По крайней мере понимаешь из этого, что в Афинах философствовали *иначе*, прежде всего публично. Нет ничего менее греческого, чем когда некий отшельник плетет паутину понятий, чем amor intellectualis dei[1], на манер Спинозы. Философию в духе Платона скорее можно было бы определить как эротическое состязание, нежели как дальнейшее развитие и одухотворение древней агональной гимнастики и ее *предпосылок*... Что выросло в итоге из этой философской эротики Платона? Новая художественная форма греческого agon, диалектика. – Напомню еще, *в пику* Шопенгауэру и к чести Платона, что и вся высочайшая культура и литература *классической* Франции выросла на почве полового интереса. Там всюду можно искать галантность, чувства, состязание полов, «женщину», – эти поиски всякий раз увенчаются успехом...

---

1 интеллектуальная любовь к Богу (*лат.*).

24

L'art pour l'art. – Борьба с целью в искусстве является всегда борьбой с *морализирующей* тенденцией в искусстве, с подчинением его морали. L'art pour l'art означает: «пусть мораль катится к черту!» – Но и эта вражда еще указывает на засилье предрассудка. Если мы исключим из искусства цель моральной проповеди и улучшения человека, то из этого далеко еще не следует, что искусство бесполезно, бесцельно, бессмысленно, словом, что оно l'art pour l'art – червь, кусающий собственный хвост. «Лучше совсем никакой цели, чем моральная цель!» – так говорит голая страсть. Психолог, напротив, спрашивает: что делает всякое искусство? Не восхваляет ли оно? Не возвеличивает ли? Не выбирает ли? Не выделяет ли? Всем этим оно *усиливает* или *ослабляет* те или иные ценностные суждения... Есть ли это только побочное действие? Случайность? Нечто такое, в чем инстинкт художника не принимает совершенно никакого участия? Или наоборот: не предпосылка ли это того, на что *способен* художник..? Направлен ли самый глубинный его инстинкт на искусство или же, скорее, на смысл искусства, на *жизнь?* на *желанность жизни?* – Искусство есть великий стимул к жизни – как можно считать его бесцельным, l'art pour l'art? – Остается один вопрос: ведь искусство изображает также много безобразного, сурового, проблематичного в жизни, – не стремится ли оно этим отбить охоту к жизни? – И в самом деле, были философы, придававшие ему такой смысл: Шопенгауэр учил, что «освобождение от воли» есть общая цель искусства, он видел великую пользу трагедии в том, что она «склоняет к резиньяции». – Но это, о чем я уже говорил, есть оптика пессимиста и «дурной глаз»: надо апеллировать к самим художникам. *Что сообщает о себе трагический художник?* Не демонстрирует ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и сомнительным? – Само это состояние является в высшей степени желанным; кто знает его, тот знает ему цену и чтит его. Он сообщает это состояние другим, он *должен* его сообщать, при условии, что он художник, гений сообщничества. Мужество и свобода чувства перед лицом мощного врага, великого бедствия, проблемы, вызывающей ужас, – вот то *победонос-*

ное состояние, которое избирает трагический художник, которое он прославляет. Перед лицом трагедии воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии; кто привык к страданию, кто ищет страдания, *героический* человек платит трагедией за свое существование, – ему одному дает трагический поэт отведать напитка этой сладчайшей жестокости.

25

Быть невзыскательным к людям, держать открытым свое сердце – это либерально, это всего лишь либерально. Сердца, способные на *аристократическое* гостеприимство, узнаются по многим завешенным окнам и закрытым ставням: свои лучшие помещения они держат пустыми. Почему же? – Потому что они ждут гостей, к которым *не* бывают «невзыскательны»...

26

Если мы рассказываем о себе, значит мы не достаточно ценим себя. Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы захотели. Это оттого, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею говорящий сразу *вульгаризируется*. (Из морали для глухонемых и других философов).

27

«Какой чарующий портрет!»... Литературная дама, неудовлетворенная, возбужденная, бесплодная сердцем и чревом, постоянно прислушивающаяся с мучительным любопытством к императиву, шепчущему из глубин ее организма

«aut liberi aut libri[1]»; литературная дама, достаточно образованная, чтобы понимать голос природы, даже когда она говорит по-латыни, а с другой стороны, тщеславная и в достаточной степени гусыня, чтобы втайне все еще говорить с собою по-французски: «je me verrai, je me lirai, je m'extasierai et je dirai: Possible, que j'aie eu tant d'esprit?[2]»...

28

Слово предоставляется «безличным». – «Для нас нет ничего легче, чем быть мудрыми, терпеливыми, смотреть свысока. Мы насквозь пропитались маслом снисхождения и сочувствия, мы абсурдно справедливы, мы прощаем всё. Именно поэтому нам следовало бы держать себя несколько строже; именно поэтому нам следовало бы время от времени *взращивать* в себе маленький аффект, маленький порок аффекта. Нам это будет нелегко; между собой мы, быть может, посмеемся над зрелищем, которое при этом являем. Но что же делать! У нас не осталось никакого другого способа самопреодоления – это *наш* аскетизм, *наше* покаяние»... *Сделаться индивидуальным* – добродетель «безличного»...

29

Диалог с защиты докторской диссертации. – «В чем задача всякой высшей школы?» – Сделать из человека машину. – «Какими средствами?» – Он должен научиться скучать. – «Как этого добиться?» – С помощью понятия долга. – «Кто для него образец в этом отношении?» – Филолог: он учит *зубрить*. – «Кто является совершенным человеком?» – Государственный чиновник. – «Какая философия дает высшую формулу для государственного чиновника?» – Философия Канта: государственный чиновник как вещь в себе, постав-

1 либо дети, либо книги (*лат.*).

2 я себя увижу, я себя прочту, я приду в восторг и скажу себе: ну разве я не кладезь остроумия? (*фр.*). См. комментарии.

ленный судьею над государственным чиновником как явлением. –

30

Право на глупость. – Утомленный и медленно переводящий дыхание работник, с добродушным взглядом, предоставляющий всему идти своим чередом: эта типичная фигура, которую ныне, в эпоху труда (*а также* «империи»!) можно встретить во всех слоях общества, заявляет теперь свои притязания на *искусство*, включая книги, прежде всего журналы, а еще, в гораздо большей мере – на прекрасную природу, Италию... Вечерний человек с «уснувшими дикими порывами», о которых говорит Фауст, нуждается в летней прохладе, в морских купаниях, в глетчерах, в Байройте... В такие эпохи искусство имеет право на *чистую глупость*, – как на своего рода каникулы ума, остроумия и эмоций. Это понял Вагнер. *Чистая глупость*[1] восстанавливает организм...

31

Еще одна проблема диеты. – Меры, которыми Юлий Цезарь защищался от хворости и головной боли: изнурительные марши, самый простой образ жизни, непрерывное пребывание на свежем воздухе, постоянные нагрузки – это, вообще говоря, меры, чтобы поддержать и защитить от крайней ломкости ту тонкую и работающую под высочайшим давлением машину, которая называется гением.

32

Речь иммoралиста. – Ничто так не претит вкусу философа, как человек *желающий*... Если он видит человека только за

---

1 Намек на вагнеровского Парсифаля. *Thorheit* имеет еще и другое значение: «простоватость». См. прим. к *EH, Почему я так мудр, 8.* – *Прим. ред.*

его делом, видит этого храбрейшего, хитрейшего, выносливейшего зверя пусть даже заблудившимся в лабиринте бедствий, то каким достойным изумления кажется ему человек! Он еще поощряет его... Но желающего человека, а также человека «желаемого» – и вообще все желанности, все *идеалы* человека – философ презирает. Будь философ нигилистом, то он был бы им потому, что за всеми идеалами человека он находит Ничто. Или даже не Ничто, – а нечто недостойное, абсурдное, больное, трусливое, усталое, всякого вида подонки из *выпитого* кубка его жизни... Отчего так происходит, что человек, достойный всяческого почтения как реальность, не заслуживает никакого уважения своими желаниями? Должен ли он расплачиваться таким образом за то, что он столь ценен в качестве реальности? Должен ли он уравновешивать свою деятельность, напряжение ума и воли во всякой деятельности тем, что распластывается в воображаемом и абсурдном? – История того, что для него желанно, была до сих пор partie honteuse человечества: стоит остеречься читать ее слишком долго. Что оправдывает человека, так это его реальность, – она будет оправдывать его вечно. Во сколько раз ценнее действительный человек по сравнению с каким-нибудь всего лишь желанным, выдуманным, высосанным из пальца, присочиненным человеком! с каким-нибудь *идеальным* человеком!.. Лишь идеальный человек не по вкусу философу.

33

Естественная ценность эгоизма. – Себялюбие ценно настолько же, насколько физиологически ценен его носитель: оно может быть чрезвычайно ценным, оно может быть никчемным и презренным. На каждого можно смотреть с той точки зрения, представляет ли он восходящую или нисходящую ветвь жизни. Ответ на этот вопрос дает и мерило того, чего стоит его себялюбие. Если он представляет восхождящую ветвь, то ценность его на самом деле огромна, – и ради всей жизни, которая делает в лице его шаг *вперед*, забота о его сохранении, о создании optimum условий для него вправе достигать крайних степеней. Отдельный человек,

«индивидуум», как его до сих пор понимали толпа и философ, –это заблуждение: он не есть что-либо самостоятельное, не атом, не «звено цепи», не что-либо унаследованное от прошлого, – он *одна* цельная ветвь «человека» вплоть до него самого... Если он представляет собою нисходящее развитие, упадок, хроническое вырождение, болезнь (болезни, вообще-то говоря, уже являются следствиями упадка, а *не* его причинами), то ценность его мала, и простая справедливость требует, чтобы он как можно меньше *отнимал* у удавшихся людей. Он же просто их паразит...

34

Христианин и анархист. – Если анархист, как глашатай *опускающихся* слоев общества, требует с красивым негодованием «права», «справедливости», «равных прав», то он находится при этом лишь под давлением своей некультурности, которая не может постичь, *почему* он собственно страдает, *чем* он беден, – а беден он жизнью... В нем сильна потребность в причине: кто-нибудь должен быть виновен в том, что ему плохо... Да и само «красивое негодование» уже действует на него благотворно; браниться – это удовольствие для всех бедняков, – это дает маленькое опьянение властью. Уже жалоба, сетование может сообщить жизни привлекательность, ради которой ее выносят: маленькая доза *мести* есть в каждой жалобе; за свое скверное положение, а иногда даже за свою дрянность упрекают тех, у кого дело обстоит иначе, – как за несправедливость, как за *недозволенное* преимущество. «Если я canaille, то и ты, должно быть, тоже»: на основании этой логики делают революцию. – Сетование во всяком случае ничего не стоит: оно проистекает из слабости. Возлагают ли ответственность за свое незавидное положение на других или на *самих себя* – первое делает социалист, второе, к примеру, христианин, – в этом, собственно, нет никакой разницы. Общее, скажем также, *недостойное* в этом то, что некто должен быть *виновным* в том, что страдаешь, – словом, что страдающий прописывает себе как средство от своего страдания мёд мести. Объектами этой потребности в мести, как потребности в *удовольствии*, являют-

ся случайные причины: страдающий всюду находит причины вымещать свою маленькую мстительность, – если он христианин, то, повторяю, он находит их в *себе*... Христианин и анархист – оба суть décadents. – Но когда христианин осуждает *«мир»*, клевещет на него, чернит его, то он делает это в силу того же инстинкта, в силу которого рабочий-социалист осуждает *общество*, клевещет на него, чернит его: сам «страшный суд» есть сладчайшее утешение мести – революция, какой ожидает и рабочий-социалист, только несколько более отдаленная... Да и «тот мир» – для чего тот мир, если бы он не был средством чернить этот?..

35

Критика морали décadence. – «Альтруистическая» мораль, мораль, при которой *чахнет* себялюбие, – остается в любых обстоятельствах дурным признаком. Это относится к индивидууму, это же относится и к народам. Когда начинает не хватать себялюбия, то, значит, не хватает самого лучшего. Инстинктивно выбирать вредное *себе*, *прельщаться* «бескорыстными» побуждениями – это почти формула для décadence. «Не искать *своей* пользы» – это просто моральный фиговый лист для совсем другой, а именно – физиологической действительности: «я больше не умею *найти* своей пользы»... Ослабление инстинктов! – С человеком покончено, если он становится альтруистом. – Вместо того, чтобы наивно сказать: «*я* больше ничего не стою», моральная ложь в устах décadent говорит: «нет ничего ценного, – *жизнь* ничего не стоит»... Такое суждение в конце концов грозит большой опасностью, оно действует заразительно, – на гнилой почве общества оно разрастается вскоре в тропическую растительность понятий, то в виде религии (христианство), то в виде философии (шопенгауэрианство). Иногда такой выросший из гнили ядовитый куст отравляет своим дыханием *саму жизнь* на тысячелетия вперед...

36

Мораль для врачей. – Больной – паразит общества. В известных случаях неприлично продолжать жить. Дальнейшее прозябание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер, после того как потерян смысл жизни, *право* на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, – выписывать не рецепты, а каждый день новую дозу *отвращения* своему пациенту... Создать новую ответственность, ответственность врача, для всех случаев, где высший интерес жизни, *восходящей* жизни, требует беспощадного подавления и устранения *вырождающейся* жизни – например, для права на зачатие, для права быть рожденным, для права жить... Гордо умереть, если уже больше нет возможности гордо жить. Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей: так что еще возможно настоящее прощание, когда *тот*, кто прощается, *еще здесь, с нами*, а равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, *подведение итога* жизни – все это в противовес той жалкой и ужасающей комедии, которую делало из смертного часа христианство. Никогда не следует забывать христианству того, что оно злоупотребляло слабостью умирающего для насилования совести, а обстоятельствами самой смерти – для оценки человека и его прошлого! – Здесь следует, наперекор всем трусостям предрассудка, прежде всего восстановить правильную, т.е. физиологическую оценку так называемой *естественной* смерти, – которая в конечном счете также является всего лишь «неестественной», самоубийством. Челобек погибает не от чего иного, как от самого себя. Только это – смерть, наступающая в презреннейших условиях, несвободная смерть, *несвоевременная* смерть, смерть труса. Из любви к *жизни* следовало бы желать иной смерти, – свободной, сознательной, без случайности, без неожиданности... Наконец, дам совет господам пессимистам и другим décadents. Не в наших силах воспрепятствовать нашему рождению: но эту ошибку – ибо порою это ошибка – мы можем исправить. *Устраняя* себя, делаешь достойное величайшего уважения дело: этим почти заслуживаешь право

жить... Общество, что я говорю! сама *жизнь* получает от этого бóльшую выгоду, чем от какой-нибудь «жизни» в отречении, бледной немочи и прочих добродетелях, – освобождаешь других от того, чтобы тебя лицезреть, освобождаешь жизнь от лишнего *довода* против нее... Пессимизм, pur, vert, *доказывается только* самоопровержением господ пессимистов: надо сделать еще один шаг в его логике, отрицать жизнь не только «волей и представлением», как это делал Шопенгауэр, – надо *прежде всего отрицать Шопенгауэра...* Пессимизм, кстати сказать, как он ни заразителен, тем не менее в целом не усиливает болезненность эпохи, поколения, – он просто является ее выражением. Им заболевают, как заболевают холерой: для этого уже надо быть достаточно хилым. Сам пессимизм не производит на свет ни одного нового décadent; напомню статистический вывод, что годы, в которые свирепствует холера, не отличаются общим числом смертных случаев от других лет.

37

Стали ли мы нравственнее. – Против моего понятия «по ту сторону добра и зла», как и следовало ожидать, ополчилась вся *ярость* морального оглупления, которая, как известно, слывет в Германии за саму мораль: я мог бы рассказать об этом премилые истории. Прежде всего мне предложили подумать о «неопровержимом превосходстве» нашего времени в нравственном суждении, о действительно достигнутом нами в этой области *прогрессе:* в сравнении с *нами* вовсе-де нельзя считать какого-нибудь Чезаре Борджа «высшим человеком», чем-то вроде *сверхчеловека,* как делаю это я... Один швейцарский редактор, из газеты «Bund», зашел так далеко, что, отдавая дань мужеству на такое дерзновение, «понимает» смысл моего сочинения в том, что я предлагаю в нем упразднить все благопристойные чувства. Благодарю покорно! – Позволю себе в качестве ответа поставить вопрос, *действительно ли мы стали нравственнее?* Что этому верит весь мир, есть уже возражение... Мы, современные люди, очень нежные, очень ранимые и сотни раз уступающие и принимающие уступки, в самом деле воображаем, что эта нежная

человечность, которую мы собою являем, это *достигнутое* единодушие в милосердии, в готовности помочь, во взаимном доверии есть позитивный прогресс, что в этом отношении мы далеко опередили Ренессанс. Но так думает каждая эпоха, так *должна* она думать. Несомненно то, что мы не можем поставить себя в ренессансные обстоятельства, даже не можем помыслить себя в них: этой действительности не выдержали бы наши нервы, не говоря уж о наших мускулах. Но этой неспособностью доказывается не прогресс, а лишь присутствие в нас свойств другой, позднейшей формации, – более слабой, нежной, уязвимой, – из которых неизбежно рождается *полная уступок и оглядок* мораль. Если мы мысленно устраним нашу изнеженность и запоздалость, наше физиологическое одряхление, то и наша мораль «очеловечения» потеряет тотчас же свою ценность (сама по себе никакая мораль ценности не имеет), она обесценит нас самих. С другой стороны, не будем сомневаться в том, что мы, современные люди, плотно укутанные в нашу гуманность, как в вату, ибо ни за что не желаем ушибиться о камни, показались бы современникам Чезаре Борджа уморительной комедией. В самом деле, мы попросту смехотворны, смехотворны поневоле, с нашими современными «добродетелями»... Ослабление инстинктов вражды и недоверия – а ведь в этом и состоит наш «прогресс» – представляет собою лишь одно из следствий общего ослабления *витальности:* требуется во сто раз больше труда, больше осторожности, чтобы поддерживать столь нагруженное условиями, столь позднее существование. Тут все взаимно помогают друг другу, тут каждый до известной степени больной и в то же время санитар. Это называется «добродетелью» – люди, знавшие другую жизнь, более полную, расточительную, бьющую через край, назвали бы это иначе, быть может, «трусостью», «ничтожеством», «старушечьей моралью»... Наше смягчение нравов (это мой постулат и, если угодно, мое *нововведение*) есть следствие упадка; суровость и ужасность нравов может, наоборот, быть следствием избытка жизни. Ведь только при избытке жизни могут на многое отваживаться, многого требовать, а также много *расточать.* Что некогда было приправой жизни, оказалось бы для нас *ядом...* Для того, чтобы быть индифферентными – а это тоже извест-

ная форма силы – мы также слишком стары, пришли слишком поздно: наша мораль сочувствия, от которой я первый предостерегал и которую можно было бы назвать l'impressionisme morale, есть лишь еще одно выражение чрезмерной физиологической раздражимости, свойственной всему декадентскому. То движение, которое с помощью шопенгауэровской *морали сострадания* пыталось стать на научную почву, – весьма неудачная попытка! – есть подлинное движение décadence в морали и, будучи таковым, глубоко родственно морали христианской. Сильные эпохи, *аристократические* культуры видят в сострадании, в «любви к ближнему», в недостатке самости и чувства собственного достоинства нечто презренное. – О временах следует судить по их *позитивным силам* – и при этом выходит, что столь расточительная и роковая эпоха Ренессанса была последней *великой* эпохой, а мы, современные люди, с нашей боязливой заботой о себе и любовью к ближнему, с нашими добродетелями труда, непритязательности, законности, научности – накапливающие, экономные, подобные машинам – воплощаем *слабую* эпоху... Наши добродетели обусловлены, они *вызваны* нашей слабостью... «Равенство», известное фактическое уподобление, которое проявляется только лишь в теории о «равных правах», по сути – примета упадка: пропасть между человеком и человеком, сословием и сословием, многообразие типов, воля быть собой, выделяться среди других, – то, что я называю *пафосом дистанции*, свойственно каждой *мощной* эпохе. Сила напряжения, расстояние между полюсами, крайностями ныне все уменьшается, – сами крайности в конечном счете сглаживаются до полной тождественности... Все наши политические теории *и* государственные устройства, отнюдь не исключая «Германского рейха», суть следствия, неизбежные следствия упадка; несознаваемое влияние décadence проникло вплоть до самых идеалов отдельных наук. Моим возражением против всей социологии в Англии и во Франции остается то, что она знает из опыта только *упадочные формации* общества и совершенно наивно принимает собственные упадочные инстинкты за *норму* социологической оценки. *Нисходящая* жизнь, ослабление всякой организующей, т.е. разделяющей, вырывающей пропасти, подчиняющей одно другому силы возведено в нынеш-

ней социологии в *идеал*... Наши социалисты суть décadents, но и господин Герберт Спенсер тоже décadent – он видит нечто желательное в победе альтруизма!..

38

Мое понятие свободы. – Ценность вещи заключается иногда не в том, что с помощью ее достигают, а в том, что за нее заплатили, – чего она нам *стоит.* Приведу пример. Либеральные институты тотчас же перестают быть либеральными, как только они созданы: после этого нет худших и более радикальных врагов свободы, чем либеральные институты. Ведь известно, *к чему* они приводят: они подводят мины под волю к власти, они служат возведенной в ранг морали нивелировкой гор и долин, они делают людей мелкими, трусливыми и похотливыми, – они являют всякий раз триумф стадного животного. Либерализм: в переводе – обращение *в стадных животных*... И те же самые институты, пока за них еще борются, оказывают совсем другое действие; тогда они действительно мощно споспешествуют свободе. Говоря точнее, это действие производит война, война *за* либеральные институты, которая, как всякая война, поддерживает существование *нелиберальных* инстинктов. И война воспитывает к свободе. Ибо что такое свобода, как не воля к ответственности за самого себя; как не сохранение дистанции, которая нас разделяет; как не равнодушие к тяготам, суровым лишениям, даже к жизни; как не готовность жертвовать за свое дело людьми, не исключая и самого себя? Свобода означает, что мужественные, воинственные и победоносные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например над инстинктом «счастья». *Освободившийся* человек, тем более освободившийся *ум*, попирает ногами все то презренное благоденствие, о котором мечтают мелочные лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы. Свободный человек – *воин.* – Чем измеряется свобода, как у индивидов, так и у народов? Сопротивлением, которое надо преодолеть, трудом, затраченным на то, чтобы оставаться *наверху.* Высший тип свободных людей следовало бы искать там, где посто-

янно преодолевается высшее сопротивление: в пяти шагах от тирании, у самого порога опасности рабства. Это верно психологически, если понимать здесь под «тираном» непреклонные и страшные инстинкты, требующие по отношению к себе максимума авторитета и дисциплины, – ярчайший тип этого Юлий Цезарь; это верно также и в политическом отношении, стоит лишь проследить ход истории. Народы, имевшие какую-либо ценность, *ставшие* ценными, никогда не делались таковыми под влиянием либеральных институтов: *великая опасность* делала из них нечто заслуживающее уважения, – опасность, которая впервые знакомит нас с нашими средствами помощи, нашими добродетелями, с нашим оружием, с нашим *духом*, которая *принуждает* нас быть сильными... *Первый* принцип: надо, чтобы тебе пришлось быть сильным – иначе никогда им не будешь. – Те огромные теплицы для сильной, для сильнейшей породы людей, какая когда-либо существовала, аристократические общины, подобные Риму и Венеции, понимали свободу как раз в том смысле, в каком понимаю ее я: как нечто, что имеешь и чего *не* имеешь, чего *хочешь*, что *завоевываешь*...

39

Критика современности. – Наши институты уже ни на что не годятся – в этом все единодушны. Но виной тому не они, а *мы*. После того как мы лишились всех инстинктов, из которых вырастают институты, мы лишились и всех институтов, поскольку *мы* уже негодны для них. Демократизм во все времена был упадочной формой организующей силы: уже в «Человеческом, слишком человеческом» (I, 318) я охарактеризовал современную демократию со всеми ее половинчатостями, вроде «Германского рейха», как *упадочную форму государства*. Чтобы существовали институты, должна присутствовать известная воля, инстинкт, императив, антилиберальный до ярости: воля к традиции, к авторитету, к ответственности на столетия вперед, к *солидарности* прошлых и будущих поколений in infinitum. Если эта воля налицо, то основывается нечто подобное imperium Romanum; или подобное России, *единственной* державе, у которой сегодня

есть будущность, которая может ждать, которая еще может что-то обещать, – России, антониму жалкого европейского партикуляризма и нервозности, вступившей вместе с основанием Германского рейха в критическую стадию... У целого Запада нет больше тех инстинктов, из которых вырастают институты, из которых вырастает *будущее:* его «современному духу» быть может, ничто не приходится в такой степени не по нутру. Живут для сегодняшнего дня, живут слишком быстро, – живут слишком безответственно: именно это называют «свободой». То, что *делает* институты институтами, презираемо, ненавидимо, всего этого избегают; воображают опасность нового рабства там, где лишь раздается слово «авторитет». Так далеко заходит décadence в ценностных инстинктах наших политиков, наших политических партий: *они инстинктивно предпочитают* то, что разлагает, что ускоряет конец... Свидетельством этому служит *современный брак.* Из современного брака, очевидно, улетучился всякий разум – но это служит доводом не против брака, а против современности. Разумность брака заключалась в юридической, исключительно на муже лежащей ответственности: это давало браку устойчивость, тогда как нынче он хромает на обе ноги. Разумность брака заключалась в его принципиальной нерасторжимости: это придавало ему такой тон, который, наперекор случайному чувству, страсти и мгновению, умел *заставлять прислушиваться к себе.* Она заключалась равным образом в ответственности семей за выбор супругов. Возрастающей снисходительностью к бракам *по любви* устраняется именно основа брака, то, что только и *делает* из него институт. Институт никогда не основывают на идиосинкразии, брак, как сказано, *не* основывают на «любви», – его основывают на половом инстинкте, на инстинкте собственности (жена и ребенок как собственность), на *инстинкте господства,* который постоянно организует себе самую маленькую ячейку господства, семью, которому *нужны* дети и наследники, чтобы удержать также и физиологически достигнутую меру власти, влияния, богатства, чтобы надолго готовить задачи будущему, инстинктивную солидарность столетий друг с другом. Брак как институт уже включает в себя утверждение величайшей, прочнейшей организационной формы: если общество само уже не может *посто-*

ять за себя, как целое, в самых отдаленных будущих поколениях, то брак вообще не имеет смысла. – Современный брак *потерял* свой смысл, – следовательно, его упразднят.

40

Рабочий вопрос. – Глупость, в сущности вырождение инстинкта, являющееся нынче причиной *всех* глупостей, заключается в том, что существует рабочий вопрос. Об известных вещах *не спрашивают:* первый императив инстинкта. – Я совершенно не понимаю, что хотят сделать из европейского рабочего, после того как из него сперва сделали вопрос. Он чувствует себя слишком хорошо, и потому запрашивает все больше и больше, все с большей нескромностью. В конце концов на его стороне огромное большинство. Надежды, что тут складывается в сословие скромная и довольствующаяся собою порода человека, тип китайца, рассеялись без следа: а ведь это было бы разумно, это было бы почти что необходимо. Что же сделали вместо этого? – Все, чтобы уничтожить в зародыше даже предпосылки к этому, – инстинкты, в силу которых рабочий возможен как сословие, возможен *с его собственной точки зрения,* разрушили до основания самой непростительной бездумностью. Рабочего сделали воинственным, ему дали право на союзы, политическое право голоса: что же удивительного, если рабочий ощущает нынче свое существование уже как бедственное (выражаясь морально, как *несправедливость*)? *Но чего* хотят? спрашиваю еще раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств: если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства.

41

«Свобода, которой я *не* разумею...» – В такие времена, как нынешние, оказаться предоставленным своим инстинктам – это только лишняя напасть. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, разрушают друг друга; я уже определил *современность* как физиологическое самопротиворечие.

Разумность воспитания требовала бы, чтобы под железным гнетом была *парализована* по крайней мере одна из этих систем инстинктов, дабы дозволить другой системе набираться сил, сделаться сильной, достигнуть господства. Нынче лишь *урезая* индивидуум, сделаешь его возможным: возможным, т.е. *цельным*... Происходит обратное: притязание на независимость, на свободное развитие, на laisser aller изъявляется с наибольшей горячностью теми, для кого никакая узда *не была бы слишком строгой* – это имеет место in politicis, это относится и к искусству. Но это симптом *décadence*: наше современное понятие «свобода» – еще одно доказательство вырождения инстинкта.

42

Где нужна вера. – Среди моралистов и святых ничто не встречается столь редко, как честность; сами они, может быть, говорят обратное и даже *верят* обратному. Когда вера оказывается полезнее, эффективнее, убедительнее, чем *сознательное* лицемерие, то лицемерие инстинктивно превращается тотчас же в *невинность*: первое правило для понимания великих святых. То же и у философов, у другого вида святых, вся суть их ремесла в том, что они допускают лишь известные истины, – а именно такие, на которые их ремесло имеет *общественную* санкцию, – говоря по-кантовски, истины *практического разума*. Они знают, что они *должны* доказывать, в этом они практичны, – они узнают друг друга по тому, что они сходятся во взглядах на «истины». – «Ты не должен лгать» – по-немецки: *остерегайтесь*, господин философ, говорить правду...

43

На ухо консерваторам. – Чего раньше не знали, и что знают, могли бы знать теперь, – *развитие в обратную сторону*, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совершенно невозможен. По крайней мере мы, физиологи, знаем это. Но все жрецы и моралисты верили в нечто подобное, – они

хотели вернуть, *ввернуть* человечество в *прежнюю* меру добродетели. Мораль всегда была прокрустовым ложем. Даже политики подражали в этом проповедникам добродетели; еще и нынче есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали *пятиться* раком. Но никто не волен быть раком. Ничего не поделаешь: *надо* идти вперед, хочу сказать, *шаг за шагом дальше в décadence* (вот *мое* определение современного «прогресса»)... Можно *притормозить* это развитие и тем самым запрудить самое вырождение, накопить его, сделать более бурным и *внезапным* – больше сделать нельзя ничего.

44

Мое понятие гения. – Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накапливалось, сберегалось и сохранялось, – что подолгу не происходило никаких взрывов. Если напряжение в массах становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу. Какое тогда дело до окружения, эпохи, «духа времени», «общественного мнения»! – Возьмем в пример Наполеона. Франция времен революции, и тем более дореволюционная Франция, породила бы тип, противоположный Наполеону; да она и *породила* его. И как раз поскольку Наполеон был человеком *иного* закала, наследником более сильной, продолжительной, старой цивилизации, чем та, что разлетелась во Франции вдребезги, то он и стал здесь властелином, он один *был* здесь властелином. Великие люди необходимы, время же их появления случайно; и причина того, что они почти всегда делаются господами над ним, кроется только в том, что они сильнее, старше, что история долго накапливала их. Между гением и его временем такое же отношение, как между сильным и слабым, а также как между старым и молодым: причем время в этом соотношении всегда гораздо моложе, слабее, незрелее, неувереннней, ребячливей. – Что нынче на этот счет во Фран-

ции думают *совершенно иначе* (в Германии тоже, но это неважно), что теория среды, – вот уж настоящая теория невротиков, – стала там священной и почти научной, так что в нее начинают верить даже среди физиологов, – от этого «неважно пахнет», это наводит на печальные размышления. – В Англии это тоже понимают подобным образом, но на сей счет никто не станет печалиться. У англичанина есть только два способа разобраться с гением и «великим человеком»: либо *демократически* на манер Бокля, либо *религиозно* на манер Карлейля. – В великих людях и временах заложена чрезвычайная *опасность*; всевозможное истощение, бесплодие следуют за ними по пятам. Великий человек – это конец; великое время, Ренессанс например, – это конец. Гений неизбежно оказывается расточителем – в творчестве, в поступках: его величие в том, *что он расходует себя...* Инстинкт самосохранения словно отброшен; сокрушительный натиск рвущихся наружу сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. Это называют «самопожертвованием»; восхваляют в этом его «героизм», его равнодушие к собственному благу, его преданность идее, великому делу, отечеству – а ведь всё это сплошь недоразумения... Он изливается, он льется через край, он расходует себя, он не щадит себя, – с фатальностью, роковым образом, невольно, как невольно выступает река из своих берегов. Но поскольку таким взрывчатым натурам человечество многим обязано, то за это оно их также и одаряет многим, например: некой *высшей моралью*... Такова людская благодарность: она *неверно истолковывает* своих благодетелей.

45

Преступник и то, что ему сродни. – Тип преступника – это тип сильного человека в неблагоприятных условиях, это сильный человек, которого сделали больным. Ему недостает джунглей, более свободной и опасной природы и формы бытия, в которой всё, являющееся оружием и защитой в инстинкте сильного человека, *существует по праву*. Его *добродетели* преследуются обществом; его живейшие инстинкты, которые он приносит с собою, срастаются тотчас же с угне-

тающими аффектами, с подозрением, страхом, бесчестьем. Но это уже почти *рецепт* физиологического вырождения. Тот, кто принужден делать втайне, с постоянным напряжением, осторожностью, хитростью делать то, что он лучше всего может и больше всего любит, становится анемичным; и так как он постоянно пожинает от своих инстинктов лишь опасность, преследование, роковые последствия, то изменяется и его чувство по отношению к этим инстинктам – он чувствует их фатальными. Таково наше общество, наше прирученное, посредственное, оскопленное общество, что в нем сын природы, пришедший к нам с гор или из морских авантюр, неизбежно вырождается в преступника. Неизбежно или почти неизбежно: ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества, самый знаменитый тому пример – корсиканец Наполеон. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского – единственного, кстати говоря, психолога, у которого я смог кое-чему научиться: он относится к числу самых счастливых случаев моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля. Этот *глубокий* человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных немцев, увидел в сибирских каторжниках, в среде которых он долго жил, (а это были сплошь тяжкие преступники, для которых уже не было возврата в общество) совсем иное, чем сам ожидал, – людей словно выточенных из самого лучшего, твердого и ценного дерева, какое только растет на русской земле. Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что не будут признаны благодетельными, полезными, – чувство чандалы, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим. Мысли и поступки таких натур имеют окраску чего-то подпольного; у них все становится бледнее, чем у тех, кто живет при свете дня. Однако почти все формы существования, ныне почитаемые нами выдающимися, дышали некогда этим наполовину могильным воздухом: человек науки, артист, гений, вольнодумец, актер, купец, первооткрыватель... *Любой* ценный вид человека оставался обесценен, покуда высшим типом считался *жрец*... Придет пора – даю слово, – когда он будет считаться *низшим, нашим* чандалой, самой

лживой, самым непристойной разновидностью человека... Обращаю внимание на то, как даже сейчас, в условиях самого мягкого господства обычаев, какое когда-либо имело место на земле, по крайней мере в Европе, всякая нелюдимая особость, всякая долгая, затянувшаяся *подспудность* существования или же непривычная, непрозрачная его форма приближает к тому типу, который обретает завершенность в преступнике. Все новаторы духа поначалу отмечены бледным, фатальным клеймом чандалы: *не* потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного и находящегося в чести. Почти каждому гению знакомо, как одна из стадий его развития, «существование Катилины», – чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже *есть*, что больше не *становится*... Катилина – форма предсуществования *всякого* Цезаря.

46

Здесь вид свободный вдаль. – Когда философ молчит, это может быть величием души; когда он противоречит себе, это может быть любовью; возможна вежливость познающего, которая лжет. Не без тонкости сказано: il est indigne des grands coeurs de repandre le trouble qu'ils ressentent[1]: нужно только прибавить к этому, что величием души может быть также отсутствие страха *перед самым постыдным*. Женщина, которая любит, жертвует своей честью; познающий, который «любит», жертвует, быть может, своей человечностью; Бог, который любил, стал жидом...

47

Красота – не случайность. – Красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах тоже вырабатываются: они, подобно гению, есть конечный результат накопленной

---

1 недостойно великих сердец – обнаруживать испытываемое ими беспокойство (*фр.*). – *Пер. К. Свасьяна.*

работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу, надо, чтобы ради него многое делали, а также от многого отказывались – семнадцатый век во Франции достоин удивления и в том и в другом, – в нем следует видеть принцип выбора общества, места, одежды, полового удовлетворения; красоту следует предпочитать выгоде, привычке, мнению, косности. Высшее правило: нельзя «распускаться» даже перед самим собою. – Все хорошее чрезвычайно дорого обходится; закон на все времена: *обладающий* и *приобретающий* – совершенно разные существа. Все хорошее есть наследство: что не унаследовано, то несовершенно, всего лишь начинание... В Афинах во времена Цицерона, который и высказывает по этому поводу свое удивление, мужчины и юноши значительно превосходили женщин в красоте: но какой работы и напряжения в служении красоте требовал там от себя мужской пол в течение столетий! – Тут надо именно не промахнуться насчет методики: голая дисциплина чувств и мыслей дает почти что ноль (в этом заключается великое недоразумение немецкого образования, которое представляет из себя одну иллюзию) – сперва надо убедить *тело*. Строгое соблюдение значительных и избранных жестов, обязанность жить лишь с такими людьми, которые не «распускаются», совершенно достаточны для того, чтобы самому стать значительным и избранным: через два-три поколения все это уже *усваивается на ментальном уровне*. Для жребия народа и человечества решающее значение имеет исходная точка их культуры: она должна начинаться *не* с души (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов), а с тела, жестов, диеты, физиологии, – *остальное* вытекает отсюда... Поэтому греки остались *первым культурным событием* в истории – они знали, они *делали* то, что нужно; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастьем человечества.

48

Прогресс в моем смысле. – Я тоже говорю о «возвращении к природе», хотя это собственно не движение вспять, а *восхождение* – вверх, в горнюю, свободную, даже страшную природу

и естественность, в такую, которая играет, *смеет* играть великими задачами... Если говорить *аллегорически:* Наполеон был образцом «возвращения к природе», как я его понимаю (например, in rebus tacticis[1], и еще более, как это известно военным, в стратегии). – Но Руссо – *он*-то, собственно говоря, куда хотел вернуться? Руссо, этот первый современный человек, идеалист и canaille *в одном* лице, которому нужно было нравственное «достоинство», чтобы выносить собственный вид; больной необузданным тщеславием и необузданным презрением к себе. Этот выродок, устроившийся у порога нового времени, тоже хотел «возвращения к природе» – куда, спрашиваю я еще раз, хотел вернуться Руссо? Я ненавижу Руссо еще и *в* революции: она есть всемирно-историческое выражение для этой двойственности идеалиста и canaille. Кровавый фарс, в который вылилась эта революция, ее «имморальность», мало трогают меня: что я ненавижу, так это ее руссоистскую *нравственность* – так называемые «истины» революции, которые все еще не утратили влияния и привлекают к ней все плоское и посредственное. Учение о равенстве!.. Но нет более ядовитого яда, ибо *кажется,* что здесь идет проповедь самой справедливости, тогда как на самом деле это – *конец* справедливости... «Равным равное, неравным неравное» – *вот что* было бы истинной речью справедливости – «и, как отсюда следует, никогда нельзя делать равным неравное». – То, что из этого учения о равенстве вылилось столько ужасов и крови, придало названной «современной идее» par excellence нечто вроде огненного блеска и ореола, отчего революция и совратила, как *зрелище,* даже благороднейшие умы. Но это, в конце концов, не основание продолжать чтить ее. – Я вижу лишь одного, кто относился к ней так, как она этого заслуживала, с *отвращением,* – Гёте...

49

Гёте – явление не немецкое, а европейское: грандиозная попытка победить восемнадцатый век возвращением к при-

---

1 в вопросах тактики (*лат.*).

роде, *восхождением* к естественности Ренессанса, нечто вроде самопреодоления этого века. – Он носил в себе его сильнейшие инстинкты: чувствительность, поклонение природе, антиисторический, идеалистический, нереалистический, революционный инстинкты (последний есть лишь некая форма нереального). Он брал себе в помощь историю, естествознание, древность, а равным образом и Спинозу, и прежде всего – практическую деятельность; он обставил себя сплошь замкнутыми горизонтами; он не отстранялся от жизни, а вовлекался в нее; он не был робким и брал, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это *цельности;* он боролся с рознью разума, чувственности, чувства, воли (рознью, которую в ужасающей схоластике проповедовал *Кант*, антипод Гёте), он дисциплинировал себя в нечто цельное, он *создал* себя... Среди нереалистично настроенного столетия Гёте был убежденным реалистом: он говорил Да всему, что было ему родственно вокруг, – в его жизни не было более великого события, нежели то ens realissimum, которое называлось Наполеоном. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего себя в узде, глубоко уважающего самого себя человека, который может отважиться на всю полноту и богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, обладающего терпимостью не вследствие слабости, а вследствие силы, потому что он умеет использовать к своей выгоде даже то, от чего погибла бы посредственная натура; человека, для которого больше нет ничего запретного, разве что *слабость*, все равно, называется она пороком или добродетелью... Такой *освободившийся* дух пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, *веря*, что негодным может быть лишь единичное, в целом же все искупается и утверждается, – *он больше не отрицает*... Но такая вера – высшая из всех возможных: я окрестил ее именем *Диониса.*

50

Можно сказать, что в известном смысле девятнадцатое столетие *также* стремилось ко всему тому, к чему стремился

Гёте как личность: к универсальности в понимании, в одобрении, к допусканию-к-себе-чего-угодно, к неустрашимому реализму, к благоговению перед всем фактическим. Отчего же общим результатом этого является не какой-нибудь Гёте, а хаос, нигилистические стенания, неведение-где-вход-где-выход, инстинкт усталости, который in praxi постоянно побуждает *вернуться к восемнадцатому веку* (например, как романтизму чувств, к альтруизму и гиперсентиментальности, к феминизму во вкусах, к социализму в политике)? Не есть ли девятнадцатое столетие, особенно на своем исходе, лишь усиленный, *загрубевший* восемнадцатый век, т.е. век décadence? Так что, Гёте не только для Германии, но и для всей Европы оказывается просто случайностью, прекрасным «напрасно»? – Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, *возможно, есть даже признак их величия...*

51

Гёте – последний немец, к которому я отношусь с почтением: он, по-видимому, чувствовал три вещи, которые чувствую я, – мы сходимся также и насчет «креста»... Меня нередко спрашивают, для чего я, собственно, пишу *по-немецки:* нигде не читают меня хуже, чем в отечестве. Но кто знает в конце концов, да *желаю* ли я вообще, чтобы меня читали в наши дни? – Создавать вещи, на которых время будет понапрасну пробовать свои зубы; в форме, *в субстанции* домогаться маленького бессмертия – я никогда не был достаточно скромен, чтобы требовать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, для чего любому другому понадобилась бы целая книга, – и чего он и в целой книге *не* сказал бы...

Я дал человечеству самую глубокую книгу, какою оно обладает, моего *Заратустру:* в скором времени я дам ему самую независимую.

Чем я обязан древним

1

В заключение несколько слов о том мире, подходы к которому я искал и к которому я, быть может, нашел новый подход, – о мире античности. Мой вкус, являющий собой, должно быть, противоположность снисходительного вкуса, и здесь далек от того, чтобы всему без разбора говорить Да: он вообще неохотно говорит Да, охотнее Нет, а больше всего предпочитает ничего не говорить... Это относится к целым культурам, это относится к книгам, – это относится также к местностям и ландшафтам. В сущности, совсем небольшое число античных книг участвовало в моей жизни, причем знаменитейших нет в их числе. Мое чувство стиля, эпиграммы как стиля, пробудилось почти моментально при соприкосновении с Саллюстием. Не могу забыть изумления моего уважаемого учителя Корссена, когда он вынужден был поставить высшую отметку своему худшему латинисту, – я разом разделался с этой задачей. Сжатый, строгий, предельно насыщенный субстанцией, с холодной язвительностью к «красивому слову», а также к «красивому чувству» – в этом я открыл себя. Всюду вплоть до моего Заратустры у меня опознают очень серьезное притязание на *римский* стиль, на «aere perennius» в стиле. – Не иначе было со мною и при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не дарил мне такого артистического восхищения, в какое меня с самого начала приводила ода Горация. В некоторых языках нельзя даже *пожелать* того, что здесь достигнуто. Эта мозаика слов, где каждое слово, как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу направо и налево, а также на все целое, этот minimum объема и числа знаков и достигаемый таким путем maximum энергии знаков – все это римское и, верьте мне, *аристократично* par excellence. Вся остальная поэзия является по сравнению с

этим чем-то слишком популярным, – просто болтливостью чувств...

2

Грекам я вовсе не обязан подобными по силе впечатлениями; и, если уж сказать прямо, они не *могут* быть для нас тем, чем являются римляне. У греков нельзя *научиться* – их своеобразие слишком чуждо нам, оно также слишком текуче, чтобы действовать императивно, «классически». Кто бы мог научиться у грека писать! И кто бы мог научиться этому *без* римлян!.. Не приводите мне в пример Платона. Относительно Платона я радикальный скептик и никогда не был в состоянии присоединиться к принятому среди ученых восхищению *артистом* Платоном. В конце концов тут на моей стороне даже утонченнейшие судьи вкуса среди древних. Платон, как мне кажется, беспорядочно смешивает все формы стиля, в этом он *первый* décadent стиля: у него на совести нечто вроде того, что у циников, изобретших satura Menippea. Для того, чтобы платоновский диалог, этот ужасающе самодовольный и ребячливый вид диалектики, мог быть притягателен, надо быть совершенно незнакомым с хорошими французскими авторами, – например, с Фонтенелем. Платон скучен. – Наконец, мое недоверие к Платону идет вглубь: я нахожу его настолько отклонившимся от всех основных инстинктов эллинов, настолько пропитанным моралью, настолько воплощенным предхристианином – у него уже понятие «добрый» является высшим понятием, – что я скорее, чем какое-либо иное слово, применил бы ко всему феномену Платона суровое слово «высшее шарлатанство» или, если это приятнее слышать, идеализм. Дорого пришлось заплатить за то, что этот афинянин обучался у египтян (– или у евреев в Египте?..). В великом роковом событии, именуемом христианством, Платон является той названной «идеалом» двусмысленностью и приманкой, послуживший тому, что благороднейшие натуры античности неверно поняли самих себя и вступили на *мост*, который вел к «кресту»... И сколько Платона еще в понятии «церковь», в строе, системе, практике церкви! – Моим от-

дыхом, моим пристрастием, моим *исцелением* от всякого платонизма всегда был *Фукидид*. Фукидид и, быть может, principe Макиавелли ближе всего родственны мне своей безусловной волей ничем себя не морочить и видеть разум в *реальности* – а *не* в «разуме» и тем более в «морали»… Ничто не излечивает так радикально, как Фукидид, от жалкого размалевывания греков в идеал, которое «классически образованный» юноша уносит с собою в жизнь, как награду за свою гимназическую дрессуру. Надо строка за строкой выворачивать его, чтобы так же отчетливо, как его слова, читать его задние мысли: мало найдется мыслителей, столь богатых задними мыслями. В нем *культура софистов*, я хотел сказать *культура реалистов* – это неоценимое по своей важности движение среди повсюду прорывающегося нравственно-идеалистического шарлатанства сократических школ, – получает свое законченное выражение. Греческая философия как décadence греческого инстинкта; Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего эллина. Такие натуры, как Фукидид и Платон, различаются в конечном счете своим *мужеством* перед реальностью: Платон – трус перед реальностью, *следовательно*, он ищет убежища в идеале; Фукидид владеет *собою*, следовательно, он сохраняет также и власть над вещами…

3

Выискивать в греках «прекрасные души», «золотые середины» и другие совершенства, удивляться в них, например, спокойному величию, идеальному образу мыслей, высокой простоте – от этой «высокой простоты», этой в конечном счете niaiserie allemande[1] меня предостерег психолог, которого я ношу в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта, – я видел, что все их институты вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего *взрывчатого вещества*. Чудо-

1 немецкой глупости (*фр.*).

вищное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде: городские общины растерзывали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка, – она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный эллину, был *нуждою*, а не «природой». Он был лишь следствием, он не существовал с самого сначала. Да и с помощью празднеств и искусств они не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя *на высоте* положения, *демонстрировать* свое превосходство: таково средство прославлять самих себя, а порою и внушать страх к себе... Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться простодушием сократических школ для объяснения того, *что* такое в сущности эллинское!.. Ведь философы – décadents эллинства, восстание против старого, аристократического вкуса (против агонального инстинкта, против полиса, против ценности расы, против авторитета традиции). Проповедь сократовских добродетелей взялась *оттого, что* они пропали у греков: возбудимые, робкие, непостоянные, комедианты все до одного, они имели немало причин позволить проповедовать себе мораль. Не то, чтобы это чему-нибудь помогло, – но высокие слова и величественные позы так к лицу décadents...

4

Я был первым, кто, для уразумения более древнего, еще богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта, отнесся всерьез к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса: он объясним единственно *избытком* силы. Кто изучает греков так, как тот глубочайший знаток их культуры из живущих ныне – Якоб Буркхардт в Базеле, – тот тотчас же поймет, что этим кое-что сделано: Буркхардт включил в свою «Культуру греков» специальный фрагмент о названном феномене. Если угодно иметь обратный пример, то взгляните на почти смехотворную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются к дионисическому. Особенно это касается знаменитого Лобека,

который с почтенной уверенностью иссохшего среди книг червяка заполз в этот мир таинственных состояний и убедил себя, что он научен в том, в чем на самом деле до отвращения легкомыслен и ребячлив, – Лобек со всею ученостью дал понять, что в сущности все эти курьезы ровно ничего не значат. Жрецы действительно могли сообщать участникам таких оргий кое-что не лишенное интереса, например, что вино возбуждает веселье, что человек порой живет, питаясь плодами, что растения весною цветут, а осенью увядают. Что касается того удивительного богатства обрядов, символов и мифов оргиастического происхождения, которыми буквально зарос античный мир, то Лобек пользуется им, чтобы еще больше повысить градус своего остроумия… «Греки, – говорит он, Aglaophamus I 672, – если им больше нечего было делать, смеялись, прыгали, бесновались, или, так как у человека порой является охота и к этому, садились на землю и плакали и вопили. *Другие* присоединялись к ним позже и искали хоть какой-нибудь причины столь странного явления; так возникли для объяснения этих обычаев бесчисленные мифы и толкования празднеств. С другой стороны думали, что те *забавы*, которые уже имели место в дни празднеств, являются необходимой частью праздничных торжеств, и предавались им как обязательной части богослужения». – Это презренная болтовня, этого Лобека ни на мгновение нельзя принимать всерьез. Совершенно иное впечатление получим мы, если исследуем понятие «греческого», которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдем его несовместимым с той стихией, из которой вырастает дионисическое искусство, – с оргиазмом. Я на самом деле не сомневаюсь в том, что Гёте в принципе исключал нечто подобное из возможностей греческой души. *Следовательно, Гёте не понимал греков*. Ибо лишь в дионисических Мистериях, в психологии дионисического состояния выражает себя *основной факт* эллинского инстинкта – его «воля к жизни». *Что* обеспечивал себе эллин этими мистериями? *Вечную* жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в прошедшем; торжествующее Да, сказанное жизни наперекор смерти и изменению; *истинную* жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому сам символ *половой жиз-*

ни был почитаем греками, был подлинно глубоким смыслом среди всего античного благочестия. Всё, что присутствует в акте соития, беременности, родов, возбуждало высшие и торжественные чувства. В учении Мистерий освящено *«страдание»*: муки роженицы» освящают страдание вообще, – всякое становление и рост, всё, что служит залогом будущего, *обусловливает* страдание... Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала саму себя, для этого *должны* также существовать «муки роженицы»... Все это означает слово «Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта *греческая* символика, символика дионисий. В ней религиозный смысл придается глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни, – самый путь к жизни, соитие, понимается как *священный путь*... Только христианство, с лежащим в его основе ресентиментом *по отношению* к жизни, сделало из половой жизни нечто нечистое: оно забросало *дерьмом* начало, предпосылку нашей жизни...

5

Психология оргиазма, как бьющего через край чувства жизни и силы, внутри которого даже страдание действует как стимул, дала мне ключ к понятию *трагического* чувства, неверно понятого как Аристотелем, так и в особенности нашими пессимистами. Трагедия так далека от того, чтобы доказывать что-либо в пользу пессимизма эллинов в шопенгауэровском смысле, что скорее ее следует считать решительным опровержением этого пессимизма и *противоположной ему инстанцией*. Говорить жизни «да» даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая, когда она приносит в *жертву* собственной неисчерпаемости свои высшие типажи, – *вот* что назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии *трагического* поэта. *Не* для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурной его разрядкой – так понимал это Аристотель, – но для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *самому быть* вечной радостью становления, – той радостью, которая заключает

в себе также и *радость уничтожения*... И тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел, – «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей: тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое «хочу», мое *«могу»*, – я, последний ученик философа Диониса, – я, учитель вечного возвращения...

Молот говорит

Так говорил Заратустра. 3, 90.

Почему ты так тверд! – сказал однажды древесный уголь алмазу. – Разве мы не близкие родственники?

Почему вы так мягки? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы – не мои братья?

Почему же вы так мягки, так уступчивы, податливы? Почему так много отрицания, отречения в вашем сердце? Так мало рокового в вашем взоре?

А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, – как можете вы вместе со мною – побеждать?

А если ваша твердость не хочет сверкать, и резать, и рассекать, – как можете вы когда-нибудь вместе со мною – созидать?

Ибо созидающие тверды. И блаженством должно казаться вам запечатлеть вашу руку на тысячелетиях, как на воске, –

– блаженством писать на воле тысячелетий, как на меди, – тверже, чем медь, благороднее, чем медь. Совершенно твердым бывает только самое благородное.

Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: станьте тверды! – –

Антихрист[1]

Проклятие христианству

---

1 Перевод А.В. Михайлова озаглавлен «Антихристианин». Основание для такого заголовка дает одно из значений немецкого «Der Antichrist». Второе, причем основное, значение – «Антихрист», именно так переводилось название этой книги во всех изданиях до появления перевода Михайлова. Стоящий перед словом Antichrist определенный артикль только усиливает конкретность подразумеваемого лица (то есть если даже речь идет об «антихристианине», то об антихристианине определенном – по сути, опять же «антихристе»). Это, как и множество других соображений (подробнее см. в Послесловии редактора), убеждает нас в том, что название «Антихрист» корректнее и точнее – в первую очередь, по отношению к замыслу самого Ницше. Однако поскольку перевод, сделанный покойным А.В. Михайловым, переименован быть не может, а с другой стороны (следуя редакции Колли и Монтинари), в состав произведения включается «Закон против христианства», мы публикуем весь труд как состоящее из книги «Антихристианин» и «Закона против христианства» двусоставное произведение под общим заглавием «Антихрист».

Антихристианин

Проклятие христианству

(перевод А.В.Михайлова)

Предисловие

Это книга для совсем немногих. Возможно, ни одного из них еще вовсе нет на свете. Быть может, они – те, что понимают моего Заратустру; так как же смешивать мне себя с теми, кого и сегодня уже слышат уши?.. Мой день – послезавтрашний; некоторые люди рождаются на свет «посмертно».

Условия, при которых меня можно понимать, – а тогда уж понимать с *неизбежностью,* – мне они известны досконально, доподлинно. Необходима в делах духа честность и неподкупность, и необходимо закалиться в них, – иначе не выдержишь суровый накал моей страсти. Нужно свыкнуться с жизнью на вершинах гор, – чтобы *глубоко под* тобой разносилась жалкая болтовня о политике, об эгоизме народов. Нужно сделаться равнодушным и не задаваться вопросом о том, есть ли польза от истины, не окажется ли она роковой для тебя... Нужно, как то свойственно сильному, отдавать предпочтение вопросам, которые в наши дни никто не осмеливается ставить; необходимо мужество, чтобы вступать в область *запретного;* необходима предопределенность – к тому, чтобы существовать в лабиринте. И семикратный опыт одиночества. И новые уши для новой музыки. И новые глаза – способные разглядеть наиотдаленнейшее. Новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде немотствовавшие. И готовность вести свое дело в монументальном стиле – держать в узде энергию *вдохновения...* Почитать себя самого; любить себя самого; быть безусловно свободным в отношении себя самого.

Вот кто мои читатели, читатели настоящие, читатели согласно предопределению; что проку от *остальных?..* Остальные – всего лишь человечество... Нужно превзойти человечество силой, *высотой* души – превзойти его презрением...

Фридрих Ницше

1.

– Взглянем в лицо самим себе. Мы гиперборейцы – мы хорошо знаем, как далеко в стороне живем. «Ни по земле, ни по воде не найдешь ты пути к гиперборейцам», – это еще Пиндару было известно о нас. По ту сторону Севера, льда, смерти – там живем, там наше счастье... Мы открыли счастье, мы ведаем путь, мы вышли из лабиринта тысячелетий. Кто *еще-то* его нашел? – Уж не «современный» ли человек?.. «Я в безысходности, я – это Все, что пребывает в полнейшей безысходности», – вздыхает современный человек... *Такой* «современностью» мы переболели – худым миром, трусливыми компромиссами, добродетельной нечистотой современных утверждений и отрицаний, Да и Нет. Терпимость, largeur[1] сердца – все «понимать», все «прощать» – это для нас сирокко. Лучше жить во льдах, чем среди современных добродетелей и прочих южных ветров!.. Мы были весьма мужественны, не щадили ни себя, ни других – но мы долго не знали, *куда* податься с нашим мужеством. Нами овладела мрачность, нас стали называть фаталистами. *Наш* фатум – он был полнотою сил, их напряжением, их напором. Мы жаждали молний и подвигов, куда как далеко от нас было счастье немощных – «покорность»... В воздухе запахло грозой, природа, – а это мы сами, – покрылась тьмою – *ибо не было у нас пути.* Формула нашего счастья: Да, Нет, прямая линия, *цель*...

2.

Что хорошо? – Все, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество.

Что дурно? – Все, что идет от слабости.

Что счастье? – Чувство *возрастающей* силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие.

---

1 широта, великодушие (*фр.*).

Не удовлетворяться, нет, – больше силы, больше власти! *Не* мир – война; *не* добродетель, а доблесть (добродетель в стиле Ренессанса, virtù, – без примеси моралина).

Пусть гибнут слабые и уродливые – первая заповедь *нашего* человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть.

Что вреднее любого порока? – Сострадать слабым и калекам – христианство...

3.

Проблема, что я ставлю, не в том, кто сменит человека в ряду живых существ (человек – конец), а в том, какой тип человека надлежит *взращивать*, какой наиболее высокоценен, более других достоин жизни, какому принадлежит будущее.

Такой высокоценный тип в прошлом нередко существовал на земле – но как счастливый, исключительный случай и никогда – согласно *воле*. Напротив, *его* более всего боялись, он, скорее, внушал ужас, и этот страх заставлял желать, взращивать и выводить обратное ему – домашнее, стадное животное, больное человеческое животное – христианина...

4.

Человечество *не* развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного – в том смысле, как думают сегодня. «Прогресс» – это просто современная, то есть ложная, идея. Европеец наших дней по своей ценности несравненно ниже европейца Ренессанса; поступательное развитие отнюдь *не* влечет за собой непременно возрастания, возвышения, умножения сил.

В ином отношении отдельные удачные феномены беспрестанно появляются – в разных частях света и на почве самых различных культур; в них действительно воплощен *высший тип* человека – своего рода сверхчеловек в пропорции к человечеству в целом. Такие счастливые случаи были возможны и, вероятно, будут возможны всегда. Даже целые

поколения, племена, народы могут быть при известных обстоятельствах таким *точным попаданием.*

5.

Нечего приукрашивать христианство – оно вело борьбу *не на жизнь, а на смерть с высшим* типом человека, оно предало анафеме все основные его инстинкты и извлекло из них зло – *лукавого* в чистом виде: сильный человек – типичный отверженец, «порочный» человек. Христианство принимало сторону всего слабого, низкого, уродливого; свой идеал оно составило *по противоположности* инстинктам сохранения жизни, жизни в силе; христианство погубило разум даже самых сильных духом натур, научив чувствовать заблуждение, *искушение,* греховность в самых высших ценностях духовного. Самый прискорбный случай – Паскаль, испорченный верой в то, что разум его испорчен первородным грехом, тогда как испорчен он был лишь христианством!..

6.

Предо мною ужасное, тягостное зрелище: я откинул занавес, скрывавший человеческую *порчу.* Слово это, когда произношу его я, не заподозрят хотя бы в одном – в том, что оно содержит моральное обвинение человечества. Еще раз подчеркну: в моих словах *нет моралина,* до такой степени нет, что порчу сильнее всего чувствую я там, где до сих пор сознательнее всего чают «добродетельного» и «богоугодного». Порча – вы уже догадываетесь – это для меня décadence. Мое утверждение состоит в том, что ценности, в какие современное человечество вкладывает максимум желательного для себя, – это *ценности décadence'a.*

Животное, целый животный вид, отдельная особь в моих глазах испорчены, если утратили свои инстинкты, если вредное для себя *предпочитают* полезному. История «высших чувств», «идеалов человечества», – возможно, мне придется рассказать ее, – вероятно, почти все объяснила бы в том, *почему* человек так испорчен.

Жизнь для меня тождественна инстинкту роста, *власти*, накопления сил, упрямого существования; если *отсутствует* воля к власти, существо деградирует. Утверждаю, что воля к власти *отсутствует* во всех высших ценностях человечества, – узурпировав самые святые имена, господствуют ценности гибельной деградации, ценности *нигилистические*.

7.

Христианство называют религией *сострадания*. – Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного чувства, – оно воздействует угнетающе. Сострадая, слабеешь. Сострадание во много крат увеличивает потери в силе, страдания и без того дорого обходятся. Сострадание разносит заразу страдания – при известных обстоятельствах состраданием может достигаться такая совокупная потеря жизни, жизненной энергии, что она становится абсурдно диспропорциональной кванту причины (пример: смерть назарянина). Вот одно соображение, а есть и другое, более важное. Если предположить, что сострадание измеряется ценностью вызываемых им реакций, то жизнеопасный характер его выступает с еще большей ясностью. В целом сострадание парализует закон развития – закон *селекции*. Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели, оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею, а множество всевозможных уродств, в каких *длит* оно жизнь, придает мрачную двусмысленность самой жизни. Люди отважились назвать сострадание добродетелью (для любой *благородной* морали сострадание – слабость), однако пошли и дальше, превратив сострадание в главную добродетель, в почву и источник всех иных, – правда, нельзя забывать, что так это выглядит с позиции нигилистической философии, начертавшей на своем щите *отрицание жизни*. Шопенгауэр был по-своему прав: сострадание отрицает жизнь, делает ее *достойной отрицания*, сострадание – это *практический* нигилизм. Скажу еще раз: этот депрессивный, заразный инстинкт парализует инстинкты, направленные на сохранение жизни, на повышение ее ценности, – он *бережет* и *множит* всяческое убожество, а потому высту-

пает как главное орудие, ускоряющее décadence. Сострадание – это проповедь *Ничто*!.. Но только не говорят – «Ничто», а вместо этого говорят – «мир иной», «бог», «*подлинная* жизнь», или нирвана, искупление, блаженство... Эта невинная риторика из сферы религиозно-моральной идиосинкразии выглядит *далеко не столь невинной*, когда начинаешь понимать, *какая* тенденция маскируется возвышенными словами – *враждебность жизни*. Шопенгауэр был врагом жизни, а *потому* сострадание сделалось для него добродетелью... Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное, опасное состояние, когда время от времени полезно прибегать к слабительному: трагедию он понимал как такое слабительное. Ради инстинкта жизни следовало бы на деле искать средство нанести удар по такому опасному, болезнетворному скоплению сострадания, как в случае Шопенгауэра (и, к сожалению, всего нашего литературно-художественного décadence'а от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера), – нанести удар, чтоб оно *лопнуло*... Нет ничего менее здорового во всей нашей нездоровой современности, чем христианское сострадание. *Тут-то* послужить врачом, неуступчивым, со скальпелем в руках, – *наша* обязанность, *наш* способ любить людей, благодаря этому *мы*, гиперборейцы, становимся философами!..

8.

Необходимо сказать, *кого* мы считаем своей противоположностью, – богословов и всех, в ком течет богословская кровь, – всю нашу философию... Надо вблизи увидеть эту фатальность, а лучше пережить ее самому и разве что не погибнуть от нее, чтобы уж вовсе не понимать тут шуток (вольнодумство господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах только *шутка*, им в этих материях недостает страсти, им недостает *страдания*). Зараза распространилась дальше, чем думают: богословский инстинкт «высокомерия» я обнаруживал везде, где люди в наши дни ощущают себя «идеалистами» и в силу высшего своего происхождения присваивают себе право глядеть на действительность неприязненно и свысока. Идеалист что жрец, все высокие понятия

у него на руках (да и не только на руках!), он с благожелательным презрением кроет ими и «рассудок», и «чувства», и «почести», и «благополучие», и «науку»: все это *ниже* его, все это вред и соблазн, над которыми в неприступном для-себя-бытии парит «дух»... Как если бы смирение, целомудренность, бедность, одним словом, *святость* не причинили жизни вреда куда большего, чем самые ужасные извращения и пороки... Чистый дух – чистая ложь... Пока признается существом *высшего* порядка жрец, этот клеветник, отрицатель и отравитель жизни *по долгу службы*, не будет ответа на вопрос: что *есть* истина? Если «истину» защищает адвокат отрицания и небытия, она уже вывернута наизнанку...

9.

Объявляю войну инстинкту теолога: след его обнаруживаю повсюду. У кого в жилах течет богословская кровь, тот ни на что не способен смотреть прямо и честно. На такой почве развивается пафос, именуемый *верой:* раз и навсегда зажмурил глаза, и уже не смущаешься своей неизлечимой лживостью. Из дефектов зрения выводят мораль, добродетель, святость; чистую совесть ставят в зависимость от *ложного* видения, требуют, чтобы никакой *иной* способ видения не признавался, – свой же собственный назвали «искуплением», «вечностью», «богом» и объявили священным. Но я везде докапывался до богословского инстинкта – до этой самой распространенной, по-настоящему «подпольной» формы лживости, какая только есть на свете. Если для богослова что-то истинно, *значит,* это ложь – вот вам, пожалуйста, критерий истины. Самый глубокий инстинкт самосохранения воспрещает богослову чтить или хотя бы учитывать реальность – и в самом малом. Куда только простирается его влияние, всюду извращены *ценностные суждения,* а понятия «истинного» и «ложного» непременно вывернуты наизнанку: самое вредное для жизни называется «истинным», то же, что приподнимает, возвышает, утверждает, оправдывает жизнь, что ведет к ее торжеству, считается «ложным»... Если, случается, богословы протягивают руку к *власти,* воздействуя на «совесть» государей (*или* народов),

мы можем не сомневаться в том, что, собственно, происходит: рвется к власти воля к концу, *нигилизм* воли...

10.

Немцы сразу поймут меня, если я скажу: философия испорчена богословской кровью. Протестантский пастор – прадед немецкой философии, сам протестантизм – ее peccatum originale[1]. Вот определение протестантизма – это односторонний паралич христианства – *и* разума... Достаточно сказать – «Тюбингенский Штифт», чтобы понять, *что* такое немецкая философия по своей сути – *коварная, скрытная* теология... Никто в Германии не лжет лучше швабов – те лгут с невинностью... Откуда это ликование, охватившее ученый мир Германии (на три четверти состоящий из пасторских и учительских сынков), когда выступил *Кант*? Откуда эта убежденность немцев, еще и теперь находящая отклик, будто с Канта начался поворот к *лучшему*? Богословский инстинкт немецкого ученого угадал, *что* отныне вновь возможно... Вновь открылась потайная тропа, ведущая к прежнему идеалу, вновь объявились понятие «истинного мира», понятие морали как самой *сути* мира (два самых злокачественных заблуждения, какие только есть!): благодаря лукаво-хитроумному скептицизму они если и не доказуемы, то уже и не *опровержимы*... Разум, *права* разума так далеко не простираются... Реальность обратили в «кажимость»; от начала до конца *ложный* мир сущего провозгласили реальностью... Успех Канта – успех богослова, и только: подобно Лютеру, подобно Лейбницу, Кант стал новым тормозом на пути немецкой порядочности с ее и без того не слишком твердой поступью...

11.

Еще слово против Канта-*моралиста*. Добродетель – это либо *наша* выдумка, глубоко личная *наша* потребность и ору-

---

1 первородный грех *(лат.)*.

дие самозащиты, либо большая опасность. Все, что не обусловливается нашей жизнью, *вредит* ей: вредна добродетель, основанная на почитании понятия «добродетель», как того хотел Кант. «Добродетель», «долг», «благое в себе», благое безличное и общезначимое – все химеры, в которых находит выражение деградация, крайняя степень жизненной дистрофии, кенигсбергский китаизм. Глубочайшие законы сохранения и роста настоятельно требуют обратного – чтобы каждый сочинял *себе* добродетель, выдумывал *свой* категорический императив. Когда народ смешивает *свой* долг с долгом вообще, он погибает. Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции. – И почему только категорический императив Канта не воспринимали как *жизнеопасный*!.. Только богословский инстинкт и взял его под защиту!.. Когда к действию побуждает инстинкт жизни, удовольствие служит доказательством того, что действие было *правильным*, а для нигилиста с христианской догмой в потрохах удовольствие служило аргументом *против*... Ничто так быстро не разрушает, как работа, мысль, чувство без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без *удовольствия*, как автоматическое исполнение «долга»! Прямой *рецепт* décadence'а, даже идиотизма... Кант сделался идиотом... И это современник Гёте! Роковой паук считался – нет, все еще считается *немецким* философом!.. Умолчу о том, что думаю о немцах... Не Кант ли видел во французской революции переход от неорганической формы государства к *органической*? Не он ли задавался таким вопросом: бывают ли события, объяснимые лишь моральными задатками человечества, так что тем самым было бы *доказано* «тяготение человечества к благу»? Ответ Канта: такое событие – революция. Ошибочный инстинкт во всем, противоестественность инстинктов, немецкий décadence в философском обличье – *вот вам Кант*!

12.

Вычту двух-трех скептиков – в истории философии это приличный тип; остальные не знакомы и с самыми элементар-

ными требованиями интеллектуальной благопристойности. Они как самки – все эти великие мечтатели и диковинные звери; у всех «прекрасные чувства» сходят за аргументы, вздымающаяся грудь – за меха, раздуваемые божеством, убеждение – за *критерий* истины. Напоследок Кант попытался – «по-немецки» невинно – придать наукообразный вид этой форме порчи, этому отсутствию интеллектуальной совести, он изобрел понятие «практического разума» – особого разума, когда уже не надо беспокоиться о разумности, коль скоро заявляет свои права мораль, коль скоро громогласно раздается требование: «Ты обязан!..» Если мы примем во внимание, что почти у всех народов философ наследует и развивает тип жреца, то нас уже не удивит эта привычка *чеканить фальшивую монету*, обманывая самого себя. Коль скоро на тебя возложены священные обязанности – как-то: совершенствовать, спасать, искуплять людей, коль скоро ты носишь божество в своей груди и выступаешь рупором потусторонних императивов, то ты со своей миссией недосягаем для чисто рассудочных оценок, тебя освящает обязанность, ты сам тип высшего порядка!.. Что жрецу *знание*! Он слишком высок для наук! – А ведь до сей поры *царил* жрец!.. Он *определял*, что «истинно», что «неистинно»!..

13.

Не станем недооценивать следующего: *мы сами*, мы, вольные умы, – мы *воплощенное* объявление войны всем прежним понятиям «истинного» и «ложного»; в нас самих – «переоценка всех ценностей». К самым ценным выводам приходят дольше всего, а здесь у нас самые ценные выводы – *методы*. *Все* методы, *все* предпосылки нашей сегодняшней научной мысли тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение: ученый не допускался в общество «приличных» людей – считался «врагом бога», презирающим истину, считался «одержимым». Человек, занятый наукой, – чандала... Весь пафос человечества, все понятия о том, чем *должна* быть истина, чем *должно* быть служение истине, – все было против нас; произнося «ты обязан!..», всегда обращали эти слова *против* нас... Наши объекты, наши приемы, наш нешум-

ный, недоверчивый подход к вещам – все казалось совершенно недостойным, презренным. – В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не *эстетический* ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была *картинной;* от человека познания вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Наша *скромность* шла вразрез со вкусом... Ах, как хорошо они это почуяли, индюки господни – –

14.

Мы переучили все. Во всем стали скромнее. Мы уже не выводим человека из «духа», из «божества», мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное – потому что самое хитрое; его духовность – следствие. С другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которое и тут готово громко заявить о себе, словно человек – это великая задняя мысль всей животной эволюции. Никакой он не венец творения – любое существо стоит на той самой ступени совершенства, что и он... И того много: в сравнении с другими человек получился хуже – самое больное среди животных, он опасно отклонился от своих инстинктов жизни... Но, впрочем, он и *наиболее интересен*!.. Что касается животных, то сначала Декарт (весьма достойная дерзость!) осмелился помыслить животное как machina; вся наша физиология стремится доказать этот тезис. И мы вполне логично не ставим человека в сторонку (как еще Декарт), – все, что вообще понятно до сих пор в человеке, не заходит дальше понимания «машинообразного» в нем. Прежде человека наделяли «свободой воли» – даром высших сфер; теперь мы отняли у него и волю – в смысле особой способности. Прежнее слово «воля» служит теперь лишь для обозначения результирующей – чего-то вроде неизбежной индивидуальной реакции на множество отчасти противоречащих друг другу, отчасти гармонирующих друг с другом раздражений. «Воля» теперь не «созидает», не «движет»... Раньше в сознании, в «духе» человека видели доказательство высшего, божественного происхождения человека; что-

бы *усовершенствовать* его, ему, словно черепахе, советовали вобрать в себя все чувства, прервать общение с земным миром и сбросить смертные покровы: тогда, мол, и останется самое главное – «чистый дух». И здесь мы тоже нашли коечто получше: в осознании, в «духе» для нас симптом относительного несовершенства организма, пробы и ошибки, попытки достичь чего-то вслепую и на ощупь и прежде всего труды, поглощающие слишком много нервной энергии, – мы отрицаем то, что совершенство возможно, пока нечто осознается. «Чистый дух» – чистая глупость: если вычесть нервную систему, чувства, наконец, «смертную оболочку», мы просчитаемся – *просчитаемся,* да и только!..

15.

Ни мораль, ни религия христианства ни в одной точке не соприкасаются с действительностью. Сплошь воображаемые *причины:* «бог», «душа», «Я», «дух», «свобода воли» – а то и «несвобода». Сплошь воображаемые *следствия:* «грех», «искупление», «благодать», «кара», «прощение грехов». Общение между воображаемыми *существами* – «богом», «духами», «душами». Воображаемое *естествознание* – антропоцентрическое, с полным отсутствием понятия о естественных причинах. Воображаемая *психология* – сплошное непонимание самого себя, недоразумения, истолкование приятного или неприятного самочувствия, например, состояний симпатического нерва, на языке знаков религиозно-моральной идиосинкразии – «раскаяние», «угрызения совести», «дьявольское искушение», «близость бога». Воображаемая *телеология:* «царство божие», «Страшный суд», «вечная жизнь». – Этот законченный *мир фикций* отличается в худшую сторону от мира сновидений: сновидение *отражает* действительность, а фикция ее фальсифицирует – обесценивает, отрицает. Когда придумали понятие «природы» – противостоящей богу, «природное», «естественное» стало означать падшее и порочное, – весь воображаемый мир христианства коренится в *ненависти* к природе (действительности), он выражает глубочайшую неудовлетворенность реальным... *И этим все объясняется.* У кого есть причины облыжно само-

устраняться из действительности? У того, кто от нее *страдает*. Но страдает от действительности – действительность *несчастная*, потерпевшая крах... Преобладание чувств неудовольствия над чувствами удовольствия – *причина* воображаемой морали и религии; однако такое преобладание – *формула* décadence'а...

16.

К тому же выводу принуждает нас критика *христианского понятия бога*. – Пока народ верует в себя, у него – свой бог. В своем боге народ чтит условия, благодаря которым он на высоте, в нем он чтит свои доблести, – удовольствие от себя самого, чувство силы он переносит на существо, которое можно благодарить за это. Щедрость богача: гордому народу бог нужен, чтобы *приносить* ему *жертвы*... В таких условиях религия – форма благодарения. Народ благодарен самому себе: ему нужен бог, чтобы благодарить. – Ему надо, чтобы бог мог и быть полезным, и приносить вред, ему нужен бог-враг, бог-друг, которым можно восхищаться во всем – в добром и в дурном. Пока все так, вне пределов желаемого остается исключительно благой бог, пока все так, *противоестественно* кастрировать бога. Злой бог нужен не менее доброго – ведь и своим собственным существованием ты обязан отнюдь не терпимости и филантропии... Какой прок от бога, которому неведомы гнев, зависть, хитрость, насмешка, мстительность и насилие? Который не ведал бы даже восхитительных ardeurs[1] победы и изничтожения? Такого бога народ не понял бы: для какой он надобности? – Однако правда: когда народ гибнет, когда он чувствует, что его вера в будущее иссякает, надежда обрести свободу окончательно гаснет, когда покорность представляется ему полезным делом, а добродетель побежденного – первым условием сохранения жизни, тогда *обязан* перемениться и бог. Бог стал тихоней, себе на уме, стеснительным, пугливым, он отныне проповедует «мир души», не велит никого ненавидеть, советует бережно обращаться со всеми и «лю-

---

1 горение, пыл (*фр.*). – *Прим. пер.*

бить» все одно что друга, что врага. Такой бог беспрерывно резонерствует, забивается в пещеры личной добродетели, он становится богом каждого, становится частным лицом, становится космополитом... Когда-то он представлял собою народ, силу народа, все агрессивное, все жаждущее власти в душе народа... А теперь он просто добрый боженька... На деле нет для богов иной альтернативы – *либо* ты воплощаешь волю к власти и остаешься божеством племени, народа, *либо* ты воплощаешь бессилие к власти, а тогда ты непременно хорош, *благ*...

17.

В какой бы форме ни деградировала воля к власти, всякий раз совершается и физиологический регресс, décadence. Божество décadence'a, у которого кастрированы мужеские доблести и влечения, – это божество непременно станет теперь богом физиологически деградировавших, слабых людей. Они-то не называют себя слабыми, а называют «добрыми», «благими»... Понятно и не требует подсказок, когда, в какой момент истории впервые появляется возможность дуалистической фикции – доброго и злого бога. Один и тот же инстинкт заставляет побежденных низводить своего бога до «благого в себе» и отнимать у бога победителей все его добрые качества. Мстят господам – обращают их бога в *черта*. – И *добрый* боженька, и дьявол – оба исчадия décadence'a. – Можно ли в наши дни идти на такие уступки простоте христианских богословов и вместе с ними постановлять, что поступательное развитие понятия бога, ведущее от «бога Израилева», от племенного бога, к богу христианскому, воплощению всякого блага – это *прогресс*?!. Но ведь сам Ренан так поступает. Как будто у Ренана есть право быть простачком! Обратное слишком ясно. Предпосылки жизни по *восходящей* линии – все крепкое, смелое, гордое, властное – изымаются из понятия бога, шаг за шагом он превращается в символ костыля для усталых людей, спасительного якоря для тонущих, становится богом нищих, богом грешников, богом болезненных par excellence; «спаситель» да «искупитель» – таковы его *последние* предикаты...

О чем говорит такое превращение? О чем – такая *редукция* божественного?.. Верно: «царство божие» от этого выросло. Раньше у бога был только свой народ – «избранный». Тем временем бог, как и сам народ, отправился на чужбину, пустился в странствия, нигде ему не сиделось. Пока он не прижился повсюду, великий космополит, – пока на его стороне не оказалось «большое число» и пол-Земли. И все же бог «большого числа», этот демократ среди богов, не сделался гордым богом язычников, – он как был евреем, так им и остался, богом закоулков, богом темных углов, мрачных лачуг – богом всех нездоровых жилых помещений на целом свете!.. По-прежнему его мировой империей остается подземное царство, подполье – souterrain[1], лазарет, гетто... А сам он – какой бледный, какой немощный, какой декадентский!.. Даже бескровные из бескровных в силах завладеть им – господа метафизики, альбиносы мира понятий. Они плетут и плетут вокруг него свои сети, плетут до тех пор, пока, зачарованный их движениями, он сам не превращается в паука, в «метафизикуса»... А тогда он начинает тянуть мир из себя – sub specie Spinozae[2], – преображаясь во все более тонкое и блеклое, делаясь «идеалом», делаясь «чистым духом», «абсолютом», «вещью в себе»... *Так деградирует бог* – становится «вещью в себе»...

18.

Христианское понятие бога – он бог больных, бог-паук, бог-дух – одно из самых порченых, до каких только доживали на Земле; вероятно, оно само служит показателем самого низкого уровня, до какого постепенно деградирует тип бога. Выродившись, бог стал противоречием-*возражением жизни* вместо ее преображения, вместо вечного *Да*, сказанного ей! В боге – и провозглашена вражда жизни, природе, воле к жизни! Бог – формула клеветы на «посюсторонность», формула лжи о «потусторонности»! В боге Ничто обожествлено, воля к Ничто – освящена!..

---

1 подполье (*фр.*).

2 под знаком Спинозы (*лат.*). – *Прим. пер.*

19.

Могучие расы Северной Европы не отвергли бога, и это не делает чести их религиозным дарованиям, чтобы не говорить о вкусе. Им бы вовремя совладать с таким болезненным и дряхлым порождением décadence'a! Но зато на них и лежит проклятие, раз они не совладали с ним: их инстинкты впитали болезнь, старость, противоречие, – и с тех пор они уже не *творили* себе богов! Прошло почти две тысячи лет, и не родилось ни одного бога! И все еще продолжает жить и существовать, словно бы по праву, словно бы ultimum и maximum[1] богопорождающей силы (creator spiritus[2] в человеке), жалкий божок христианского монотонотеизма! Эта упадочная помесь нуля, абстракции и возражения, освящающая инстинкты décadence'a в душах, любые проявления трусости и утомления в них!..

20.

Осудив христианство, я не хотел бы совершить несправедливость в отношении родственной религии, превосходящей его числом приверженцев, – это *буддизм*. Обе нигилистические религии, обе религии décadence'a и близки, и самым замечательным образом разделены. Критик христианства глубоко благодарен индийским ученым за то, что может теперь *сравнивать*. – Буддизм во сто крат реалистичнее христианства; у него в крови наследие объективной и хладнокровной постановки проблем, он возник в итоге продолжавшегося сотни лет философского движения; когда буддизм появился на свет, с понятием «бог» уже успели покончить. Буддизм – это единственная во всей истории настоящая *позитивистская* религия – даже и в своей теории познания (строгом феноменализме); буддизм провозглашает уже не «борьбу с *грехом*», а «борьбу со *страданием*», тем самым всецело признавая права действительности. Буддизм глубоко отличается от христианства уже тем, что самообман

---

1 крайняя и высшая степень (*лат.*). – *Прим. пер.*

2 дух-творец (*лат.*). – *Прим. пер.*

моральных понятий для него пройденный этап; на моем языке он – *по ту сторону* добра и зла. – Вот два психологических факта, на которых основывается и на которых останавливает взгляд буддизм: это, *во-первых,* чрезмерная чувствительность, выражающаяся в утонченной способности страдать, а *затем* – чрезмерная духовность, следствие слишком долгого пребывания среди понятий, логических процедур, от чего понес ущерб личный инстинкт и выиграло все безличное (то и другое состояние по собственному опыту известно, как и мне, хотя бы некоторым из моих читателей, а именно «объективным»). Как следствие таких физиологических предпосылок, установилась *депрессия* – против нее Будда и принимает свои гигиенические меры. Его средство – жить на природе, странствовать; быть умеренным и ограничивать себя в пище; соблюдать осторожность в отношении любых spirituosa, а также любых аффектов, вызывающих разлитие желчи и горячащих кровь; *не заботиться* ни о чем – ни о себе, ни о других. Он требует, чтобы представления приносили покой или радовали дух, и изобретает способы, как отвратить от себя все иное. Для Будды благо и доброта – то, что укрепляет здоровье. И *молитва,* и *аскетические* упражнения исключены, – вообще никакого категорического императива, никакого *принуждения,* даже и в монастырской общине (всегда можно выйти из нее). Все подобное лишь усиливало бы чрезмерную возбудимость. По той же причине он не требует бороться с инакомыслящими; ни против чего так не восстает его учение, как против мстительности, антипатии, ресентимента («не враждою будет положен конец вражде» – трогательный рефрен всего буддизма...). И справедливо: именно эти аффекты и *нездоровы* в смысле главной диэтетической цели. С утомленностью духа, которая налицо и которая сказывается в преувеличенной «объективности» (то есть в ослаблении индивидуальной заинтересованности, в утрате центра тяжести, «эгоизма»), он борется, последовательно относя к *личности* даже и самые духовные интересы. Учение Будды вменяет эгоизм в обязанность: «одно только нужно» – вся духовная диэта определяется и регулируется тем, как именно *тебе* отрешиться от страдания (вспоминается афинянин, равным образом объявивший войну чистой «научности», – Со-

крат: он возвел личный эгоизм в ранг морали даже в самом царстве проблем).

21.

Предпосылками буддизма служат очень мягкий климат, кротость и вольность нравов, *не*милитаризм, а еще то, что очаг движения – высшие и даже ученые сословия. Стремятся к высшей цели – радости духа, невозмутимости, отсутствию желаний – и цели своей *достигают*. Буддизм – не та религия, в которой лишь чают совершенства; совершенство – это норма.

В христианстве на первый план выходят инстинкты угнетенных и порабощенных: в нем ищут спасения низшие сословия. Здесь занимаются как средством от скуки казуистикой греха, самокритикой, инквизицией совести; здесь постоянно поддерживают (молитвой) аффект в отношении *всемогущего*, прозванного «богом», – наивысшее считается недоступным, принимается как дар, как «благодать». Нет и ничего публичного: закуток, темное помещение – вот это по-христиански. Здесь презирают тело, отвергают гигиену чувственности; церковь противится даже чистоте тела (первое христианское мероприятие после изгнания мавров состояло в том, чтобы закрыть общественные бани, которых в одной Кордове насчитывалось двести семьдесят). Известная жестокость к себе и к другим – это тоже христианское; ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и возбуждающие душу представления выходят на первый план; состояния, к каким стремятся и какие награждают возвышенными именами, – состояния эпилептоидные; диэту выбирают такую, чтобы способствовать болезнетворным видениям и перенапрягать нервы. Христианское – это смертельная вражда к господам земли, к «благородным», – одновременно же и скрытое, тайное состязание с ними (оставляют им «тело», а берут *только* «душу»...). Христианское – это и ненависть к *духу:* к гордости, мужеству, свободе, к libertinage духа; ненависть к *чувствам,* к чувственным радостям, к радостям вообще – тоже христианское...

22.

Когда христианство оставило свою первоначальную почву – низшие сословия, *нижний мир* античности, когда оно пустилось завоевывать власть среди варварских народов, то здесь исходной предпосылкой для него выступали уже не *усталые*, но внутренне одичавшие, рвавшие друг друга на части люди – сильные, но плохо уродившиеся. Недовольство самими собой, страдание, причиняемое себе самим, выражались здесь *не* так, как у буддистов, – не в чрезмерной восприимчивости и болезненности, а совсем напротив, в огромном желании причинять боль и изживать внутреннее напряжение во враждебных действиях и представлениях. Христианство нуждалось в *варварских* понятиях и ценностях, чтобы одержать верх над варварами, – таковы принесение в жертву первенца, причащение кровью, презрение к духу и культуре, пытки во всевозможных формах, чувственных и иных, помпезность культа. Буддизм – эта религия рассчитана на людей *поздних*, предназначена для рас добрых, кротких, слишком духовных, – в них так легко вызвать ощущение боли (Европа далеко еще не созрела для боли); буддизм возвращает этим расам мир и радость, размеренность духовной диэты, известную телесную закалку. А христианству хочется овладеть *хищными зверями*, и вот его средство – надо заставить их *болеть*, надо их ослабить – христианский рецепт *укрощения*, «цивилизации». Буддизм – религия утомленного финала цивилизации, а христианство вообще не обнаруживает перед собой цивилизации, – оно при известных обстоятельствах лишь закладывает ее основы.

23.

Итак, еще раз: буддизм во сто крат холоднее, правдивее, объективнее. Ему уже не нужно, перетолковывая грех, делать страдания, боль *приемлемыми* для себя, – он просто говорит, что думает: «Я страдаю». Напротив, варвару вовсе не приличествует страдать; он сначала нуждается в истолковании, чтобы признаться в том, *что* страдает (инстинкт скорее побуждает его таить страдания, сносить их молча).

Слово «дьявол» было благодеянием – дьявол слишком сильный и грозный противник, не стыдно переносить страдания, причиняемые таким врагом.

На дне христианства сохраняются известные тонкости восточного происхождения. Прежде всего христианству ведомо: сама по себе истинность чего-либо совершенно безразлична, но в высшей степени важно, во что веруют как в истину. Истина и *вера* в истинность чего-либо – два крайне далеких, почти *противоположных* мира интересов, к ним ведут совсем разные пути. Ведать такое – значит на Востоке почти уже стать мудрецом: так разумеют дело брахманы, так разумеет его Платон, да и всякий последователь эзотерической мудрости. Вот, например, если *счастье* в том, чтобы верить в избавление от своих грехов, то для этого нужно *не* чтобы человек был грешен, а чтобы он *чувствовал* себя грешным. Итак, если вообще нужна *вера*, то необходимо вызвать недоверие к разуму, познанию, исследованию: путь к истине оказывается тогда *под запретом*. – Крепкая *надежда* куда лучше стимулирует жизнь, чем любое ставшее реальностью счастье. Поэтому надо поддерживать в страдающих надежду – такую, с которой ничего не может поделать сама действительность, такую, которая не *кончится* тем, что сбудется, – потому что это надежда на «мир иной» (как раз по той самой причине, что надежда водит за нос несчастного человека, греки считали ее бедою из бед, самым *коварным* бедствием, – когда опрокидывалась бочка всех несчастий, надежда все-таки оставалась в ней). – Чтобы можно было *любить*, Бог обязан стать личностью; чтобы могли соучаствовать и самые низкие инстинкты, бог обязан быть молодым. Страсти женской можно предъявить прекрасного святого, страсти мужской – деву Марию. Все это при условии, что христианство вознамерилось воцариться там, где культы Адониса или Афродиты предопределили *понятие* культа. Требование *целомудрия* усиливает неистовство и проникновенность религиозного инстинкта – культ становится теплее, душевнее, мечтательнее. – Любовь – состояние, в котором человек обычно видит вещи *не* такими, каковы они. Сила иллюзии достигает своих высот – все приукрашивает, *преображает*. Любя, переносишь больше, терпишь все. Итак, надо было придумать религию, в кото-

рой можно любить: тем самым уже возвышаешься над всем скверным, что есть в жизни, – просто больше не замечаешь ничего такого. – Вот что можно пока сказать о трех христианских добродетелях – вере, надежде, любви; назову их тремя христианскими *благоразумностями*. – Буддизм же для этого слишком позитивистичен – он уже опоздал умнеть таким путем...

24.

Лишь коснусь сейчас проблемы *происхождения* христианства. Вот *первый* тезис к ее решению: христианство понятно лишь на той почве, на какой оно произросло, – это *не* движение против иудейского инстинкта, а закономерное его развитие, новое звено в его внушающей ужас логической цепочке. По формуле искупителя: «Спасение от Иудеев». – *Второй* тезис гласит: мы еще в состоянии разглядеть психологический тип галилеянина, но лишь в полнейшем своем вырождении этот тип, одновременно изуродованный и перегруженный посторонними чертами, мог послужить тем, чем послужил, – типом *искупителя* человечества...

Иудеи – самый примечательный народ во всемирной истории: оказавшись перед необходимостью решать вопрос – «быть или не быть», они вполне сознательно предпочли во что бы то ни стало, *любою ценою* быть; ценою же была радикальная *фальсификация* природы, всего естественного, любой реальности мира внутреннего и мира внешнего. Они обособились от любых условий, при которых когда-либо мог жить, при которых когда-либо смел жить народ; они из самих себя вывели понятие, обратное понятию *естественных* условий; они поочередно вывернули наизнанку, превратив в *противоречие их естественной ценности* и неисцелимо извратив религию, культ, мораль, историю, психологию. С этим же феноменом мы встречаемся вновь: пропорции несказанно возросли, и тем не менее это всего лишь копия, – в отличие от «народа святых» христианская церковь не может заявить ни малейших претензий на оригинальность. Вот почему иудеи и выступают как *самый фатальный* народ во всемирной истории: их воздействие внесло

в человечество такую фальшь, что и сегодня христианин может быть настроен антииудейски, не понимая того, что сам он – *конечный вывод иудаизма.*

В «Генеалогии морали» я впервые психологически представил противоположность двух понятий – *аристократической* морали и морали ресентимента, последняя возникла *как Нет,* произнесенное первому понятию. Иудейско-христианская мораль и есть целиком и без остатка такое Нет. Чтобы сказать Нет всему, что воплощает в себе движение жизни по *восходящей* линии – силе, красоте, здоровью, самоутверждению, – инстинкт ressentiment'а должен был, став гением, изобрести *и иной* мир: глядя оттуда, можно было в любом акте *жизнеутверждения* видеть зло и порочность. Если психологически задним числом все расчесть, то выйдет, что иудейский народ наделен самой упрямой жизненной силой: в немыслимых условиях жизни он добровольно, следуя глубочайшему благоразумию самосохранения, принял сторону всех инстинктов décadence'а – не эти инстинкты владели им, но он угадал в них силу, с помощью которой можно отстоять себя в борьбе с целым «миром». Иудеи – это соответствие всем décadents, им пришлось *играть эту роль* до возникновения полнейшей иллюзии; благодаря non plus ultra[1] актерского гения они встали во главе всех движений décadence'а (вроде христианства Павла), создав из них нечто такое, что было сильнее любой партии жизни с ее *Да* жизнеутверждения. Для человека-*жреца* – того вида человека, который вожделеет власти в иудаизме и в христианстве, – décadence лишь *средство:* этот вид человека кровно заинтересован в том, чтобы человечество *болело* и чтобы были вывернуты наизнанку понятия «добра» и «зла», «истины» и «лжи» – в смысле опасном для жизни и содержащем клевету на мир.

25.

История Израиля неоценима как типичная история *денатурализации* ценностей природы – укажу пять фактов тако-

---

1 крайняя степень (*лат.*).

го процесса. Первоначально, во времена царства, Израиль тоже обретался в *правильном,* то есть естественном, отношении ко всему. Яхве выражал сознание силы, радости, какую испытывал народ от себя самого, надежды на себя самого: от Яхве ждали побед, на него полагались, не сомневаясь в том, что природа даст все необходимое народу – прежде всего пошлет дождь. Яхве – бог Израиля и, *следовательно,* бог праведный; вот логика, какой следует всякий народ, на стороне которого сила, а потому и чистая совесть. Обе стороны самоутверждения народа находят выражение в праздничных обрядах: народ благодарит бога за великие судьбы, позволившие ему достичь вершин, он благодарит бога за годичный цикл и преуспеяние скотоводства и земледелия. – Такое положение оставалось долгое время идеалом – и после того, как все печальным образом переменилось: в государстве анархия, извне грозит ассириец. Однако народ как высшее выражение своих чаяний сохранил видение царя – хорошего воина и строгого судии; он запечатлелся прежде всего у типичного пророка (то есть критика и сатирика на потребу дня), каким был Исайя. – Но надежды не сбывались. Ветхий бог не мог ничего из того, на что был способен в прежние времена. Надо бы расстаться с ним. А что произошло? *Изменили* понятие бога – *денатурализовали* и такою ценою сохранили. –«Праведный» бог Яхве – *уже не* в единстве с Израилем, он уже не выражение того, как ощущает себя сам народ; он бог лишь на известных условиях... Понятие бога становится орудием в руках жрецов-агитаторов, которые толкуют теперь удачу как вознаграждение, несчастье – как кару за непослушание богу, за «грех»: вот бесконечно лживая манера интерпретировать будто бы «нравственный миропорядок» – раз и навсегда она выворачивает наизнанку естественные понятия «причины» и «следствия». Кары и вознаграждения изгнали из мира естественную причинность, но тогда появляется нужда в причинности *противоестественной;* всякая прочая ненатуральность следует по пятам. Теперь бог *требует,* а не помогает, не подает совета и не служит, по сути дела, лишь наименованием любых проявлений вдохновенного мужества и доверия к самим себе... И *мораль* перестала быть выражением условий, в которых произрастает и живет народ,

мораль перестала быть глубочайшим жизненным инстинктом и сделалась абстрактной – противоположностью жизни. – Мораль – принципиальное ухудшение фантазии, «дурной взгляд», коснувшийся вещей мира. *Что* такое иудейская, *что* такое христианская мораль? Это Случай, у которого отнята невинность, это Несчастье, замаранное понятием «греха», это благополучие, понятое как опасность и «искушение», это физиологическое недомогание, отравленное гложущей совестью...

26.

Понятие бога подменено; понятие морали подменено; иудейские жрецы не остановились на этом. Вся *история* Израиля стала негодной к употреблению – долой ее! – Эти жрецы сотворили чудо фальсификации, и добрая часть Библии – документальное свидетельство содеянного ими: глумясь над преданием, издеваясь над исторической реальностью, они *перевели* прошлое своего собственного народа *на язык религии*, то есть изготовили из него тупой механизм спасения, состоящий из вины (перед Яхве) и наказания, из благочестия и награды. Мы, наверное, куда болезненнее воспринимали бы этот позорный акт фальсификации истории, если бы *церковная* ее интерпретация не притупила в течение тысячелетий наши требования благоприличия in historicis[1]. А философы вторили церкви: *ложь* относительно «нравственного миропорядка» проходит сквозь все развитие даже новейшей философии. Что означает «нравственный миропорядок»? Что воля божия раз и навсегда предписывает человеку, что ему делать и чего не делать. Что ценность народа и отдельного человека измеряется степенью послушания их богу. Что в судьбах целого народа и отдельного человека во всем *царит* воля бога, который карает и вознаграждает по мере послушания ему. *Реальность* на месте этой жалчайшей лжи выглядит так: человек – паразит, *жрец*, процветающий лишь за счет здоровых жизненных образований, употребляет во зло имя божье; он назы-

---

1 в делах истории (*лат.*). – *Прим. пер.*

вает «царством божьим» состояние, при котором он, жрец, определяет ценность всего; «волей божьей» он называет средства, с помощью которых достигается и поддерживается такое состояние; хладнокровно и цинично он о народах, веках, отдельных личностях судит по тому, насколько они способствовали или противились безграничной власти жрецов. Понаблюдайте за ними в деле: в руках иудейских жрецов *великая* эпоха в истории Израиля стала периодом упадка; пленение, великое несчастье, стало вечным *наказанием* за ту великую эпоху – время, когда жрец ничего еще не значил... Из могучих, *весьма своенравных* фигур истории Израиля они, по потребности, выделывали то мелких ханжей, то «безбожников», психологию великих событий они свели к упрощенной, идиотской формуле – «послушание или непослушание богу». – Новый шаг вперед: нужно, чтобы «воля божья», то есть условия сохранения власти жрецов, стала *известна*, – следовательно, необходимо «откровение». В переводе: потребовалась большая литературная фальшивка, и вот обнаруживается «священное писание» – сопровождается все это иератической помпой, покаянными днями и причитаниями по поводу застарелого «греха», и писание обнародуется. «Воля божья» давно была известна; вся беда в том, что народ отпал от «священного писания»... Уже Моисею была открыта «воля божья»... Что же произошло? Жрец строго и педантично сформулировал раз и навсегда, *чем ему хочется владеть*, «что такое воля божья»; он не позабыл больших и малых налогов, которые надлежит ему платить, не позабыл и о самых вкусных кусках мяса, потому что жрец завзятый едок бифштексов... Отныне в жизни все устроено так, что *без жреца ни шагу;* какие бы естественные события ни происходили в жизни – рождение, бракосочетание, болезнь, смерть, не говоря уж о жертвоприношении («трапезе»), – повсюду появляется святой паразит, *отнимающий* у события *естественность*, или, на его языке, освящающий его... Ибо необходимо понять: любой естественный обычай, любая естественная институция (государство, суд, брак, уход за больными, забота о бедных), любое требование, внушенное инстинктом жизни, короче говоря, все, что не лишено *внутренней* ценности, принципиально обесценивается вследствие жреческого паразитизма (или, иначе, «нрав-

ственного миропорядка»), все становится противоположным какой бы то ни было ценности. Все это начинает нуждаться в освящении, необходима *наделяющая ценностью* сила, которая будет отрицать в явлении природу и лишь вследствие этого *создаст* ценность... Жрец *лишает* ценности и *святости* природу – только такой ценой он и продолжает существовать. – Непослушание богу, то есть жрецу, «закону», получает отныне наименование «греха»; средства же вновь «примириться с богом» – это, как и следовало ожидать, те самые, какими еще более основательно обеспечивается покорность жрецу: лишь жрец может «искупить» грехи... Если теперь психологически задним числом все расчесть, то в любом организованном жрецами обществе «грехи» неизбежны – в них подлинная опора власти, жрец *живет* за счет прегрешений, ему надо, чтобы «грешили»... Верховный тезис: «Бог прощает кающемуся», – то же в переводе: прощает тому, *кто покорствует жрецу...*

27.

Против природы в любом проявлении, против любой природной ценности, любой *реальности* выступали глубочайшие инстинкты господствующего класса, и на такой *ложной* почве выросло *христианство* – форма смертельной вражды к реальности, форма поныне не превзойденная. «Священный народ» сохранил лишь жреческие слова, лишь жреческие ценности и с логической последовательностью, способной внушить ужас, размежевался со всем, что еще оставалось на земле от власти, – со всем «несвященным» вроде «мира», «греха», – этот народ породил и конечную формулу своего инстинкта, логичную до полного самоотрицания: он произвел в *христианстве* отрицание самой последней еще сохранявшейся формы реальности – самого «священного народа», «народа избранников», всей *иудейской* реальности. Феномен первейший по значению: мелкий бунт, получивший свое название от имени Иисуса Назарянина, – это иудейский инстинкт *вдвойне,* или, говоря иначе, такой жреческий инстинкт, который уже не выносит жреца как реальность, – этот инстинкт обусловливает изобретение

еще *более отвлеченной* формы существования, еще менее реального видения мира, чем те, что обусловили церковную организацию. Христианство *отрицает* церковь...

Не понимаю, против чего было направлено восстание, зачинщиком которого верно или нет сочли Иисуса, если не против иудейской церкви – церкви в том самом смысле слова, в каком пользуемся теперь им и мы. То было восстание против «благих и праведных», против «святых Израилевых», против общественной иерархии – *не* против ее порчи, а против касты, привилегий, порядка, формулы; оно выражало *неверие* в «высшего человека», оно произносило свое Нет всему жреческому и богословскому. Однако поставленная под сомнение, пусть на миг, иерархия была теми сваями, на которых еще держался иудейский народ, хотя бы и посреди потопа, – она была *последней,* с великими трудами завоеванной возможностью выжить, residuum'ом[1] самостоятельного политического существования народа. Нападки на эту иерархию были нападками на глубочайший инстинкт народа, на его упорную волю к жизни – самую цепкую, какая только существовала на земле. Святой анархист, призывавший к протесту против господствующего порядка подлый люд, отверженных и «грешников» (*чандалу* иудаизма), – этот анархист с его речами (если только верить евангелиям), за которые и сегодня упекут в Сибирь, был политическим преступником – постольку, поскольку вообще политические преступления мыслимы в сообществе *аполитичном до абсурда.* Это и привело его на крест: доказательство – надпись на кресте. Он умер за *свои* «грехи», – и нет оснований полагать, как это часто утверждают, будто он умер, чтобы искупить «грехи» других.

28.

Совсем иной вопрос – осознавал ли он такую противоположность? Возможно, его лишь *ощущали как* такую противоположность. И вот только теперь я коснусь проблемы *психологии искупителя.* – Признаюсь, мало что дается мне с таким

---

1 прибежище *(лат.). – Прим. пер.*

трудом, как чтение евангелий. Трудности вовсе не те, обнаружению которых обязано одним из незабываемых своих триумфов ученое любопытство немецкого духа. Давно ушло то время, когда и я, подобно любому молодому ученому, неторопливо и рассудительно, как утонченный филолог, наслаждался сочинением несравненного Штрауса. В ту пору мне было двадцать лет, а теперь я посерьезнел для такого занятия. Что мне до противоречий «предания»! Как можно называть «преданием» легенды о святых! Эти рассказы – самая двусмысленная литература, какая только есть: применять к ней научный метод, *если нет иных документальных источников,* – дело заведомо безнадежное, ученое времяпрепровождение...

29.

Мое дело – психологический тип искупителя. Он и *мог бы* содержаться в евангелиях – вопреки евангелиям, пусть даже в изуродованном и перегруженном посторонними чертами виде; так образ Франциска Ассизского сохранился в легендах вопреки легендам. Итак, *не* истина того, что он делал, что говорил и как умер, а вопрос: можем *ли* мы вообще представить себе его тип, содержит *ли* его «предание»? – Известные мне опыты вычитывания из евангелий самой настоящей *истории* «души» доказывают, на мой взгляд, отвратительное психологическое легкомыслие. Господин Ренан, шут in psychologicis[1], применил к объяснению типа Иисуса два *наиболее неуместных* понятия, какие только могли тут быть, – «*гений*» и «*герой*» (heros). Если есть что-то неевангельское, так это понятие «героя». Как раз ощущение обратное тому, что ты за что-то сражаешься, борешься, сделалось здесь инстинктом; неспособность к сопротивлению становится моралью («Не противься злому» – глубочайшее слово евангелий, в известном смысле ключ к ним) – блаженство в мире, кротости, *неумении* враждовать. Что значит «радостная весть»? Обретена подлинная жизнь, жизнь вечная, – она не обещана, она здесь, *в вас* – жизнь в

---

1 в делах психологии *(лат.)*. – *Прим. пер.*

любви, в любви без изъятия и исключения, без дистанции. Каждый – сын божий, Иисус ни на что не претендует для себя одного; все сыновья божьи, и все равны… И после этого Иисус – *герой*! – А какое недоразумение – слово «гений»! Наше понятие «духа», понятие нашей культуры, утрачивает всякий смысл в мире, где живет Иисус. Рассуждая строго, как физиолог, тут совсем другое слово было бы уместнее – слово «идиот»[1]. *Чувство осязания* – мы это знаем – бывает болезненно раздражено до такой степени, что прикосновение к любому твердому предмету заставляет содрогнуться. Достаточно перевести такой физиологический habitus[2] на язык окончательной логики – то будет инстинктивная ненависть ко *всякой* реальности, бегство в «непостижимое» и «неосязаемое», неприятие любой формулы, любого понятия пространства и времени, всего, что стоит твердо – обычаев, учреждений, церкви, – а тогда твое родное пристанище в таком мире, какого уж не коснется никакая реальность, в мире исключительно «внутреннем», в мире «истинном» и «вечном»… «Царствие Божие *внутрь вас* есть»…

30.

Инстинктивная ненависть к *реальности* – следствие крайней раздражительности и болезненности, когда уже не хочется, чтобы тебя «трогали», потому что любое прикосновение действует слишком сильно.

Инстинктивное неприятие антипатии, вражды, любых разграничений и дистанций – следствие крайней раздражительности и болезненности, когда любое сопротивление, сама необходимость чему-то сопротивляться воспринимается как непереносимое *неудовольствие* (нечто *вредное* и *отвергаемое* инстинктом самосохранения) и когда блаженство (удовольствие) лишь в том, чтобы никому и ничему не про-

---

1 *Слово «идиот»* – В переводе Михайлова эти слова отсутствуют, поскольку из издания 1906 г., по которому он переводил, они были изьяты. .

2 состояние *(лат.)*. – *Прим. пер.*

тивиться, ни злу, ни беде... Любовь – единственный, *последний* шанс выжить...

Вот на этих двух исходных *физиологических реальностях* и взросло учение об искуплении. Назову его тонким развитием гедонизма на вполне прогнившей основе. Близкородственным остается эпикуреизм, языческое учение об искуплении – с большой дозой греческой витальности и нервной силы. Эпикур – *типичный décadent*; я первым рассмотрел в нем такового... Страх перед болью, даже перед бесконечно малой величиной боли – может ли окончиться он чем-то иным, нежели *религией любви*...

31.

Я наперед дал свой ответ на вопрос. Ответ предполагает, что тип искупителя дошел до нас в сильно искаженном виде. Искажение весьма вероятно и само по себе; едва ли такой тип (по многим причинам) мог сохраниться чистым, цельным, свободным от прибавлений. Видимо, оставило свои следы и milieu[1], в каком обитала эта чуждая фигура, но еще больше следов истории, *судеб* первой христианской общины: задним числом тип искупителя наделили чертами, которые объясняются исключительно условиями войны и целями пропаганды. В странный нездоровый мир вводят нас евангелия – мир как в русском романе, где, будто сговорившись, встречаются отбросы общества, неврозы и «наивно-ребяческое» идиотство: в этом мире сам тип при любых обстоятельствах должен был *упроститься*; особенно первые ученики переводили это бытие неуловимых символов и непостижимостей на язык своей неотесанности, только так они могли что-то понять в нем; для них тип *наличествовал* только после того, как они вместили его в более известные им формы... Пророк, мессия, грядущий судия, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель – вот сколько возможностей неверно воспринять сам тип... Не будем наконец недооценивать и proprium[2] всякого, в особенности сектантского

1 среда (*фр.*). – *Прим. пер.*
2 непременное свойство (*лат.*). – *Прим. пер.*

культа: почитание стирает в возлюбленном существе любые оригинальные, иной раз неприятно чужеродные черты и идиосинкразии; *их попросту не замечают*. Жаль, что рядом с этим интереснейшим décadent'ом не было своего Достоевского, я хочу сказать – жаль, что рядом не было никого, кто сумел бы воспринять волнующую прелесть такой смеси тонкости, болезненности и ребячливости. И последнее соображение: этот тип, будучи типом декадентским, *мог* на деле отличаться своебычным многообразием и противоречивостью, – такую возможность нельзя совершенно исключать. Тем не менее все говорит против нее: ведь как раз в таком случае предание, должно быть, необычайно точно и объективно запечатлело бы образ, у нас же есть основания предполагать обратное. Как бы то ни было, пропасть разделяет проповедующего на горах, озерах и лугах – это словно сам Будда (на почве, впрочем, отнюдь не индийской) – и агрессивного фанатика, смертельного врага жрецов и богословов, которого злоречивый Ренан возвеличил как le grand mattre en ironie[1]. Сам я не сомневаюсь в том, что немало желчи (и даже esprit) перелилось на учителя из христианской пропаганды с ее возбужденностью, – всем ведь хорошо известна та бесцеремонность, с которой сектанты в целях *самооправдания* перекраивают своих назидателей. Когда первой общине для схваток с богословами потребовался драчливый, гневливый, скоро судящий, коварно изобретательный богослов, они *сотворили* себе «бога» по потребности своей: без колебаний они вложили в его уста самые неевангельские понятия, без которых нельзя было теперь и шагу ступить, – вроде «второго пришествия», «Страшного суда», всякого рода земных ожиданий и обетований.

32.

И еще раз повторю: я возражаю против того, чтобы вносить фанатика в тип искупителя; одно слово impérieux[2], каким пользуется Ренан, *уничтожает* сам тип. «Благая весть»

1 великий мастер иронии (*фр.*). – *Прим. пер.*

2 властный (*фр.*). – *Прим. пер.*

– она ведь как раз о том, что противоречий больше нет; царство небесное принадлежит *детям*; вера, какая заявляет здесь о себе, – она не завоевана, она просто здесь, с начала, это как бы ребячливость, задержавшаяся в сфере духа. По крайней мере физиологи знают феномен запоздалого полового созревания с органическим недоразвитием, – следствие дегенерации. – Когда так веруют, то не злятся, не сердятся, не сопротивляются; эта вера не приносит «меч» – и не подозревает, сколько бы всего могла разделить. Эта вера не доказывается ни чудесами, ни наградами, ни обетованиями, тем более уж не «писанием»; она всякий миг сама себе чудо, награда, доказательство, «царство божие». Эта вера и не формулируется – она живет, противясь формулам. Конечно, все случайное – окружение, язык, запас впечатлений – определяет какой-то круг понятий: первоначальное христианство пользуется *исключительно* иудейско-семитическими понятиями (сюда относится еда и питье на вечере – понятия, которыми, как и всем иудейским, сильно злоупотребила церковь). Однако воздержимся от того, чтобы видеть здесь не просто знаки, семиотику, повод к сравнениям, а нечто большее. Никакое слово нельзя здесь понимать дословно – для нашего антиреалиста это непременное условие, иначе он вообще не сможет говорить. В Индии он пользовался бы понятиями санкхья, в Китае – понятиями Лао-цзе, да и не заметил бы разницы. – При известной терпимости к собственной манере выражаться мы могли бы назвать Иисуса «вольнодумцем»: ведь для него все прочное, устойчивое – ничто; слово *убивает*, и все твердое – *убивает*. «Жизнь» как понятие, нет, как *опыт* – ничего иного он не знает – противится в нем любым словам, формулам, законам, догматам, символам веры. Он говорит лишь о самом глубоком, внутреннем: «жизнью», или «истиной», или «светом», – вот как он называет это глубоко внутреннее, а все прочее – вся действительность, вся природа, даже сам язык – наделено для него лишь ценностью знака, подобия. – Мы не должны тут ошибиться, сколь бы велик ни был соблазн христианского – я хочу сказать *церковного* – предрассудка: подобная символика par excellence – она вне пределов религии, культовых понятий, вне пределов истории, естествознаний, опыта общения, любых знаний, всей политики,

психологии, любых книг, всего искусства, и его «знание» – это, по сути дела, знание *«чистого* простеца» (который не знает *и того,* что такие вещи вообще существуют на свете). О *культуре* он и не слыхал, так что ему и не приходится бороться против нее – он ее не отрицает... То же можно сказать и о *государстве,* обо всем гражданском обществе и распорядке, о *труде,* о войне – у него не было причин отрицать «мир», он и не подозревал о существовании такого церковного понятия – «мир»... *Отрицать* – вообще немыслимая для него вещь. – Равным образом отсутствует диалектика, и нет представления о том, что веру и «истину» можно обосновывать какими-то доводами (*его* доказательства – это внутренние вспышки света, ощущение удовольствия в душе, самоутверждение – всё «доказательства силы»)... Такое учение не в состоянии и возражать, нет ведь тут вообще понимания того, что есть иные учения, нет представления о том, что *можно* рассуждать как-то иначе... Если случится натолкнуться на что-то подобное, можно будет, внутренне глубоко сочувствуя, печалиться о «слепоте» других, – сам-то ведь видишь «свет», – но нельзя возразить...

33.

Психология «евангелия» не ведает понятий вины и наказания, не ведает и «вознаграждения». «Грех» и любая дистанция между богом и человеком упразднены, *в том-то и заключается «радостная весть».* Блаженство не обещают и не связывают с выполнением условий: блаженство – *единственная* реальность, а остальное – знаки, чтобы говорить о ней...

Последствия такого положения переносятся на новое *поведение,* собственно евангельское. Не «вера» отличает христианина – он действует; он отличается тем, что поступает *иначе.* Тем, что ни словом, ни душой не противится тому, кто творит ему зло. Тем, что не признает различия между соплеменником и иноземцем, между иудеем и неиудеем («ближний» – это, собственно, единоверец, иудей). Тем, что ни на кого не гневается, никем не пренебрегает. Тем, что не ходит в суды и не дается им в руки (он «не клянет-

ся»). Тем, что ни при каких обстоятельствах не разводится с женой, даже если неверность ее доказана. – Все в сущности одно, следствие одного инстинкта –

Жизнь искупителя и была лишь *таким* практическим поведением, – смерть – не чем иным... Ему не нужны были формулы и ритуалы общения с богом – не нужно было даже молиться. С иудейским учением о покаянии и примирении он свел счеты – ему известно, что лишь благодаря *практическому,* жизненному поведению можно чувствовать себя «божественным», «блаженным», «евангельским» – во всякую минуту ощущать себя «сыном божьим». *Не* «покаяние», *не* «молитва о прощении» ведет к богу, а *одно лишь евангельское поведение;* оно-то и *есть* «бог»... Вот чему *положило конец* евангелие – иудаизму с его понятиями «греха», «прощения грехов», «веры», «спасения верой»: «радостная весть» означала отрицание всего *церковного* учения иудаизма.

Единственная психологическая реальность «искупления» – это глубочайшее инстинктивное понимание того, как надо *жить,* чтобы ощущать себя живущим «на небесах», в «вечности», – тогда как при любом ином поведении отнюдь *не* пребываешь «на небесах». – *Не* новая вера, а новый путь жизни...

34.

Если я хоть что-то смыслю в этом человеке, в нем, думавшем символами, так это вот что: как реальность, как «истину» он воспринимал лишь реальность *внутреннего,* а все прочее, природное, временное, пространственное, историческое, понимал лишь как знак, как материал своих притч. «Сын человеческий» – не конкретная историческая личность, не что-то отдельное и уникальное, а «извечный» факт, психологический символ, свободный от связи с понятием времени. То же, причем в самом высоком смысле, верно сказать и о *боге,* как типично символистски представлял себе его этот человек, и о «царстве божьем», «царстве небесном», о «сынах божьих». Нет ничего менее христианского, чем *церковные огрубления* – *личный* бог, «царство божие», которое *грядет,* «царство небесное» *по ту сторону,* «сын бо-

жий» в качестве *второй ипостаси* Троицы. Все это – простите за выражение – *кулаком* в глаз евангелия, – да в какой глаз! Все это – *всемирно-историческое циническое* глумление над символом... И ведь очевидно, к чему относятся эти знаки – «отец», «сын», – очевидно, но не для всякого ока, это я признаю: слово «сын» подразумевает приобщение к совокупному чувству преображения всего на свете (блаженство), а слово «отец» – *само это чувство*, чувство вечности и завершенности всего. – Стыдно припоминать, во что обратила церковь такую символику – не выставлена ли у порога христианской «веры» история Амфитриона? А еще догмат о «непорочном зачатии»?.. *Да ведь им опорочено зачатие* – –

«Царство небесное» – это состояние сердца, а отнюдь не то, что находится «над землею» и грядет «после смерти». Понятие о естественной смерти вообще *отсутствует* в евангелии: смерть – не мост, не переход, совсем нет смерти, потому что она принадлежит лишь кажущемуся миру, от которого только та польза, что в нем можно черпать знаки. И «смертный час» – тоже *не* христианское понятие: для проповедующего «радостную весть» нет «часа», нет времени, нет и физической жизни с ее кризисами... «Царство божие» не ждут – для него нет ни вчерашнего, ни послезавтрашнего дня, и через тысячу лет оно не грядет – это только опыт сердца: оно повсюду, оно нигде...

35.

«Радостный вестник» умер, как жил, как *учил*, – *не* ради «искупления людей», а для того чтобы показать, как надо жить. *Практическое* поведение – вот что завещал он человечеству: свое поведение перед судьями, перед солдатами, перед обвинителями, перед всевозможной клеветой и издевательствами, – свое поведение на *кресте*. Он ничему не противится, не защищает своих прав, не делает и шага ради того, чтобы предотвратить самое страшное, – более того, он еще *торопит весь этот ужас*... И он молит, он страдает и любит *вместе* с теми и *в* тех, кто чинит ему зло... Всё евангелие содержится в словах *разбойнику*, сказанных на кресте. «Истинно человек этот был праведник, сын Божий», говорит

разбойник. «Если ты это чувствуешь – отвечает спаситель, – *ныне же будешь со мною в раю*, будешь, как и я, сыном Божим...»[1] *Не* противиться, *не* гневаться, *не* призывать к ответу... И злу не противиться – *любить* его...

36.

Только мы, чей ум *раскован,* только мы обрели предпосылку для уразумения того, что неверно понимали в течение девятнадцати столетий, – прямоту, ставшую инстинктом и страстью: она со «священной ложью» воюет еще непримиримее, чем с любой иной... Все это время люди были несказанно далеки от нашей деликатной и осторожной нейтральности, от той дисциплины духа, которая позволяет угадывать столь чуждые, столь тонкие вещи: всегда люди нагло и себялюбиво искали лишь *собственной* выгоды, вот и *церковь* построили в пику евангелию...

Если искать признаки того, что за великой игрою миров скрывается ироничное божество, перебирающее веревочки в своих ловких пальцах, немало даст тот *колоссальной* величины *вопросительный* знак, который получил наименование христианства. Человечество преклоняется пред обратным тому, в чем заключались исток, смысл, *оправдание* евангелия; в понятии «церковь» человечество освятило все то, что *преодолел* и *превозмог* «радостный вестник» – напрасно бы мы искали более грандиозную форму *всемирно-исторической иронии*...

37.

Наш век гордится своим чувством истории: как же мог он уверовать в этот бред – будто христианство началось с *грубой побасенки о чудотворце-искупителе,* а все духовно-символическое – только итог позднейшего развития?! Совсем наоборот:

---

1 *Всё евангелие ... сыном Божим* – В переводе Михайлова эти три предложения отсутствуют, поскольку из издания 1906 г., по которому он переводил, они были изъяты. См. прим.

история христианства, начиная со смерти на кресте, – это история все более грубого непонимания *изначальной* символики. По мере распространения христианства, захватывавшего широкие массы некультурных народов, чуждых тем условиям, при которых христианство зародилось, все более необходимо становилось придавать христианству *вульгарный* и *варварский* вид – так христианство усвоило вероучения и обряды всех *подземных* культов в Imperium Romanum, так оно впитало в себя бестолковщину всех видов больного разума. Судьба христианства определена с неизбежностью: вера должна была стать столь же нездоровой, низменной и вульгарной, сколь нездоровыми, низменными и вульгарными были потребности, какие надо было удовлетворить. И наконец, все это *больное варварство* складывается, церковь – его сумма, и она становится силой – церковь, эта форма смертельной вражды к любой порядочности, любому *возвышению* души, любой дисциплине духа, любой искренней и благожелательной человечности. – Есть ценности *христианские* и есть – *благородные:* только мы, чьи умы *раскованы*, восстановили эту величайшую ценностную противоположность!

38.

Я не в силах подавить вздох... В иные дни меня охватывает чувство, мрачнее самой черной меланхолии – *презрение к людям*. И чтобы не было сомнений в том, *что* я презираю, *кого* презираю, скажу: это современный человек, человек, с которым я фатально одновременен. Современный человек – его нечистое дыхание душит меня... К прошлому я, подобно всем познающим, куда терпимее, то есть *великодушнее* и самоотверженнее: я прохожу через тысячелетний дом – мир умалишенных и, как бы он ни именовался – «христианством», «христианской верой», «христианской церковью», прохожу по нему с мрачной настороженностью, не решаясь привлекать человечество к ответственности за его душевные болезни. Но все резко меняется, и мое чувство прорывается наружу, когда я вступаю в новейшее, в *наше* время. Оно наделено *ведением*... Что вчера – болезнь, то сегодня – неприличие: сегодня неприлично быть христианином. *И*

во мне зарождается чувство омерзения. – Оглядываюсь по сторонам: не остаюсь ничего от того, что когда-то именовалось «истиной», и нестерпимо для нас слышать слово «истина» из уст жреца. Сегодня и при самой скромной потребности в порядочности *надо* знать, что богослов, жрец, папа не заблуждаются, но *лгут*, – лжива каждая произносимая ими фраза, и они уже не вольны лгать «невинно» и «по неведению». Жрец, как и всякий человек, тоже знает, что нет ни «бога», ни «грешника», ни «искупителя», что «свобода воли» и «нравственный миропорядок» – *ложъ:* серьезно и глубоко преодолевающий самого себя дух уже никому не *дозволяет не* ведать о том... Распознаны в своей сути все церковные понятия – самая злокозненная фальсификация, какая только есть на свете, предпринятая для того, чтобы *обесценить* природу и любые естественные ценности. Распознан в своей сути жрец – опаснейший паразит, ядовитый паук жизни... Мы знаем, и наша *совесть* знает, чего стоят, *чему служат* жуткие вымыслы жрецов и церкви – с их помощью достигнуто то состояние самооскопления, когда вид человечества внушает омерзение: это понятия «мира иного», «Страшного суда», «бессмертия души», самой же «души», это орудия пыток, целые системы жестокости, посредством которых правил и утверждал свою власть жрец... Всякому это известно – *и тем не менее все остается по-старому.* Где последние остатки приличия, уважения к самим себе, если даже наши государственные мужи – люди откровенные, антихристиане во всем, во всех своих делах – называют себя христианами и идут ко причастию?.. Молодой[1] государь во главе своих полков – великолепное зрелище, выражение себялюбивости и высокомерия своего народа... – и вот он *бесстыдно* именует себя христианином!.. Но *кого* же в таком случае отрицает христианство? *Что* называется «миром»? Вот что: человек – судья, солдат, патриот; человек защищается, когда на него нападают, блюдет свое достоинство, имеет свою *гордость*, ищет для себя выгоды... Поведение в каждый отдельный

---

1 Это слово отсутствовало в издании 1906 г., по которому переводил Михайлов. Оно было убрано сотрудниками Архива, по-видимому, для того, чтобы затушевать намек на кайзера Вильгельма II. . – *Прим. ред.*

момент жизни, всякий инстинкт, любая оценка, становящаяся поступком, – все сегодня противоречит христианству, все – антихристианское: каким же чудовищно *лживым уродом* должен быть современный человек, чтобы, несмотря на все это, *не стыдиться* называть себя христианином! – – –

39.

Вернусь назад и расскажу *доподлинную* историю христианства. – Уже само слово «христианство» основано на недоразумении; в сущности, был один христианин, и тот умер на кресте. Само «евангелие» умерло на кресте. То, что с той минуты называют «евангелием», всегда было обратным тому, ради чего *он* жил, – было *«дурной* вестью», *дисангелием.* Ложно и бессмысленно видеть отличительный признак христианина в «вере», например в вере в искупление грехов Христом: христианское – лишь в практическом *поведении,* в *жизни,* подобной той, какую вел распятый... Еще и сегодня возможно *так* жить, для *некоторых* это даже неизбежно: подлинное, первоначальное христианство возможно во все времена... *Не* веровать, а действовать, прежде всего многого *не* делать, *быть* иначе... Состояния сознания, вера, затем то, что мы считаем истинным, – всякому психологу это известно, – они совершенно безразличны и пятистепенны в сравнении с ценностью инстинктов: говоря точнее, все понятие духовной причинности насквозь ложно. Сводить свою христианскую веру к мнениям, к феноменам сознания – значит отрицать христианство. *На деле никаких христиан не было.* То, что на протяжении двух тысяч лет называют «христианином», – это психологическое недоразумение, непонимание самих себя. Если присмотреться поближе, то в нем, в этом «христианине», *несмотря* на всю его «веру», царили инстинкты – и *что за инстинкты!..* «Вера» во все времена, например у Лютера, была только предлогом, маскарадом, *занавесом,* – позади играли инстинкты; «вера» была благоразумной слепотой относительно господства в человеке *известных* инстинктов... «Вера» – я уже назвал ее собственно христианским *благоразумием:* о «вере» без конца толковали, а *поступали,* как подсказывал инстинкт... В мире

представлений христианина нет ничего, что хотя бы отдаленно соприкасалось с действительностью, и в инстинктивной ненависти к любой действительности мы обнаружили движущий элемент христианства, единственный движущий его элемент, скрытый в самом его корне. Что следует отсюда? Что и in psychologicis заблуждение радикально – оно определяет сущность христианства, оно *субстанциально*. Стоит устранить одно-единственное понятие, поставить на его место реальность – и христианство отправится в небытие! – Если бросить взгляд с высоты, то этот поразительный факт, самый непостижимый из всех, какие только есть, именно факт существования религии, которая не просто обусловлена заблуждениями, но которая изобретательна или даже гениальна *лишь* в области вредоносных и отравляющих жизнь и душу заблуждений, этот факт – *зрелище для богов*, для богов-философов, с которыми я повстречался, к примеру, во время знаменитых бесед на острове Наксос. В тот момент, когда чувство *омерзения* начинает отступать в них (*и* в нас!), они благодарны за это зрелище христианина: быть может, уже ради столь любопытного феномена жалкая звездочка по прозванию Земля заслуживает того, чтобы боги мельком бросили на нее взгляд и проявили к ней свое божественное участие... Не будем недооценивать христианина: лживый *до невинности*, христианин куда выше обезьяны – при взгляде на христианина известная теория происхождения видов кажется простой учтивостью...

40.

Фатальность евангелия была предрешена смертью – оно висело на «кресте»... Лишь смерть, эта неожиданная позорная смерть, лишь крест, предназначавшийся в общем и целом для canaille[1], – вот только вся нестерпимо жуткая парадоксальность и поставила учеников перед настоящей загадкой: *кто же это был? кем же он был?* – Потрясенное, оскорбленное в глубине чувство, подозрение, что, быть может, такая смерть *опровергает* дело их жизни, страшный знак во-

---

1 чернь (*фр.*).

проса – «Почему так?!» – это слишком понятно. Тут все *обязано* было быть необходимым, обладать смыслом, разумом – высшей разумностью: для любящего ученика нет ничего случайного. Вот и разверзлась пропасть: кто убил его? кто мог быть врагом его по природе? – вопрос словно молния. Ответ: *господствующий* иудаизм, высший слой иудейства. И с этого момента они почувствовали, что бунтуют *против* существующего порядка; задним числом у них и сам Иисус *бунтует против существующего порядка.* До той поры эта воинственная черта *отсутствовала* в его образе, отсутствовало это Нет слова и дела, – более того, он был живой противоположностью такого Нет. Явно, маленькая община *не* уразумела главного – сколь образцова его смерть, сколь свободен, сколь *выше* он всякого ресентимента – признак того, как мало они его вообще понимали! Ведь Иисус, умирая, ничего иного и не мог желать, кроме как публично представить самое сильное свидетельство в пользу своего учения и этим *доказать* его... Но его ученики были далеки от того, чтобы *простить* такую смерть, – а это было бы по-евангельски в высшей степени, – не говоря уж о том, чтобы со всей невозмутимой блаженной кротостью в сердце *пойти* на такую же смерть... Вновь вышло наружу самое неевангельское из чувств – *мстительность.* Никак нельзя было смириться с тем, что вместе с его смертью погибло все их дело – нет, требовалось «возмездие», нужен был «суд» (но есть ли что менее евангельское, чем «возмездие», «наказание», «судилище»!). И вновь в народе на первый план выдвинулось ожидание мессии, все взоры устремлены к известному историческому моменту: «царство божие» грядет и будет судить своих врагов... Но ведь это же полное непонимание всего: «царство божье» – и завершительный акт истории! «Царство божье» – и обетование! Ведь евангелие было наличным бытием, исполнением, *реальностью* «царства». Как раз такая смерть и *была* «царством божьим»... Только теперь на тип учителя и перенесли все презрение и озлобленность, какие испытывали к фарисеям и богословам, – тем самым учителя самого *превратили* в фарисея и богослова! С другой стороны, эти вовсе разладившиеся души с их необузданным поклонением уже не могли дольше сносить евангельское равенство всех людей: всякий по праву сын божий, чему

учил Иисус, – и вот их мщение: они стали безудержно *превозносить* Иисуса, отрывать его от самих себя – совсем как в былые времена иудеи, которые, мстя врагам, отделили от себя своего бога и безмерно возвысили его. Единый бог и единый сын божий – оба порождения ресентимента...

41.

А тогда всплыла абсурдная проблема: как попустил господь! На что взбудораженным сознанием крохотной общины был найден ответ до ужаса абсурдный: бог принес своего сына на *заклание* ради прощения грехов. Вот и покончено с евангелием, да как! *Искупительная жертва,* да еще в самой отвратительной, варварской своей форме – *невинного* приносят в жертву за грехи виновных! Какое устрашающее язычество! – Ведь Иисус упразднил само понятие «вины» – он устранил пропасть, разделявшую бога и человека, его *жизнь* была этим единством бога и человека – *его* «радостной вестью»... Единством *не* как привилегией! – С той поры в тип искупителя постепенно, шаг за шагом, проникают догмат о суде и втором пришествии, догмат о смерти как искупительной жертве, догмат о *воскресении* из мертвых, а этим последним изгоняется раз и навсегда понятие «блаженства», единственная реальность, какая заключалась в евангелии, изгоняется в пользу некоей жизни *после* смерти!.. Такое понимание, такое *разнузданно* непристойное разумение было логически истолковано Павлом – с наглостью раввина, отличавшей его во всем: «А *если* Христос не воскрес, то вера ваша тщетна»... И сразу же, единым махом, евангелие превращено в самое презренное из всех несбыточных обетований, в *бесстыжее* учение о личном бессмертии... А Павел еще проповедовал о бессмертии как *награде*!..

42.

Теперь видно, *чему* наступил конец со смертью на кресте – новым, вполне независимым начаткам буддийского мирного движения, фактическому, а *не* просто обещанному *счастью*

на земле. Ибо, как я уже подчеркивал, главное различие между этими двумя религиями décadence'а таково: буддизм не обещает, а держит слово, христианство обещает всё, а слова *не держит.* – Следом за «благой вестью» – весть *наисквернейшая,* Павлова... Павел воплощал в себе тип, противоположный «радостному вестнику», – он гений ненависти, гений видений ненависти, неумолимой логики ненависти. *Чем* только не жертвовал ненависти этот дисангелист! Сначала он принес в жертву искупителя – прибил его к *своему* кресту. Жизнь, пример и образец, учение, смерть, смысл и оправдание евангелия – ничего не осталось, как только этот, ненавистью призванный фальшивомонетчик осознал, чем может воспользоваться. *Не* реальностью, *не* исторической правдой!.. И жреческий инстинкт иудея повторил прежнее свое великое преступление против истории – он просто-напросто вычеркнул вчерашний и позавчерашний день христианства, *он сочинил всю историю первоначального христианства.* Более того, он вновь перекроил историю Израиля, чтобы она представлялась предысторией *его* подвига: все пророки глаголали о *его* «искупителе»... А впоследствии церковь даже историю человечества переделала в предысторию христианства... Тип искупителя, учение, практическое поведение, смерть, смысл смерти, даже события после смерти – ничто не оставили в покое, ничто уже даже не походило на реальность. Центр тяжести всей жизни искупителя Павел перенес в «мир иной» – в *ложь* о «воскресшем» Иисусе. Ему, собственно, жизнь искупителя и не была нужна, а нужна была его смерть на кресте *и* еще кое-что сверх того... Родиной Павла была столица стоического просвещения, и считать его честным человеком, когда он на галлюцинации строит *доказательство* посмертной жизни искупителя, верить его рассказам об этой самой галлюцинации, – то была бы niaiserie[1] со стороны психолога: Павел был заинтересован в цели, *значит,* был заинтересован и в средствах... Во что он сам не верил, в то верили идиоты, которым он кинул *свое* вероучение. – Он чувствовал потребность во *власти;* в лице Павла вновь рвался к власти жрец, – ему нужны были понятия, догматы, символы, с помощью которых можно было

---

1 простоватость (*фр.*) – *Прим. пер.*

тиранить массы, сгонять людей в стада. – *Что* впоследствии позаимствовал в христианстве Мухаммед? Одно – выдумку Павла, его средство утверждения жреческой тирании и собирания стад: веру в бессмертие, то есть *учение о «суде»*...

43.

Перенося центр тяжести жизни *не* в жизнь, а в «мир иной» – *в Ничто*, отнимают у нее центр тяжести вообще. Великая ложь личного бессмертия разрушает разум, уничтожает естественность инстинкта – все, что есть в инстинкте благодетельного, все, что способствует в нем жизни и обеспечивает будущее, все это отныне возбуждает подозрение. Жить так, чтобы не было больше *смысла* жить, – вот что становится теперь смыслом жизни... Для чего здравый смысл, для чего чувство благодарности к отечеству и предкам, зачем трудиться вместе с другими, доверять им, споспешествовать общему благу, заботиться о нем?.. Сколько «соблазнов», отвлекающих от правого пути... «а одно только нужно»... Чтобы каждый, будучи «бессмертной душой», равнялся всем прочим, чтобы в собрании всех живых существ «спасение» каждого отдельного человека могло претендовать на непреходящую значимость и ничтожный ханжа и всякий свихнувшийся на три четверти бездельник могли воображать, будто ради них будут непрестанно *нарушаться* законы природы, – столь бесконечное и *бесстыдное* возрастание всяческого себялюбия невозможно бичевать с достаточным презрением. И все же христианство обязано своими *победами* этой жалкой лести, возбуждавшей тщеславие личности, – так убедили принять христианство неудачников и бунтовщиков, всяких подонков, всевозможные убожества. «Спасение души» – а в переводе: «Весь мир вращается вокруг *меня*»... Самую отраву вероучения – *«равные* права для всех» – христианство сеяло наиболее последовательно; оно – из самых потаенных уголков дурных инстинктов – вело ожесточенную войну с чувствами почтительности и дистанции, разделяющими людей, иными словами – самой основной *предпосылкой* возвышения, роста культуры: из ressentiment'а масс христианство выковало *главное орудие* борь-

бы с *нами*, со всем благородным, радостным, восторженно-приподнятым, что только ни есть на земле, орудие борьбы против нашего земного счастья... Признать «бессмертие» всякого Петра и Павла значило совершить величайшее, значило совершить ужаснейшее злодеяние в отношении *благородного* человечества. – Не будем недооценивать и той фатальности, которая благодаря христианству проникла во все, вплоть до политики! Сейчас никто не смеет притязать на особые привилегии, на права господства, на почтительное отношение к себе и себе подобным, – никто не решается настаивать на *пафосе дистанции*... Наша политика *больна* малодушием! – Аристократизм умонастроения был коварно-подпольно подорван ложью о равенстве душ, и если вера в «преимущественные права большинства» творит и *будет* еще *творить* революции, то именно христианство – можете в том не сомневаться! – именно *христианские* суждения ценности переводят любую революцию в одно сплошное море крови и преступлений! Христианство – это восстание пресмыкающихся по земле против всего, что стоит и *высится*: евангелие «низких» *принижает*...

44.

Евангелия неоценимы как свидетельства неудержимой порчи, какой подвергалась уже первоначальная община. Впоследствии Павел с цинической последовательностью раввина довел этот процесс упадка до его логического завершения, но начался он со смерти искупителя. – Евангелия надо читать с наивозможной осторожностью – трудности подстерегают за каждым словом. Признаюсь – и меня поймут, – что именно этим евангелия доставляют ни с чем не сравнимое удовольствие психологу – в них *обратное* наивной порче, в них утонченность par excellence, подлинное мастерство психологического растления. Евангелия – нечто совсем особенное. Вообще Библию не с чем сравнивать. Ты среди иудеев – *первое*, что необходимо принять к сведению, иначе потеряешь нить. Тут все гениально облачается в одежды «святости» – ни в книгах, ни среди людей не найти ничего хотя бы отдаленно схожего, и художественность чекан-

ки фальшивых слов и жестов зависит здесь не от отдельного, случайного дарования, не от какой-либо исключительной натуры. Нет, тут нужна *порода*! Все иудейство – серьезнейшая, развивавшаяся на протяжении сотен лет практика и техника иудаизма – достигает окончательного совершенства в христианстве – искусстве святой лжи. Христианин, ultima ratio[1] лжи, – это иудей вдвойне, нет – *втройне*... Принципиальное желание и намерение пользоваться лишь теми понятиями, символами, жестами, какие подтверждены практикой жрецов, инстинктивное неприятие любой *иной* практики, любого *иного* подхода к ценности и пользе, – все это не просто традиция, это – *наследственность*: лишь наследственность творит как сама природа. Все человечество обманулось – даже лучшие умы всех времен обманулись (за вычетом одного, который, быть может, вовсе нелюдь). Евангелие читали как *книгу невинности* – немалый намек на то, с каким же искусством тут лицедействуют. – Конечно, случись нам увидеть их воочию, хотя бы мельком, хотя бы на ходу, – замысловатых ханжей и профессиональных святош, – и всему бы наступил конец, – я же, читая слова, всегда вижу за ними жесты: вот почему *я и кончаю с ними*... Терпеть не могу их манеру возводить очи. – К счастью, для большинства людей книги – только *писанина* – – Нельзя дать ввести себя в заблуждение; они говорят: «Не судите!», а сами отправляют в преисподнюю все, что встает у них на пути. У них судия – бог, но судят-то за него они сами; они возвеличивают бога, а в его лице – самих себя; они *требуют* добродетелей, какими обладают сами же, и более того – тех, без которых не могли бы сохранить свое верховенство, – создается видимость, будто они стремятся к добродетели и борются за ее утверждение. «Мы живем, и умираем, и жертвуем собою *ради блага*» (или «истины», или «света», или «царства божия»), – на деле они делают то, чего не могут никак перестать делать. Тихони и святоши, они крадутся неслышно, сидят по углам, в тени словно тени, – все это вменяется ими в *обязанность*: раз обязанность, они живут смиренно, а смирение лишний раз доказывает благочестивость... Ах, какая смиренная, целомудренная, милосердная лживость!

---

1 конечное основание (*лат.*). – *Прим. пер.*

«Сама добродетель свидетельствует в нашу пользу»... Читайте евангелия как книги, вводящие в соблазн *нравственностью*: они, эти люди, наложили свою лапу на мораль, – а вы ведь знаете, как обстоит дело с моралью! Удобнее всего *водить* человечество *за нос* посредством морали! – Действительность же такова: *самомнение избранных* абсолютно сознательно играет в смирение; «общину», «благих и праведных» раз и навсегда поставили по одну сторону (это сторона «истины»), – а остаток, «мир», – по другую... *Вот* самый роковой вид мании величия, какой когда-либо существовал на земле: ничтожные уроды-ханжи и лжецы начали притязать на понятия «бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» – словно бы это были синонимические обозначения их самих, – начали отгораживаться от остального «мира»; иудейская мелкота – иудейская в совершенной степени и созревшая для того, чтобы заселить собою все бедламы мира, – принялась перелицовывать ценности по *своему* разумению – так, как если бы христианин был смыслом, солью, мерой и даже «Страшным судом» всего, что остается от человечества... Этакая фатальность! Она стала возможной вследствие того, что уже существовала родственная, близкая по породе мания величия – *иудейская*; как только между иудеями и иудео-христианами разверзлась пропасть, у последних не оставалось выбора – им пришлось применить *против* самих иудеев те самые процедуры самосохранения, на какие толкал иудейский инстинкт; прежде иудеи пользовались ими лишь против *не*иудеев. Христианин – все тот же иудей более «вольного» пошиба.

45.

Вот образчики того, что вдолбили себе эти ничтожества, что *вложили в уста* своего учителя, – сплошь признания «прекрасных душ»...

«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу» (Мк 6,11). – Ах, как это *по-евангельски*!..

«А кто соблазнит одного из малых сил, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Мк 9, 42). – Ах, как *по-евангельски*!..

«И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную...» (Мк 9, 47). –Подразумевается же отнюдь не глаз.

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк 9, 1). – *Хорошо наврал*, лев...

«Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. *Ибо...» (Примечание психолога:* христианская мораль опровергается этими «ибо»; ее «основания» ее опровергают – это по-христиански) (Мк 8, 34). –

«Не судите, *да* не судимы будете. Какою мерою мерите, такою и *вам* будут мерить» (Мф 7:1). – Какое же понятие о справедливости, о «праведном» судье!..

«Ибо если вы будете любить любящих вас, *какая вам награда*? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, *что особенного делаете*? Не так же ли поступают и мытари?» (Мф 5, 46). – Принцип «христианской любви»: надо, чтобы в конце концов ее хорошо *оплачивали*...

«А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6, 15). – Это сильно компрометирует так называемого отца...

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (<Мф 6, 33>). «Все» – значит еда, одежда, все необходимое для жизни. Мягко говоря, *заблуждение*... Незадолго до того бог являлся в роли портного, по крайней мере в известных случаях...

«Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их» (Лк 6, 23). *Бесстыжая* чернь! Уже и с пророками сравнивают себя...

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, *того покарает Бог: ибо* храм Божий свят; а *этот храм – вы»* (1 Кор 3, 16). – К подобным вещам нельзя отнестись с достаточным презрением...

«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же *вами* будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» (1 Кор 6, 2). Увы! не просто речь безумца... Этот *чудовищный обманщик* продолжает затем: «Разве не знаете, что *мы* будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские!»...

«Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир *своею* мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но *Бог избрал* немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор 1, 20 сл.). Чтобы *понять* это место – свидетельство первостепенной важности для психологии чандалы с ее моралью, читайте первый раздел моей «Генеалогии морали» – там впервые выявлена противоположность морали *аристократической* и морали чандалы, рождаемой ressentiment'ом и бессильной местью. Павел был величайшим из апостолов мщения...

46.

Что же следует отсюда? Что недурно надевать перчатки, когда читаешь Новый завет. Уже близость нечистот вынуждает поступать так. Допускать в круг своего общения «первых христиан» – это все равно, что допускать в него польских евреев. И тут даже не требуется никаких аргументов... Те и другие дурно пахнут.[1] – Напрасно отыскивал я в Новом завете хотя бы одну симпатичную черту – ни независимости, ни доброты, ни откровенности, ни прямодушия... Человечности тут и не бывало, – не выработался еще инстинкт *чистоплотности*... В Новом завете сплошь дурные инстин-

---

1 *Допускать в круг ... дурно пахнут* – Пер. ред. В издании 1906 года, по которому переводил Михайлов, эти предложения были. Тем не менее при публикации перевода в 1989 г. они были опущены.

кты, и нет мужества сознаться в них. Сплошная трусость: на все закрывают глаза, обманывают самих себя. После Нового завета любая книга покажется чистой; вот пример: непосредственно после Павла я с восторгом читал самого прелестного и дерзкого насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то самое, что Доменико Боккаччо писал герцогу Пармскому о Чезаре Борджа: «è tutto festo» – он наделен бессмертным здоровьем, бессмертной веселостью и во всем превосходен... Ничтожные ханжи просчитались в главном. Они на все наскакивают, но на что ни наскочат, все этим *отмечено* – все замечательно. На кого нападет «первый христианин», тот об него *не* измарается... Напротив, если «первые христиане» против тебя, это делает тебе честь. Читая Новый завет, чувствуешь симпатию к тому, что́ там попирают ногами, – не говоря уж о «мудрости мира сего», которую наглый болтун напрасно пытается посрамить «юродством проповеди»... Даже книжники и фарисеи выигрывают от таких неприятелей: должно быть, они чего-то да стоили, коль скоро ненавидели их столь непристойным манером. Лицемерие – вот уж упрек к лицу «первым христианам»!.. В конце концов книжники были *привилегированным* сословием – этого достаточно, морали чандалы не требуется иных оснований. «Первый христианин» – боюсь, последний тоже *(его я, быть может, еще застану)* – бунтует против привилегий, следуя самому подлому своему инстинкту: он всегда живет и борется за *«равные* права»... Если пристальнее всмотреться, у него нет другого выбора. Если тебе угодно быть «избранником божьим», или «храмом божьим», или «судить ангелов», тогда любой *иной* принцип отбора, – например, по порядочности, по уму, по мужественности и гордому достоинству, по красоте души и щедрости сердца, – это просто «мир», то есть *зло в себе*... Мораль: каждое слово в устах «первых христиан» – ложь, каждый их поступок – инстинктивная фальшь, все их ценности и цели вредоносны, а *ценностью обладает тот, кого* они ненавидят, обладает то, *что* они ненавидят... Христианин, особливо христианин-жрец, – это особый *критерий ценности* – – Надо ли говорить, что во всем Новом завете *только одно* лицо вызывает уважение к себе и что это Пилат, наместник Рима? Принимать *всерьез* иудейские перебранки?

Нет, на это он не пойдет. Иудеем больше, иудеем меньше – что ему?.. Аристократическая насмешка римлянина, перед которым бесстыдно злоупотребляют словом «истина», обогатила Новый завет единственно *ценным* высказыванием – в нем критика и *уничтожение* самого же христианства: «Что есть истина?»...

47.

– *Нас* разделяет не то, что мы не находим бога – ни в истории, ни в природе, ни по-за природой... Нас разделяет то, что почитаемое богом мы воспринимаем не как «божественное», а как далекое, пагубное и абсурдное, не как заблуждение, а как *преступление перед жизнью*... Мы отрицаем бога как бога... Если бы нам *доказали*, что христианский бог существует, мы бы еще меньше веровали в него. – Согласно формуле: deus qualem Paulus creavit, dei negatio[1]. – Религия типа христианской, ни в одной точке не соприкасающаяся с действительностью и немедленно гибнущая, как только мы признáем правоту действительности хотя бы в одной точке, такая религия не может не враждовать с «мудростью мира сего», сиречь с *наукой*, – она благословит все средства, пригодные для того, чтобы отравить, оклеветать, осрамить дисциплину духа, честность и строгость в делах, затрагивающих совесть духа, благородную холодность и независимость духа. Императив «веры» налагает *вето* на науку – in praxi[2] сие означает: ложь любой ценой... Павел *понял*, что нужна ложь, то есть нужна «вера»; позднее церковь поняла Павла. – «Бог», выдуманный Павлом, бог, посрамляющий «мудрость мира сего» (значит, в узком смысле слова двух великих супротивниц суеверия – филологию и медицину), – на самом деле всего лишь категорическая *решимость* самого Павла «посрамить»: называть же «богом» свою собственную волю, тору, – исконно иудейское обыкновение. Павел *вознамерился* посрамить мудрость мира сего, его враги – хо-

---

1 Бог, каким его сотворил Павел, есть отрицание бога *(лат.)*. – *Прим. пер.*

2 на практике *(лат.)*.

рошие филологи и врачи александрийской выучки; им-то и объявляет он войну. И верно: нельзя быть филологом и врачом, не будучи при этом *антихристианином.* Ведь филолог видит, чтó стоит *за* «священными книгами», а врач видит, чтó стоит *за* физиологической деградацией типичного христианина. Врач говорит: «Неизлечим»; филолог говорит: «Подлог»...

48.

Понят ли, собственно говоря, знаменитый рассказ начала Библии – рассказ о боге, который испытывает адский страх перед *знанием*?.. Нет, не понят. Книга жрецов par excellence, ясное дело, начинается с тех огромных внутренних трудностей, какие переживает жрец: для жреца существует только одна серьезная опасность, значит, и для бога тоже...

Ветхий бог – сплошной «дух», первосвященник и само совершенство – прогуливается по своему саду. Только что ему скучно. И боги тоже безуспешно борются со скукой. Что ж делать? Он выдумывает человека – тот его развлечет... Но смотри-ка, и человеку скучно. И милосердие бога не знает границ: он сжалился над единственной бедой всякого рая и создал других животных. *Первая* ошибка: животные вовсе не развлекли человека, – он стал господином их и вовсе не намеревался быть сам «животным». – Тогда бог создал женщину. И тут скуке, верно, пришел конец – но и многому другому! Женщина была *второй* ошибкой бога. – «Женщина по своей сути змея, Ева» – это знает каждый жрец; *«Все* беды – от женщины» – и это он знает. *«Следовательно,* от нее и *знание»*... Лишь из-за женщины человек вкусил от древа познания. – Что же произошло? Ветхим богом овладел адский страх. Оказалось, что человек – *самая большая* из его ошибок, он в нем создал соперника себе, – благодаря знанию становишься *как бог,* – так что конец жрецам и богам, если только человек станет ученым! – *Мораль:* наука запретна как таковая, она одна и находится под запретом. Наука – *первый* грех, зародыш всякого греха, *первородный* грех. *Только в том и мораль...* «Ты *не* должен познавать» – все остальное вытекает отсюда. – Адский страх не поме-

шал богу поступать благоразумно. Как *воспрепятствовать* науке? Это на долгое время стало основной проблемой, волновавшей его. Ответ: надо изгнать человека из рая! Счастье, праздность наводят на мысли, а все мысли – дурные... Человек не должен думать. – И «жрец в себе» изобретает беды, смерть, беременность с ее болями, все мыслимые виды нищеты, дряхлости, трудов, прежде всего *недуги* – всё годные средства борьбы с наукой! Нужда помешает человеку думать... И однако! О ужас! Дело познания растет, высится, штурмует небеса, несет с собой сумерки богам, – что делать?! – Ветхий бог придумывает *войны*, он разделяет народы, он добивается того, чтобы люди уничтожали друг друга (жрецам всегда была нужна война...). Война помимо прочего великая помеха науке! – Невероятно! Несмотря на войны возрастают познание и *независимость от жреца!..* И тогда ветхий бог принимает последнее решение: «Человек стал ученым, – *ничего не поделаешь, надо его утопить!»*...

49.

Вы меня поняли. Начало Библии содержит *полную* психологию жреца. – Одно опасно для жреца – наука, здравое разумение причин и следствий. Однако наука в целом процветает лишь при благоприятных обстоятельствах, – чтобы «познавать», нужен *излишек* времени, излишек ума... «*Следовательно*, надо сделать человека несчастным», – вот во все времена логика жреца. – Вы уже угадываете, что, согласно этой логике, появилось вслед за тем на свет, – *«грех»*... Понятия «вины» и «кары», весь «нравственный миропорядок» – все это придумано как средство против науки – *против* отделения человека от жреца... *Нельзя*, чтобы человек выглядывал наружу; надо, чтобы он всегда смотрел только внутрь себя; *нельзя*, чтобы он умно и осторожно вглядывался в вещи, не надо, чтобы он вообще замечал их: пусть он *страдает!..* И пусть страдает так, чтобы поминутно испытывать потребность в жреце. – Долой врачей! *Нам нужен спаситель.* – Понятия вины и кары, включая сюда и учение о «благодати», об «искуплении», о «прощении», – *ложь* от начала до конца, лишенная какой бы то ни было психоло-

гической реальности, – все это придумано для того, чтобы разрушить в человеке *чувство причинности*, все это – покушение на понятие о причинах и следствиях! – Притом покушение, совершенное не голыми руками и не с кинжалом в руке, не с открытой и честной ненавистью и любовью в душе! Покушение самых хитрых, трусливых, низменных инстинктов! Покушение *жрецов, паразитов*! Вампиризм бледных подпольных кровопийц!.. Если естественные последствия поступка уже не признаются «естественными», если считается, что их произвели суеверные призраки понятий – «бог», «духи», «души», что они суть лишь «моральные» последствия поступка – награды, кары, знамения, средства назидания, – то тогда предпосылки познания уничтожены и это означает, что *совершено величайшее преступление перед человечеством*. – Скажем еще раз: грех, форма самооскопления человека par excellence, придуман для того, чтобы сделать невозможными науку, культуру, возвышение, благородство человека; выдумав грех, жрец *царит*. –

50.

Не упущу случай изложить сейчас психологию «веры», «верующих» – и по справедливости в пользу самих «верующих». Сегодня еще есть немало таких, кто не ведает, сколь *неприлично* быть «верующим», – признак décadence'а, сломленной воли к жизни, – назавтра это узнают все. Мой голос достигнет и до тугоухих. – Если только я не ослышался, у христиан в ходу критерий истины, называемый «доказательством силы». «Вера спасает, – *значит*, она истинна». – Уместно было бы возразить – спасение, блаженство, еще не доказано, а только обещано: блаженство поставлено в зависимость от «веры» – спасешься, *если* будешь веровать... Но как доказать, что обещания жреца сбудутся, – ведь они относятся к недоступному нашему контролю «миру иному»? – Итак, мнимое «доказательство силы» – не что иное, как вера в то, что следствие веры не преминет наступить. Вот формула: «Верую, что вера спасает, – *следовательно*, она истинна». – Ну вот мы и закончили. Ведь это «следовательно» – воплощенный absurdum. – Однако если мы чуточку усту-

пим и предположим, что спасение верой доказано (*не* просто желательно и *не* просто обещано устами жреца, всегда будящими сомнение), то разве блаженство, или, если выразиться терминологичнее, разве *удовольствие* служило когда-либо доказательством истины? Отнюдь нет, скорее напротив: если чувство удовольствия соучаствовало в решении вопроса о том, что истинно, то это вызывает сильнейшее недоверие к «истине». Доказательство от «удовольствия» – это доказательство *в пользу* «удовольствия», и не более того; откуда, скажите на милость, могло взяться утверждение, будто именно истинные суждения доставляют большее удовольствие, нежели ложные, и что, в согласии с предустановленной гармонией, именно они непременно повлекут за собой приятные чувства? – Опыт всех строго мыслящих, глубоких умов учит *обратному*. Приходилось отвоевывать каждую полоску истины, жертвуя почти всем, к чему обыкновенно привязаны наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого необходимо величие души: служение истине – самая тяжкая служба. – Что же значит быть *порядочным* в делах духа? Это значит быть суровым к своему сердцу, презирать «красивые чувства», скрупулезно взвешивать каждое Да и Нет! – – – Вера спасает, – *следовательно*, она лжет...

51.

Что вера при известных обстоятельствах спасает, что блаженство не превращает навязчивую идею в идею *истинную*, что вера не сдвигает горы, а только при случае *воздвигает* их там, где их раньше не было, – все это достаточно проясняется, стоит хотя бы второпях пройтись по дому умалишенных. Проясняется, но *не* для жреца, – этот будет инстинктивно отрицать, что болезнь – это болезнь, а дом умалишенных – дом умалишенных. Христианство *нуждается* в болезни – примерно так, как греки нуждались в преизбытке здоровья: задняя мысль всей церковной системы спасения – сделать человека больным. А сама церковь? Разве ее идеал – не кафолический дом умалишенных? – Не вся земля как дом умалишенных? – Религиозный человек, какого

хочется церкви, – это типичный décadent; эпохи религиозных кризисов, овладевавших людьми, всегда отмечены эпидемиями неврозов; «внутренний мир» религиозного человека и «внутренний мир» перевозбужденных, переутомленных людей похожи как две капли воды; «высшие» состояния души – ценность из ценностей, вознесенных христианством над всем человечеством, – состояния эпилептоидные; церковь канонизировала in majorem dei honorem[1] безумцев или великих обманщиков... Однажды я позволил себе назвать методично вызываемым folie circulaire[2] христианский training покаяния и спасения (его всего лучше изучать теперь в Англии), – конечно, такой недуг принимается на хорошо подготовленной, то есть болезнетворной, почве. Никто не волен становиться христианином, никого нельзя «обратить» в христианство – сначала надо сделаться достаточно больным для этого... А мы, *смеющие* быть здоровыми *и* смеющие презирать, – сколь велико *наше* право презирать религию, которая научила не разуметь тело! Которая не желает избавляться от суеверий души! Которая обратила недостаточное питание в «заслугу»! Которая видит врага, дьявола, соблазн – в здоровье! Которая убедила себя в том, что «совершенная душа» может разгуливать в полусгнившем теле, и которая ради этого вынуждена была скроить для себя особое понятие «совершенства» – болезненную, бескровную, идиотски мечтательную «святость» – святость, заключающуюся лишь в ряду симптомов загубленного, слабосильного, безнадежно испорченного тела!.. Христианство в Европе с самого начала было движением отбросов, лишних элементов общества – они в христианстве домогаются власти. Христианство *не* означает деградации расы, в нем – агрегатное образование толпящихся, тяготеющих друг к другу форм décadence'а, какие стекаются отовсюду. *Не* порча самой античности, не порча ее *аристократизма* обусловила, как нередко думают, появление христианства, – надо со всей решительностью возражать ученым идиотам, утверждающим подобные вещи. Как раз к тому времени, когда больные, испорченные слои чандалы Римской империи усваи-

1 в вящую честь божию *(лат.)*. – *Прим. пер.*

2 циркулярный психоз *(фр.)*. – *Прим. пер.*

вали христианство, в самом прекрасном и зрелом своем виде наличествовал *противоположный тип* – аристократия. Однако большое число взяло верх; *победил* демократизм христианских инстинктов... Христианство не было обусловлено ни «национально», ни расово, – оно обращалось ко всем обездоленным, обойденным жизнью, у него повсюду были союзники. В глубине христианства живет rancune[1] больных людей, инстинкт, направленный *против* здоровых, *против* здоровья. Все хорошо уродившееся, гордое, озорное и, прежде всего, прекрасное вызывает у него боль в ушах и резь в глазах. Напомню слова Павла, которым цены нет: «бог избрал *немощное* мира, и *немудрое* мира избрал бог, и *незнатное* мира и *уничиженное*». *Вот* формула, in hoc signo[2] победил décadence. – *Бог, распятый на кресте,* – неужели до сих пор не понятно ужасное коварство этого символа? – *Божественно* все страдающее, распятое на кресте... Мы все распяты на кресте, – следовательно, *мы* божественны... Одни мы божественны... Христианство победило, а *более благородное* умонастроение погибло в борьбе с ним. До сих пор христианство – величайшее несчастье человечества. – –

52.

Христианство противостоит также всякой благоустроенности *духа,* – в качестве христианского в дело годится лишь больной разум, христианство берет сторону всего идиотского и клянет здоровый «дух» с его superbia[3]. Если же болезнь неотъемлема от христианства, то типично христианское состояние «веры» – непременно форма болезни, и церковь обязана отвергнуть все прямые, честные, научные пути познания – все они для нее *под запретом.* Даже сомневаться – грех... Полное отсутствие психологической чистоплотности выдает себя уже во взгляде жреца –это последствие décadence'а, стоит понаблюдать за истерическими барынями, рахитичными детьми, чтобы понять, что ин-

---

1 месть, злоба (*фр.*).

2 сим знаком *(лат.). – Прим. пер.*

3 высокомерие, гордыня *(лат.). – Прим. пер.*

стинктивная лживость, ложь ради лжи, неспособность глядеть прямо в глаза, идти прямиком, – это закономерное выражение décadence'a. «Вера» означает: ты не *хочешь* знать правду. Пиетисты – жрецы обоего пола – лживы, *потому что* нездоровы: их инстинкт *требует*, чтобы права истины не были удовлетворены и в самом малом. «То, что приводит к болезни – *благо*, а то, что идет от изобилия, сильное и полнокровное, – *зло*», – таково чувство верующего. *Непроизвольная ложь* – вот как я угадываю, кому на роду написано быть богословом. – Другой признак богослова – *неспособность к филологии*. Под филологией понимаем здесь, в самом общем смысле, умение хорошо читать – считывать факты, *не* искажая их ни интерпретацией, *не* утрачивая осторожности, терпения, тонкости в своем стремлении к уразумению. Филология – *эфексис*[1] интерпретации, – идет ли речь о книгах, о газетных новостях, о судьбах или о погоде, не говоря уж о «спасении души»… Богослов же всегда, будь то в Берлине или Риме, толкует и «слово писания», и переживание столь смело, – например, победу отечественного оружия в высшем свете псалмов Давидовых, – что филолог в отчаянии лезет на стенку. Да и что ему остается, если пиетисты и прочие швабские коровы-недотепы жалкие свои будни, копоть своего обыденного бытия обращают в чудо «благодати», «провидения», «священного опыта» посредством «перста божия»! Самого крохотного усилия духа, чтобы не сказать грана *благоприличия*, было бы достаточно, чтобы показать толкователю все неподобающее и ребячливое в таком злоупотреблении ловкостью перстов господних. Будь в нас самомалейшая крупица благочестия, и бог, который вовремя излечивает нас от насморка и подает нам карету за секунду до того, как начнется страшный ливень, показался бы столь абсурдным, что, даже если бы он существовал, следовало бы сделать так, чтобы его больше не было. Бог-посыльный, бог-письмоноша, бог – предсказатель погоды – в сущности обозначение самых нелепых случайностей, совпадений… «Божественное провидение», в которое в нашей «культурной Германии» продолжает верить каждый третий, может служить самым сильным аргу-

1 настоятельность *(греч.)*. – *Прим. пер.*

ментом против бога. И во всяком случае это аргумент против немцев!..

53.

Что *мученичество* доказывает истинность чего-либо – это столь ложно, что мне не хотелось бы, чтобы мученики когда-либо якшались с истиной. Уже тон, в котором мученик швыряет свои мнения в головы людей, выражает столь низкий уровень интеллектуальной порядочности, такую *бесчувственность* к «истине», что мучеников и не приходится опровергать. Истина ведь не то, что у одного будет, а у другого нет: так в лучшем случае могут рассуждать крестьяне или крестьянские апостолы вроде Лютера. Можно быть уверенным: чем совестливее человек в делах духа, тем он *скромнее* и умереннее. Скажем, он *сведущ* в пяти вещах и тогда очень деликатно отрицает, что сведущ *еще в чем-либо* сверх того... А «истина» в разумении пророков, сектантов, вольнодумцев, социалистов и церковников вполне доказывает нам, что тут не положено и самое начало дисциплины духа и самопреодоления – того, без чего не открыть и самой малой, мельчайшей истины. – Кстати заметим: мученические смерти – большая беда для истории: они *соблазняли*... Умозаключение всех идиотов, включая женщин и простонародье: если кто-то идет на смерть ради своего дела, значит, в этом деле что-то да есть (тем более, если «дело» порождает целые эпидемии самогубства). Однако такое умозаключение сделалось невероятным препятствием для исследования – для критического, осторожного духа исследования. Мученики *нанесли ущерб* истине... И сегодня необдуманных преследований достаточно, чтобы самая бездельная секта начала пользоваться *почетом* и уважением. – Как?! Неужели ценность дела меняется от того, что кто-то жертвует ради него жизнью? – В почтенном заблуждении лишний соблазн: не думаете ли вы, господа богословы, что мы дадим вам повод творить мучеников вашего лживого дела? – Кое-что можно опровергнуть, почтительно положив под сукно; так опровергают и богословов... Всемирно-историческая глупость состояла именно в том, что преследователи прида-

вали делу своих врагов видимость чего-то почтенного, – они даровали ему притягательную силу мученичества... Еще и сегодня женщины склоняются перед заблуждением – ведь им сказали, что некто умер за него на кресте. *Разве крест – аргумент?* – – Но обо всем этом лишь один сказал слово, какого ждали тысячелетия, – *Заратустра.*

Кровавыми знаками отмечен путь, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью доказывают истину.

Но кровь наихудшее доказательство истины; кровь отравляет самое чистое учение до безумия и ненависти сердец.

А если кто и идет на костер из-за своего учения, – что это доказывает! Куда правдивее, когда из собственного пожара выходит собственное учение.

54.

Не дадим сбить себя с толку: великие умы были скептиками. Заратустра – скептик. Сила и *независимость,* проистекающие из мощи, из сверхмогущества духа, *доказываются* скепсисом. Люди с убеждениями совсем не к месту, когда затрагивается ценность чего-либо существенно важного. Убеждения что темница. Не много видишь вокруг себя, не оглядываешься назад, – а чтобы судить о ценном и неценном, нужно, чтобы ты *преодолел, превзошел* пять сотен своих убеждений... Стремящийся к великому ум, если он не пренебрегает средствами, непременно станет скептическим. Независимость от любых убеждений *неизбежна* для сильного, для умеющего вольно обозревать все окрест... Великая страсть – основа и сила его бытия, просвещеннее, деспотичнее его самого, – занимает без остатка весь его интеллект, учит его не церемониться понапрасну, внушает ему мужество пользоваться далеко не святыми средствами и при определенных обстоятельствах даже *позволяет* ему иметь убеждения. Убеждение как *средство:* немало есть такого, чего можно достичь лишь благодаря убеждениям. Великая страсть нуждается в убеждениях и пожирает их; она не покорствует им, – она суверенна. – Напротив: потребность в вере, в безусловных Да и Нет, карлейлизм, если простят мне это слово,

– это потребность *слабого*. Человек веры, «верующий» – во что бы он ни веровал, – это непременно зависимый человек, он не полагает *себя* как цель, вообще не полагает себе цели так, чтобы опираться на самого себя. «Верующий» не принадлежит *сам себе*, он может быть лишь средством, его *пускают в дело*, ему самому нужен кто-то, кто пожрет его. Он инстинктивно превыше всего ставит мораль самоотречения – к тому подводит его все: благоразумие, опыт, тщеславие. Любая вера выражает самоотречение, самоотчуждение... Если поразмыслить над тем, что подавляющему большинству людей крайне необходим регулирующий принцип, который вязал бы их извне, что принуждение, *рабство* в более высоком смысле слова – это первое и единственное условие процветания слабовольных людей, особенно женщин, начинаешь понимать смысл убеждений, «веры». Убеждения для таких людей – внутренний стержень. *Не* замечать многого, ни в чем не быть независимым, во всем односторонность, жесткое и предопределенное извне ви́дение любых ценностей – иначе такому человеку не выжить. Но тогда он *антагонист* истины, прямая ей противоположность... Верующий вообще не волен решать вопрос об «истинном» и «неистинном» по совести: будь он порядочен в *этом*, он незамедлительно погибнет. Его ви́дение патологически предопределено: так из человека с убеждениями вырастает фанатик – Савонарола, Лютер, Руссо, Робеспьер, Сен-Симон, – тип, противостоящий сильному уму, сбросившему с себя цепи принуждения. Однако грандиозная поза этих *больных* умов, этих эпилептиков рассудочности производит свое действие на массу, – фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать *доводы*...

55.

Еще шаг вперед в психологии убеждений, «веры». Я уже давно предложил для размышления тему: не опаснее ли для истины убеждение, нежели ложь («Человеческое, слишком человеческое», с. <331>). На сей раз я хотел бы поставить вопрос ребром: существует ли вообще противоположность лжи и убеждения? – Все думают: да, существует, – но чего

только не думают «все»! – У каждого убеждения своя история, свои праформы, свои пробы и ошибки; убеждение постепенно *становится* таковым, а до того оно долгое время *не* было убеждением и еще более длительное время *почти* не было убеждением. Так как же? Разве среди всех эмбриональных форм убеждения не встречалась ложь? – Иной раз достаточно лишь сменить носителя: для сына убеждение то, что в отце его было ложью. – Вот что я называю ложью: *не* желать видеть то, что видишь, и *так*, как видишь; вовсе не существенно, лжешь ты при свидетелях или наедине с собою. Лгать самому себе – самое обыкновенное дело; если ты лжешь другим, это уже (относительно) исключение. – А надо сказать, что *не*желание видеть то, что видишь, и *таким*, как видишь, – почти что главное условие для человека *партии*, в каком бы то ни было смысле; он непременно становится лжецом. Так, немецкая историография убеждена, что в Риме царил деспотизм, а германские племена принесли в мир принцип вольности, – так где же тут разница между убеждением и ложью? Стоит ли после этого удивляться тому, что все партии, в том числе и партия немецких историков, привычно произносят высокопарную мораль, – мораль ведь, можно сказать, и не умирает потому, что люди всевозможных партий всякий миг испытывают в ней потребность. – «Таково *наше* убеждение; его мы исповедуем пред всем миром, мы живем и умираем ради него – мы требуем, чтобы убеждения уважались!»... Такие речи я слышал даже от антисемитов. Совсем все наоборот, господа! Антисемит не становится приличнее оттого, что лжет согласно принципу... У жрецов в таких вещах более тонкий нюх, и они прекрасно понимают возражение, заключенное в понятии убеждения, то есть принципиальной – целенаправленной лживости. А потому они усвоили благоразумный прием иудеев и вместо «убеждения» говорят – «бог», «воля божья», «откровение господне». И Кант с его категорическим императивом шел тем же путем – его разум сделался в этом отношении *практическим*. – Есть, мол, вопросы, где *не* человеку решать, в чем правда; самые высшие вопросы, самые высшие проблемы ценности недоступны человеческому разуму, они по ту сторону его... Постигать границы разума – *вот* настоящая философия... Для чего бог дал че-

ловеку откровение? Разве бог стал бы делать лишнее и ненужное? Человек и о себе самом не знает, что хорошо, что дурно, вот бог и научил его, в чем воля божья... Мораль: жрец *не* лжет; в том, что говорит жрец, нет «истинного» и «неистинного», потому что в таких вещах невозможно лгать. Чтобы лгать, надо иметь возможность решить, *что* здесь истинно. А человек на это не способен, посему жрец – рупор господень. – Такой жреческий силлогизм свойствен не только иудаизму и христианству; и право на ложь, и аргумент с *благоразумностью* «откровения» – все это неотъемлемо от типа жреца, все равно – жреца ли décadence'а или жреца языческого (язычники – все те, кто говорит жизни Да, для кого «бог» – великое Да, сказанное жизни). – «Закон», «воля божья», «священная книга», «боговдохновенность», – сплошь обозначения условий, *при* которых достигает власти и удерживает свою власть жрец; такие понятия отыщутся в глубине любых жреческих устроений, любых жреческих или философско-жреческих систем господства. «Святая ложь» – она равно присуща Конфуцию, законам Ману, Мухаммеду, христианской церкви... Есть она и в Платоне. «Вот истина» – эти слова, где только они ни раздаются, означают одно: *жрец лжет*...

56.

Напоследок важно, ради чего лгут. Христианство не ведает «священных» целей – таково *мое* возражение против его средств. Сплошь *дурные* цели – клеветать на жизнь, отравлять и отрицать ее, презирать тело, унижать и оскоплять человека понятием «греха». Раз так, все средства дурны. – Законы *Ману* я читаю с противоположным чувством – несравненно более духовная, высоко стоящая книга! И упоминать ее на одном дыхании с Библией – грех против *духа*. Сразу догадываешься: за нею, *в* ней настоящая философия, а не дурно пахнущий раввинско-суеверный иудаин; даже самому избалованному психологу она задает задачки. *Не* забыть о главном – о фундаментальном отличии от любой библии: благодаря законам Ману рука *благородных* сословий, философов и воинов, подъята над чернью, во всем – ари-

стократические ценности, ощущение совершенства, Да, обращенное к жизни, торжествующее чувство благополучия, внутреннего и внешнего... Вся книга залита *солнцем.* – Здесь серьезно и доверительно, с почтением и любовью обсуждаются вещи, на которые христианство изливает свою бездонную гнусность, – зачатие, женщины, брак. А можно ли давать в руки женщинам и детям книгу с такими подлыми словами: «во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа, – ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». И *вправе* ли кто-либо быть христианином, если самому возникновению человека понятием *immaculata* conceptio[1] придан христианский, то есть *грязный,* смысл?.. Не знаю другой книги, где бы о женщине говорились столь чуткие и добрые слова, как закон Ману, – эти седобородые святые старики умели учтиво обращаться с женщинами. Так, в одном месте говорится: «Уста женщины, грудь девицы, молитва ребенка, дым жертвы вечно чисты». А в другом: «Ничего нет чище света солнца, тени коровы, воздуха, воды, огня и дыхания девушки». И, наконец, последнее – быть может, тоже святая ложь: «Все отверстия тела выше пупка чисты, ниже – нечисты. Только у девушки все тело чисто».

57.

Застигаешь in flagranti[2] всю *несвятость* средств христианства, – стоит только сопоставить *христианские* цели и цели законов Ману, стоит только ярким светом осветить их противоположность. Критик христианства неизбежно выявит всю его *презренность.* – Законы Ману возникали, как любой порядочный свод законов, – они обобщали опыт, уроки, практическую мораль веков, подводили черту подо всем этим, не создавали ничего нового. Вот предпосылка кодификации – все понимают, что способы доставить авторитет истине, добытой временем и доставшейся дорогой ценою, решительно отличны от тех, с помощью которых истина

---

1 непорочное зачатие (*лат.*). – *Прим. пер.*

2 на месте преступления (*итал.*). – *Прим. пер.*

доказывается. Кодекс законов не толкует о пользе законов, о причинах их установления и не занимается казуистикой их предыстории – вот тогда-то он утратил бы императивный тон («ты обязан!»), главное условие послушания. В этом вся проблема. – В определенный момент развития народа один из слоев его – самый осмотрительный, то есть смотрящий вперед и оглядывающийся назад, объявляет завершенным круг опыта – опыта, в согласии с которым дóлжно, а стало быть, и можно жить. Цель в том, чтобы по возможности полно, без потерь, собрать урожай экспериментов и опыта – *дурного*, отрицательного. Значит, прежде всего надо воспрепятствовать тому, чтобы длилось экспериментирование, чтобы ценности оставались в прежнем подвижном состоянии, чтобы продолжались исследование, критика, отбор их in infinitum[1]. Против этого воздвигают двойную стену – сначала *откровение:* утверждают, что разум этих законов будто бы *не* человеческой природы, что их будто бы отнюдь *не* искали и не находили лишь постепенно и путем ошибок, но что они – божественного происхождения и явились на землю все сразу и во всем совершенстве, без всякой истории, как чудо, как небесный дар... И другая стена – *традиция:* утверждают, что закон существовал с незапамятных времен, так что сомневаться в нем – неблагочестиво, преступно по отношению к предкам. Авторитет закона обосновывают такими положениями: бог *дал*, предки *жили* по закону. – Высшее благоразумие такой процедуры заключается в следующем намерении: постепенно, шаг за шагом, отдалять, оттеснять сознание от жизни – от жизни правильной, понятой как правильная (то есть *доказанной* на основании колоссального и придирчиво процеженного опыта), так, чтобы достигался полный автоматизм инстинкта, – а это предпосылка любого мастерства, любого совершенства в искусстве жить. Составлять кодекс, подобный законам Ману, – значит признавать за народом право сделаться мастером и обрести совершенство – признавать его притязания на высочайшее искусство жить. *Для этого жизнь должна перестать быть сознательной* – цель всякой святой лжи. – *Кастовая иерархия* (высший, над всем царящий закон)

---

1 до бесконечности *(лат.)*. – *Прим. пер.*

лишь освящает *порядок природы*, первостепенный естественный закон, над которым не властны ни произвол, ни какая-нибудь «современная идея». Во всяком здоровом обществе различаются и обусловливают друг друга три типа с разными в физиологическом смысле тяготениями центров тяжести – у каждого своя гигиена, своя сфера труда, свое особое мастерство и чувство совершенства. *Не* Ману, а природа разделяет людей духовных по преимуществу, людей по преимуществу мышечных, с сильным темпераментом и, наконец, третьих, не выдающихся ни в одном, ни в другом, посредственных. Третьи – большое число, а первые и вторые – элита. Высшая каста – назову их «теми, кого всех меньше», – будучи совершенной, обладает и преимущественными правами тех, кого меньше всех, – среди этих прав привилегия воплощать на Земле счастье, красоту и благо. Лишь наиболее духовным разрешена красота, разрешено прекрасное: лишь у них доброта не слабость. Pulchrum est paucorum hominum[1]: благое – это привилегия. Зато дурные манеры или пессимистический взгляд (глаз, все *безобразящий*) никому не воспрещены так, как им, – не говоря уж о возмущении тем, как вообще выглядят вещи в этом мире. Возмущаться – привилегия чандалы; тоже и пессимизм. *«Мир совершенен* – так говорит инстинкт самых духовных, инстинкт Да, – само несовершенство, все, что *ниже* нас, дистанция, пафос дистанции, даже чандала – все это тоже часть совершенства». Наиболее духовные – а они *самые крепкие* – обретают свое счастье в том, что грозило бы погибелью другим, – в лабиринте, в жестокости по отношению к себе и другим, в эксперименте; самообуздание им в радость; аскетизм становится в них природой, потребностью, инстинктом. Тяжесть задач – их привилегия, играть тяжестями, которые раздавят других, для них *отдых*... Познание – одна из форм аскетизма. – Нет более почтенной породы людей, но нет и более радостной и милой, – одно не исключает другого. Они господствуют не потому, что хотят, а потому, что они – господа; они не вольны быть вторыми. – *Вторые* – это стражи права, устроители безопасности и порядка, это благородные воины, это прежде всего *царь* – высшая

---

1 Красота – дело немногих людей *(лат.)*. – *Прим. пер.*

формула воина, судии, блюстителя закона. Вторые – исполнители, ближние самых духовных, берущие на себя все *грубо*материальное в трудах правления, – их дружина, их правая рука, их ученики и последователи. – И во всем, повторим, нет ничего произвольного, ничего надуманного, искусственного; все *иное* – искусственная постройка, а тогда растоптана природа... Порядок каст, *иерархия*, лишь формулирует высший закон самой жизни; различать три типа необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь общества, обеспечивать существование более высоких и наивысших типов человека: *неравенство* прав – первое условие для того, чтобы существовали права. – Право – значит преимущественное право, привилегия. У всякого свое бытие – и свои преимущественные права. Не будем недооценивать права *посредственностей*. Чем *выше*, тем тяжелее жить, – холод усиливается, возрастает ответственность. Высокая культура всегда строится как пирамида: основание широко, предпосылка целого – консолидированная, крепкая и здоровая посредственность. Ремесло, торговля, земледелие, *наука*, бо́льшая часть искусств, короче, вся совокупность профессиональной деятельности, – все это сочетается лишь со средним уровнем умений и желаний; все подобные занятия были бы неуместны для человека исключительного, – необходимый для них инстинкт противоречил бы и аристократизму, и анархизму. Что ты общественно полезен, что ты и функция, и колесико, предопределено природой: *не* общество, а то *счастье*, на какое только и способно подавляющее большинство людей, превращает посредственность в разумную машину. Для посредственности быть посредственностью счастье; быть мастером в чем-то одном, быть специалистом – к этому влечет природный инстинкт. Совершенно недостойно сколько-нибудь глубокого ума видеть в посредственности как таковой некий упрек. Посредственность сама по себе есть *первое* условие того, чтобы существовали исключения, – посредственностью обусловлена культура в ее высоком развитии. Исключительный человек более чутко и нежно обходится с посредственными, нежели с собой и себе подобными, и это не просто деликатность, – это *долг*... Кого больше всего ненавижу я среди нынешней черни? Социалистическое отребье, апостолов чандалы, – они под-

рывают инстинкт рабочего с его малым бытием, с его радостями, с его способностью довольствоваться немногим, они распаляют в нем зависть, учат мщению... Не в неравенстве прав бесправие, а в претензиях на *«равные»* права... Что *дурно?* Но я уже сказал: дурно все, что идет от зависти, слабости, *мстительности.* – Анархист и христианин – одного поля ягода...

58.

И верно, не все равно, ради чего лгать, – укрепляешь ты или *разрушаешь.* Между *христианином* и *анархистом* можно смело ставить знак равенства – и цели их, и инстинкт – все направлено лишь на разрушение. Доказательство читайте в истории – она приводит его с ужасающей ясностью. Мы только что познакомились с религиозным законодательством, целью которого было «увековечить» наивысшее условие того, чтобы жизнь цвела, грандиозную организацию общества, – а христианство нашло свое призвание в том, чтобы как раз покончить с такой организацией – *именно потому, что жизнь в ней цвела.* Там надо было заложить на пользу грядущих поколений разумный урожай длительных экспериментов и долгих неурядиц, собрав его по возможности полно, изобильно, без потерь, – здесь, напротив, единым махом, нежданно-негаданно, *отравили* весь урожай... Великолепнейшая из всех достигнутых доныне (в условиях неблагоприятных) форм организации, *imperium Romanum,* стоявшая aere perennius[1], – в сравнении с нею все прочее частично, бесталанно, все любительская работа, – и вот святые анархисты сочли делом «благочестивым» разрушение «мира», *то есть* Римской империи, пока все не было перевернуто ими вверх дном и германцы с прочими хамами не овладели всем... И христианин, и анархист – оба décadents, оба способны только разрушать, отравлять, губить, *пить* чужие соки, *кровь;* тот и другой воплощают инстинкт *смертельной ненависти* ко всему прочному и великому, долговечному, дарующему жизни будущее... Христианство – вам-

---

1 долговечнее меди *(лат.).* – *Прим. пер.*

пир Римской империи; оно единым махом перечеркнуло великий подвиг римлян, готовивших почву для великой культуры, которая уже *располагала бы временем.* – Неужели это по-прежнему непонятно? Imperium Romanum, каким мы знаем ее, каким все лучше узнаём по истории римских провинций, это поразительнейшее творение в монументальном стиле, – оно было только началом, строительство было рассчитано на века, которые оправдали и *подтвердили* бы его... С тех пор так не строили – не мечтали строить так, sub specie aeterni[1]! – Организация была столь крепкой, что выносила и дурных императоров: случайной личности ничего не поделать с таким замыслом, – вот самый *первый* принцип архитектуры большого стиля. Но она была недостаточно прочной, чтобы противостоять наихудшему виду порчи – *христианину*... Нечисть скрытно, неслышно подкрадывалась в ночной кромешной тьме к каждому, тянула его соки, отнимая серьезный взгляд на *истину* вещей, отнимая инстинкт *реальности:* шайка трусливых, медоточивых и женоподобных разбойников постепенно, незаметно уводила с колоссальной стройки «дýши» самых ценных, мужественно-благородных людей, для которых цели Рима были делом всей их жизни, их пафоса, их *гордости.* Ханжеские происки, тайные сходки, мрачные понятия вроде ада или невинной жертвы – или unio mystica[2] кровопития, – а прежде всего медленно раздуваемое пламя мщения, мстительность чандалы, – вот что сделалось господином над Римом: та самая разновидность религии, с которой, еще до рождения ее, вел борьбу Эпикур. Читайте Лукреция и вы поймете, против чего боролся Эпикур – не против язычества, а против «христианства», я хочу сказать – против растления душ понятиями вины, кары и бессмертия. – Он боролся с «подпольными» культами, со всем скрытым христианством: отрицать бессмертие и в те времена было уже настоящим *спасением.* – И Эпикур победил бы, всякий уважающий себя человек в Римской империи был эпикурейцем, – *но тут явился Павел...* Павел, эта ставшая плотью и духом ненависть чандалы к Риму, ненависть к «миру», этот

1 под знаком вечности (*лат.*). – *Прим. пер.*

2 мистическое единение (*лат.*). – *Прим. пер.*

иудей, этот *вечный* жид par excellence... Вот о чем он догадался – он догадался, как, опершись на малозаметное сектантское движение христиан, отколовшихся от иудаизма, разжечь «мировой пожар», как, воспользовавшись символом «распятого бога», постепенно сложить в колоссальное воинство все пресмыкающееся по земле, все тайно бунтующее – все наследие анархических беспорядков в Римской империи. «Спасение от иудеев». – Христианство как формула – превзойти любые подпольные культы, культ Озириса, Великой матери богов, культ Митры, превзойти *и* сложить их: вот что понял Павел, вот в чем его гений. Инстинкт столь уверенно вел его, что он, безжалостно насилуя истину, вложил в уста сочинённому им «спасителю» (и не только в уста) все представления, какими способны были увлекать религии чандалы, – он превратил своего «спасителя» в нечто понятное даже и жрецу Митры... Вот в чем была суть «Дамаска», мгновенного обращения: Павел понял, что *нужна* вера в бессмертие, чтобы отнять ценность у «мира», – вооружившись понятием «ада», станешь господином даже над Римом, «мир иной» *убьет жизнь*... Нигилист/христ... – вот была бы рифма, и не только рифма...

59.

Весь труд античного мира – все *напрасно:* не нахожу слов, чтобы выразить чувство ужаса, какое охватывает меня. – А ведь то была лишь предварительная работа, гранитным самосознанием был заложен лишь самый фундамент для труда тысячелетий, – и весь смысл античного мира напрасен?!.. Для чего жили греки! Для чего жили римляне?.. Уже были созданы все предпосылки ученой культуры, все научные *методы,* уже сложилось великое, несравненное искусство хорошего чтения, – без этого немыслима традиция культуры, единство науки; естествознание в союзе с математикой и механикой развивались наилучшим образом; *чувство факта,* самое главное и ценное из чувств, создало целые школы и имело за собой века традиции! Понятно ли это? В руках уже было все *существенное* – оставалось приступить к работе: ведь методы – надо неустанно твердить это – методы – глав-

ное, самое трудное, то, чему дольше всего противятся привычка и лень. Все завоеванное нами сегодня, все завоеванное ценой несказанного самообуздания – потому что дурные инстинкты, христианские инстинкты, все равно сидят еще в каждом из нас, – все завоеванное вновь – независимый взгляд на реальность, терпеливость, осторожность и серьезность в самом малом, *честность и порядочность* познания – все это было, все это уже было более двух тысяч лет назад! А сверх того еще тонкий такт и вкус! Никакой дрессировки мозгов! Никакой «немецкой» культуры с манерами хама! Нет, такт и вкус – в теле, в жесте, инстинкте, одним словом, в самой реальности... Все напрасно! Мгновение, и от всего осталось одно воспоминание!.. Греки! Римляне! Благородство инстинкта, вкус, методичность исследования, гений организации, гений управления, вера в будущее, *воля к* грядущему, великое Да, произнесенное всему на свете, – и все это зримо, зримо как imperium Romanum, зримо для всех чувств, монументальный стиль уже не просто искусство, а реальность, истина, *жизнь*... И все это вдруг засыпано, разрушено – и не стихийным бедствием! Растоптано – и не германцами, не их тяжелым сапогом! Нет, все попрано хитрыми, скрытными, незаметными вампирами без кровинки в лице! И не победили они – просто выпили всю кровь!.. Коварная мстительность, мелочная завистливость возобладали! Все жалкое, страждущее, обуреваемое скверными чувствами, все *гетто* души – все это во мгновение ока всплыло *наверх*! – – Почитайте кого-нибудь из христианских агитаторов, пусть то будет, например, святой Августин, и вы поймете, вы *почуете*, что за грязные личности вылезли на поверхность. Мы обманулись бы, предположив неразумность в вождях христианского движения, – ох, как они умны, умны до святости, эти господа отцы церкви! Им недостает совсем иного. Природа пренебрегла ими – она забыла придать им толику честных, благопристойных инстинктов, инстинкт *чистоплотности*... Да между нами, они вовсе и не мужчины... Ислам презирает христианство, и по праву, тысячу раз по праву: исламу требуются *мужи*...

60.

Христианство лишило нас урожая античной культуры. Позднее отняло у нас жатву культуры *ислама*. Чудесный мир мавританской культуры Испании – он по сути родственнее *нам*, он больше говорит нашим чувствам, нашему вкусу, чем Греция и Рим, – и этот мир был *растоптан* (я уж не говорю, какими ногами), и почему? А потому, что он был обязан своим возникновением мужским инстинктам, потому, что он говорил Да жизни – жизни со всеми редкостными и утонченными прелестями мавританской цивилизации!.. Потом крестоносцы сражались с культурой, перед которой им приличнее было бы пасть ниц, – в сравнении с нею и наш XIX век, должно быть, все еще слишком бедный, слишком «поздний». – Конечно, им хотелось добычи, а Восток был богат... Давайте смотреть непредвзято! Крестовые походы – то же пиратство, чуть повыше классом, а больше ничего! Тут немецкое дворянство, то есть по сути дела аристократия викингов, чувствовала себя в своей стихии; церковь доподлинно знала, для чего немецкое дворянство существует на свете. Немецкое дворянство всегда было «швейцарской гвардией» церкви, испокон веку состояло на службе ее дурных инстинктов, но *платили ей хорошо*... Церковь вела ожесточенную войну со всем благородным, что только ни есть на земле, с помощью немецких мечей, немецкой крови, немецкого мужества! Сколько тут наболевших вопросов! В истории более высокой культуры *почти* никогда не встречаешь немецкого аристократа; нетрудно догадаться, почему... Христианство, алкоголь – два *главных* средства порчи... Тут будто бы и не было выбора: есть ислам и христианство, араб и иудей. Решение задано; никто не волен выбирать. Либо ты чандала, либо нет... «Война с Римом, война не на жизнь, а на смерть! Мир, дружба с исламом», – вот как чувствовал, вот как *поступал* великий вольнодумец, гений среди немецких императоров, Фридрих II. Как?! Неужели немец должен быть гением, должен быть вольнодумцем для того, чтобы испытывать *приличные* чувства? – Не понимаю, как немцы могли когда-либо чувствовать *по-христиански*...

61.

Мы вынуждены коснуться здесь другой материи, в тысячу раз более болезненной для немца. Немцы лишили Европу последнего великого урожая культуры – урожая *Ренессанса.* Его надо было сберечь для Европы. Понимаем ли мы в конце концов, *хотим* ли понимать, *чем* был Ренессанс? *Переоценкой христианских ценностей,* попыткой присудить победу *обратному* им, ценностям *аристократическим,* попыткой, предпринятой всеми средствами, всеми инстинктами, всем гением... До сих пор была только одна такая великая война и не было времени, когда бы вопросы ставились столь решительно, – и *мой* вопрос тоже задан Ренессансом, – никогда до сих пор *наступление* не велось основательнее, прямее, по всему фронту и с нацеленностью в самый центр! Чтобы наступать в решающем месте, в цитадели самого христианства, возвести на трон *благородные* ценности, то есть *в*нести их в самый инстинкт, в глубинные потребности и желания восседающих на престоле... Вижу перед собой одну *возможность,* – и она выступает в неземном блеске и волшебной игре красок, кажется, что она расцветает трепетными нюансами утонченной красоты и творит ее искусство столь божественное, столь чертовски божественное, что напрасно роешься в тысячелетиях, отыскивая вторую такую возможность; вижу зрелище столь многомысленное, столь чудесно парадоксальное, что и у богов Олимпа был бы повод разразиться своим бессмертным смехом. Вот это зрелище: *Чезаре Борджа – папа...* Вы поняли меня?.. Ну хорошо, *вот* была бы победа, какой алкаю ныне... Сим было бы *упразднено* христианство! – А что произошло вместо этого? Немец-монах по имени Лютер прибыл в Рим. И этот монах, со всеми мстительными инстинктами жреца-неудачника, засевшими в теле, возмутился в Риме *против* Ренессанса... Вместо того чтобы с глубокой благодарностью уразумевать в душе то чудовищно-колоссальное, что совершалось, – а именно преодоление христианства в самой его *цитадели,* – он лишь питал этим зрелищем свою ненависть. Религиозный человек думает только о себе. – Лютер увидел *порчу*

папства, тогда как можно было осязать руками обратное: древняя порча, peccatum originale[1], христианство, уже *не* восседало на троне пап! А восседала жизнь! Торжество жизни! Великое Да, обращенное ко всему высокому, прекрасному, дерзновенному!.. И Лютер *восстановил церковь* – он объявил ей войну... Ренессанс – событие, лишенное смысла, великое Напрасно!.. Ах, эти немцы, во что они нам встали! Любое «Напрасно» – дело рук немцев. – Реформация; Лейбниц; Кант и так называемая немецкая философия; «освободительные» войны; рейх – каждый раз новая «напрасность» чего-то уже народившегося, а теперь *безвозвратно утраченного*... Признаюсь: они *мои* враги, эти немцы; презираю в них нечистоплотность понятий и ценностей, презираю их *боязнь* прямого и честного Да и Нет. За тысячу лет они все залапали и сваляли, чего ни касались; любая половинчатость, любая трехчетвертность, все недуги Европы – все на их совести; на их совести и самое грязное христианство, самое неизлечимое, самое неопровержимое, – протестантизм... Если людям не удастся справиться с христианством, виноваты будут *немцы*...

62.

На этом я кончаю и выношу приговор. Я *осуждаю* христианство, я выдвигаю против христианской церкви самое страшное обвинение, какое когда-либо звучало в устах обвинителя. Она для меня худшая из всех мыслимых порч, она обладала волей к самой ужасной, самой крайней порче. Христианская церковь не пощадила ничего и испортила все, каждую ценность она обесценила, каждую истину обратила в ложь, всякую прямоту – в душевную низость. Попробуйте еще говорить о ее благой, «гуманной» миссии! *Устранять* беды не в ее интересах, она жила бедами, она творила бедствия, чтобы утвердиться навечно... Вот червь греха – этой-то бедой лишь церковь наградила человечество! – А «равенство душ перед богом»? Эта ложь, этот *предлог* для rancunes подлых людей, эта взрывчатка, обратившаяся те-

---

1 первородный грех *(лат.)*. – *Прим. пер.*

перь в революцию, современную идею и принцип гибели всего общественного правопорядка... *христианский* динамит... Благая, «гуманная» миссия христианства! Вырастить из humanitas[1] противоречие самому себе, искусство самооскопления, волю к лжи любой ценою, отвращение ко всем благим и пристойным инстинктам, презрение к ним! Вот вам гуманная миссия! – Паразитизм – *единственная* манера поведения церкви; чахоточные идеалы «святости» и высасывание крови до последней капли, с которой уходит вся любовь, вся надежда; «мир иной» – воля к отрицанию всякой реальности; крест – опознавательный знак подпольного, самого подпольного заговора, какой когда-либо существовал, – заговора против здоровья, красоты и стройности, смелости, ума и духа, против душевной *доброты, против самой жизни*...

Это вечное обвинение напишу на всех стенах, напишу всюду, где только есть стены, – у меня буквы, от которых прозреют и слепцы... Именую христианство одним сплошным великим проклятием, одной-единственной порчей, одним сплошным инстинктом мщения, для которого нет уродств слишком *мелких*, тайных, ядовитых, слишком подпольных; именую христианство одним-единственным несмываемым позорным пятном на теле человечества...

А мы-то ведем летоисчисление по dies nefastus[2], с которого началась вся фатальность, – по *первому* дню христианства! – *Отчего же не по его последнему дню? – Отчего не по сегодняшнему?* – Переоценка всех ценностей!..

---

1 человеческая природа, гуманность (*лат.*).

2 неблагой день (*лат.*). – *Прим. пер.*

Закон против христианства[1]
издан в День Спасения, первый день Первого Года
(30 сентября 1888 г. по ложному летоисчислению)

Смертельная война пороку: порок же есть христианство

Параграф первый. – Порочна всякого рода противоестественность. Самый порочный человек –священник: он *учит* противоестественному. Против священников нужны не доводы, а тюрьмы.

Параграф второй. – Всякое участие в богослужении есть покушение на общественную нравственность. К протестантам следует относиться суровее, чем к католикам, к либеральным протестантам суровее, чем к ортодоксальным. Близость христианина к науке является для него отягчающим обстоятельством. Следовательно, преступник из преступников – это философ.

Параграф третий. – Проклятые места, где христианство высиживало яйца своих василисков-базилик, надлежит сравнять с землей. Как *безумные* места Земли они должны стать страшным назиданием для потомков. Там следует разводить ядовитых гадов.

Параграф четвертый. – Проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием «скверны» есть настоящий грех против святого духа жизни.

Параграф пятый. – Запрещается есть за одним столом со священником: этим человек исключает себя из порядочного общества. Священник – это *наш* чандала – он должен быть вне закона, его следует морить голодом, гнать во всевозможные пустыни.

Параграф шестой. – «Священную» историю следует называть тем именем, которого она заслуживает, а именно *проклятая* история; словами «бог», «спасение», «спаситель», «святой» следует пользоваться как бранными словами, как клеймом преступника.

Параграф седьмой. – Прочее следует из вышеизложенного.

Антихрист

---

1 Перевод И. Эбаноидзе.

ECCE HOMO

Как становятся собою

Предисловие

1.

В предвидении, что недалек тот день, когда я выдвину человечеству самые суровые требования, которые перед ним когда-либо ставились, мне кажется необходимым сказать, *кто я такой*. В сущности это могли бы уже и знать: ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величием моей задачи и *ничтожеством* моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, – всего-навсего предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «образованным» человеком, приезжающим летом в Верхний Энгадин, чтобы убедиться, что я *не* живу... В этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности восстает моя привычка и еще больше гордость моих инстинктов, а именно – обязанность сказать: *Выслушайте меня! Ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не путайте меня с другими*!

2.

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, – я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами: как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно мне удалось, и, быть может, это произведение не имеет никакого иного смысла, как ясным и доброжелательным образом выразить названную противоположность. «Улучшить» человечество – было бы последним, что *я* мог бы обещать. Я не создаю новых идолов; пусть на-

учатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. *Низвергать идолов* (так называю я «идеалы») – скорее уж в этом мое ремесло. Ценность, смысл, истинность реальности были отняты у нее в той мере, в какой *измыслили* идеальный мир... «Мир истинный» и «мир кажущийся» – в переводе: *измышленный* мир и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, – из-за него само человечество сделалось изолгавшимся и фальшивым вплоть до самого дна своих инстинктов, до обоготворения ценностей, *обратных* тем, которые только и обеспечивали бы развитие, будущность, высокое *право* на будущее.

3.

– Кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *резкий* воздух. Надо быть созданным для него, иначе велика опасность простудиться. Рядом лед, одиночество чудовищно – но как безмятежно покоятся на свету все вещи! как легко дышится! сколь многое чувствуешь *ниже* себя! – Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и на высокогорье, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимо моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствии по *запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, по которым до сих пор морализировали и создавали идеалы: для меня вышла на свет *скрытая* история философии, психология ее великих представителей. – Сколько истины *выносит* дух, на сколько истины он *отваживается*? – вот что все больше становилось для меня настоящим мерилом ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*... Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *следует* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... Nitimur in *vetitum*[1]: под этим знаком победит не-

---

1 мы склонны к запретному (*лат.*). Цитата из Овидия: Ovid. Amores III 4, 17.

когда моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

4.

– Среди моих сочинений мой *Заратустра* стоит особняком. Им сделал я человечеству величайший подарок из всех, какие доставались ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только высшая из существующих на свете книг – настоящая книга воздуха высот: самый факт человека лежит чудовищно *ниже* ее, – она также книга *глубочайшая*, рожденная из сокровеннейшего богатства истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погрузившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не «пророк», не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Прежде всего надо правильно *вслушаться* в тон, исходящий из этих уст, в этот алкионический тон, чтобы не ошибиться жалким образом в смысле его мудрости. «Самые тихие слова – те, что приносят бурю. Мысли, приходящие на голубиных лапках, управляют миром». –

> Плоды падают со смоковниц, они хороши и сладки; и когда они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.
>
> Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и их сладкую плоть! Осень вокруг, и чистое небо, и время после полудня –

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют *веры*: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом; нежная медлительность – темп этих речей. Подобное доходит только до самых избранных; быть здесь слушателем – несравненное преимущество; никто не волен иметь уши для Заратустры... Не *соблазнитель* ли Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз снова возвращается в свое одиночество? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спа-

ситель мира» и прочий décadent... Он не только говорит по-иному, он и *есть* иной...

> Один ухожу я теперь, ученики мои! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.
>
> Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.
>
> Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.
>
> Плохо отплачивает учителю тот, кто всегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?
>
> Вы почитаете меня; но что если однажды *падет* почитание ваше? Берегитесь, как бы кумир не убил вас!
>
> Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы верующие в меня, – но что толку во всех верующих!
>
> Вы еще не искали себя, и вот вы нашли меня. Так поступают все верующие; поэтому всякая вера так мало значит.
>
> Теперь я призываю вас потерять меня и найти себя; и только *когда вы все отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

*
* *

В этот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только гроздья лозы наливаются соком, словно бы взгляд солнца упал на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, я *мог* спокойно похоронить его – то, что было в нем жизнью, спасено, стало бессмертным. *Переоценка всех ценностей*, *Дионисовы дифирамбы* и, для развлечения, *Сумерки идолов*, моя попытка философствовать молотом – все это дары этого года, даже его последней четверти! *Как же мне не быть благодарным всей моей жизни?* И вот я рассказываю себе мою жизнь.

* *
*

Почему я так мудр

1.

Счастье моего существования, его исключительность заложены, быть может, в его судьбе: если выразиться в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни – одновременно и décadent, и начало – если что и объясняет отличающую меня, наверное, нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни, то именно это. У меня более тонкое, чем у кого-либо из людей, чутье на признаки восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель par excellence – я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. – Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, милым и болезненным, как существо, которому не суждено задержаться в мире – он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. В том же году, в каком наступил слом в его жизни, пришла в упадок и моя: на тридцать шестом году жизни я дошел до низшего предела своей витальности – я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов перед собой. В то время – это было в 1879 году – я оставил профессуру в Базеле, прожил лето, как тень, в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую скупую на солнце зиму моей жизни, провел уже настоящей тенью в Наумбурге. То был мой минимум: за это время возник «Странник и его тень». Несомненно, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую генуэзскую зиму, то смягчение и одухотворение, которые обусловлены едва ли не крайним малокровием и слабостью мускулов, создали «Утреннюю зарю». Совершенная ясность и бодрость, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с глубочайшей физиологической слабостью, но да-

же с эксцессом чувства боли. Среди пытки непрерывной, продолжавшейся по три дня, головной боли, сопровождавшейся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика par excellence и очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях я недостаточно скалолаз, недостаточно рафинирован, недостаточно хладнокровен. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. – Все болезненные нарушения интеллекта, даже полуобморок, следующий за лихорадкою, до сих пор остаются для меня совершенно чуждыми вещами, о природе и периодичности которых я узнал только научным путем. Моя кровь течет медленно. Никто никогда не констатировал у меня лихорадку. Один врач, долго лечивший меня как нервнобольного, сказал наконец: «Нет! дело не в Ваших нервах, нервен лишь я сам». Совершенно ничем не подтверждается наличие какого-либо локального изъяна; никакой органически обусловленной желудочной болезни, хотя и, вследствие общего истощения, крайняя слабость гастрической системы. Также и болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, – лишь следствие, а не причина: так что как только возрастала жизненная сила, улучшалось и зрение. – Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление – оно означает, к сожалению, и рецидивы, упадок, своего рода периодический декаданс. Нужно ли мне после всего этого говорить, что я искушен в вопросах décadence? Я выучил его вдоль и поперек. Самому этому филигранному искусству схватывать и понимать, этим пальцам для нюансов, этой психологии «наблюдения из-за угла» и вообще всему, что мне свойственно, я научился именно тогда, – это настоящий подарок той поры, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Смотреть из оптики больного на *более здоровые* понятия и ценности, и наоборот, снова из полноты и уверенности *насыщенной* жизни бросать взгляд на тайную работу инстинкта декаданса – в этом я упражнялся дольше всего, это было моим настоящим опытом, если я в чем-то и стал мастером, то именно в этом. Теперь мне это сподручно, я набил руку на том, чтобы менять перспективы: вот первая причина,

почему, вероятно, лишь для меня одного вообще возможна «переоценка ценностей».

2.

Так что, не считая того, что я décadent, я еще и его противоположность. Мое доказательство этому, среди прочего, состоит в том, что против болезненных состояний я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства: тогда как décadent как таковой всегда выбирает вредные для себя средства. Как summa summarum я был здоров; как особый случай с подпольным оттенком я был décadent. Та энергия, направленная на абсолютное одиночество и высвобождение из привычных условий, принуждение себя к тому, чтобы не позволять больше заботиться о себе, обслуживать и *врачевать* себя – все это выдает безусловную уверенность инстинкта в том, *что* тогда требовалось прежде всего. Я сам взял себя в руки, я сам снова сделал себя здоровым: условие для этого – с чем согласится всякий физиолог – *чтобы человек был в основе здоров.* Типически болезненное существо не может стать здоровым, тем более сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным *стимулом* к жизни, к тому, чтобы жить больше. Таким на деле представляется мне *теперь* тот долгий период болезни: я словно бы заново открыл жизнь, включая самого себя, я распробовал всякие хорошие вещи, даже мелочи, так, как их совсем не легко распробовать другим, – я сделал из моей воли к здоровью, к *жизни*, мою философию... Ибо – обратите внимание – в те самые годы, когда моя витальность достигла своего низшего предела, я *перестал* быть пессимистом: инстинкт самовосстановления *воспретил* мне философию нищеты и уныния... А в чем в сущности можно распознать, что человек *удался*? В том, что удавшийся приятен нашим органам чувств, что он вырезан из дерева, которое крепко, нежно и в то же время благоуханно. Ему нравится только то, что ему полезно; его приятие, его желание прекращается, когда преступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против того, что вредит, он обращает в свою пользу вредные случайно-

сти; что его не убивает, то делает его сильнее. Из всего, что он видит, слышит, переживает, он инстинктивно собирает *свою* сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами; тем, что он *выбирает*, тем, что он *допускает* и тем, что он *доверяет*, он удостаивает чести. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медлительностью, которую воспитали в нем долгая осмотрительность и намеренная гордость, – он присматривается к раздражению, которое приходит к нему, он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он справляется с собою, с другими, он умеет *забывать*, – он достаточно силен для того, чтобы все обращалось ему во благо. Ну что ж, я – *противоположность* décadent: ведь только что я описал *самого себя.*

3[1].

Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: крестьяне, которым он проповедовал – ведь он, после того как провел несколько лет придворным в Альтенбурге, был в последние годы проповедником – говорили, что так, должно быть, выглядят ангелы. – И этим я затрагиваю вопрос расы. Я – польский дворянин pur sang, в чьих жилах не течет ни единой капли дурной крови, тем более немецкой. Когда я ищу глубочайшую противоположность себе, неописуемую заурядность инстинктов, то всякий раз обнаруживаю свою мать и сестру – верить, что я в родстве с такими канальями, было бы святотатством по отношению к моей божественности. Обращение, которое мне приходится терпеть со стороны моей матери и сестры, вплоть даже до этого момента, внушает мне несказанный ужас: здесь работает совершенная адская машина, безошибочно определяющая верный момент, когда меня можно ранить так, чтобы я истекал кровью – в высшие моменты моей жизни,... ведь тогда совершенно нету сил на то, чтобы обороняться от ядовитого отродья... Физиологическое соседство спо-

---

1 Перевод И. Эбаноидзе. См. комментарии.

собствует подобной disharmonia praestabilita[1]... Но я признаюсь, что глубочайшим возражением против «вечного возвращения», моей по-настоящему *бездонной* мысли, всегда были мать и сестра. – Однако и в качестве поляка я – чудовищный атавизм. Надо было бы отправиться на столетия назад, чтобы застать эту благороднейшую на свете расу чистой в своих инстинктах до такой степени, какой она воплотилась во мне. По отношению ко всему, что сегодня именуют noblesse[2], я испытываю независимое чувство отстраненности, – молодого немецкого кайзера я не удостоил бы чести быть моим кучером. Есть один-единственный случай, когда я признаю кого-то равным себе – признаю это с глубокой благодарностью. Госпожа Козима Вагнер – это поистине благороднейшая натура; и, если говорить начистоту, Рихард Вагнер поистине был для меня самым родственным человеком... Остальное – молчание[3]... Все господствующие понятия о степенях родства – это такая физиологическая чепуха, что дальше некуда. Папа Римский еще и сегодня занимается торговлей этой чепухой. Человек *менее всего* состоит в родстве со своими родителями: было бы крайним признаком заурядности быть сродни своим родителям. Происхождение высших натур следует искать бесконечно дальше в прошлом, для них приходилось очень долго собирать и накапливать. *Великие* индивидуумы старше всех: я не понимаю этого, и тем не менее Юлий Цезарь мог бы быть моим отцом – *или* Александр, это воплощение Диониса... В тот момент, когда я это пишу, почта доставляет мне голову Диониса...

4.

Я никогда не владел искусством восстанавливать против себя – этим тоже я обязан моему несравненному отцу, – даже в тех случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я

---

1 совершенная дисгармония (*лат.*).

2 знать (*фр.*).

3 Der Rest ist Schweigen. Слова из немецкого перевода «Гамлета», которые в русском переводе обычно звучат как «Дальнейшее – молчание» или «Дальше – тишина». – *Прим. ред.*

даже, как бы не по-христиански это ни выглядело, не восстановлен против самого себя. Можно разглядывать мою жизнь так и эдак, и в ней, за исключением одного-единственного случая, нельзя будет найти и следа недоброжелательства ко мне, – но, пожалуй, найдется многовато следов *доброй* воли... Опыт моего общения даже с теми, из общения с кем каждый выносит печальный опыт, говорит без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя, я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда готов к случайности; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Будь инструмент каким угодно, будь он даже расстроен так, как может быть расстроен только инструмент «человек», – но не иначе как я по-настоящему болен, если мне не удается извлечь из него нечто приятное слуху. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они *так* не звучали... Возможно, прекраснее всего это прозвучало от того непростительно рано умершего Генриха фон Штайна, который однажды, любезно испросив позволения, явился на три дня в Зильс-Марию, объясняя всем и каждому, что он приехал *не* ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и вдобавок еще и в дюринговском!), был в эти три дня словно преображен бурным ветром свободы, как тот, кто вдруг поднялся на *свою* высоту и обрел крылья. Я уверял его, что это эффект хорошего воздуха здесь наверху, что так происходит с каждым, недаром же поднимаешься на 6000 футов выше Байройта, – но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня иной раз грешили, как в малом, так и в большом, то причиной тому была не «воля», меньше всего *злая* воля: скорее уж – я только что указывал на это – мне следовало бы сетовать на добрую волю, приведшую мою жизнь в немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым «бескорыстным» инстинктам, к «любви к ближнему», всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности противостоять раздра-

жениям, – *сострадание* только у décadents зовется добродетелью. Я обвиняю сострадательных в том, что они с легкостью теряют стыд, почтение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания в мгновение ока начинает разить чернью и что оно, как две капли воды, похоже на дурные манеры, – сострадательные руки могут при случае прямо-таки разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение израненного, в *привилегию* на то, чтобы нести тяжкую повинность. Преодоление сострадания отношу я к числу *благородных* добродетелей: в «Искушении Заратустры» я написал историю о том, как до него долетает великий крик о помощи, как сострадание, будто последний грех, соблазняет его и пытается заставить изменить *себе*. Остаться здесь хозяином положения, держать здесь *высоту* своей задачи незапятнанной более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти всякий Заратустра, – истинное *доказательство* его силы...

5.

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же недоступно, как, скажем, понятие «равные права», я в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или *очень большая* глупость, запрещаю себе всякую меру противодействия, всякую меру защиты, – равно как и всякую оборону, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы поскорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, еще можно ее нейтрализовать. Говоря метафорически: я посылаю горшок с вареньем, чтобы покончить с кислой историей... Стоит только дурно поступить со мною, как я «воздаю» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить «злодею» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) – или *попросить* его о чем-то, что обязывает к боль-

шему, чем когда ты что-либо даешь... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, почти всегда не хватает сердечной тонкости и вежливости; молчание – это возражение; проглатывание неизбежно воспитывает дурной характер – оно портит даже желудок. Все молчальники страдают дурным пищеварением. – Как видите, я не хотел бы, чтобы грубость недооценивали, она является самой *гуманной* формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из первейших наших добродетелей. – Кто внутренне достаточно богат для этого, для того даже счастье – быть несправедливым. Бог, сошедший на землю, не стал бы *творить* ничего другого, кроме несправедливости: взять на себя не наказание, а *вину* – лишь это было бы божественным.

6.

Свобода от ресентимента, ясность касательно ресентимента – кто знает, как я обязан еще и в этом моей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя и из силы, и из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем увядает собственно инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны и вооружения* в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть – все наносит урон. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания задевают слишком глубоко, воспоминание – нарывающая рана. Состояние болезни само *есть* своего рода ресентимент. – Против него существует у больного только одно великое целебное средство – я называю его *русским фатализмом*, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком тяжко приходится в походе, ложится наконец в снег. Ничего больше не воспринимать, не допускать до себя, не впускать *в* себя – вообще больше не реагировать... Великий разум этого фатализма, который не всегда есть только отвага к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, заключается в ослаб-

лении обмена веществ, его замедлении, своего рода воле к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике – и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Поскольку человек слишком быстро расходовал бы себя, *если бы* вообще реагировал, он уже не реагирует вовсе: в этом и заключается логика. А ведь ни от чего не сгорают так быстро, как от аффектов ресентимента. Досада, болезненная обидчивость, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравительство во всяком смысле – для истощенного все это, несомненно, вредоноснейший вид реагирования: быстрый расход нервной силы, болезненный рост вредных выделений, например, желчи в желудок, обусловлены этим. Ресентимент есть для больного воплощение всего запретного – *его* зло: к сожалению, это еще и наиболее естественная для него склонность. – Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над ресентиментом: освободить *от него* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не вражда положит предел вражде, но дружба положит предел вражде» – это стоит в начале учения Будды: так говорит *не* мораль, так говорит физиология. – Ресентимент, порожденный слабостью, всего вреднее самому слабому, – в ином же случае, когда мы предполагаем богатую натуру, он есть *избыточное* чувство, справиться с которым есть почти что доказательство богатства. Кому знакома та серьезность, с какой моя философия вступила в борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о «свободной воле» – борьба с христианством есть только частный ее случай, – тот поймет, почему я подробно освещаю здесь мое собственное поведение, свою *инстинктивную уверенность* в подобной практике. Во времена décadence я *запрещал* ее себе как вредоносную; как только жизнь вновь становилась достаточно богатой и гордой для этого, я запрещал ее себе как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что я годами упорно хранил верность почти невыносимым положениям, местам, жилищам, обществу, раз уж они, случайным образом, оказались моей данностью, – это было лучше, чем изменять их, чем

чувствовать, что они могут быть изменены, – чем восставать против них... Мешать мне в этом фатализме, насильно возбуждать меня считал я тогда смертельно вредным: это и в самом деле было всякий раз смертельно опасно. – Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» – в этом и заключается в таких обстоятельствах сам *великий разум*.

7.

Иное дело война. Я по-своему воинственен. Нападение – один из моих инстинктов. *Уметь* быть врагом и быть им – это предполагает, пожалуй, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено во всякой сильной натуре. Ей нужно противостояние, следовательно, она *ищет* противостояния: *агрессивный* пафос так же необходимо присущ силе, как слабости присущи мстительные последыши чувства. Женщина, например, мстительна: это, как и ее чувствительность к чужой беде обусловлено ее слабостью. – Противник, который требуется нападающему, есть своего рода *мера* его силы; всякий рост проявляется в искании более крепкого противника – или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача *не* в том, чтобы преодолеть сопротивление вообще, но такое, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, – сопротивление *равного* противника... Равенство с врагом есть первое условие *честной* дуэли. *Где* презирают, там не*возможно* вести войну; где повелевают, видят нечто *ниже* себя, не *следует* вести войну. – Мой праксис войны можно выразить в четырех положениях. Во-первых: я нападаю только на те вещи, которые победоносны, – если надо, я жду, когда они будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на те вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один – где я компрометирую только себя... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: вот *мой* критерий верного поступка. В-третьих: я никогда не нападаю на личности – я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать зримым всеобщее, но ползучее, с трудом определимое бедствие. Так напал я на

Давида Штрауса, вернее, на *успех*, который его старчески дряхлая книга имела у немецкого «образования», – так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, вернее, на лживость, на инстинктивную половинчатость нашей «культуры», которая смешивает рафинированных с богатыми, а запоздалых с великими. В-четвертых: я нападаю только на то, в чем исключены всякие личные счеты, где нет никакой подоплеки дурных предысторий. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, а при случае – и благодарности. Я оказываю честь, я выделяю тем, что связываю свое имя с каким-либо предметом или личностью: за или против – это мне в данном отношении безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне потому, что со стороны него я не переживал никаких неприятностей и помех, – самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства de rigueur[1], вовсе не намерен вменять кому-то в отдельности в вину то, что является напастью тысячелетий.

8.

Могу ли я осмелиться указать на еще одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоплотности, так что близость или – что я говорю? – сокровеннейшее, «потроха» всякой души я воспринимаю физиологически – *обоняю*... В этой впечатлительности – мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякою тайной: сколь много *скрытой* грязи на дне иных душ, взявшейся, быть может, из дурной крови, но замаскированной побелкой воспитания, мне становится известно едва ли не при первом же соприкосновении. Если мои наблюдения верны, то такие противопоказанные моей чистоплотности натуры в свою очередь ощущают «усики» моего отвращения: от этого они не начинают пахнуть лучше... Как я себя постоянно

---

1 обязательный, предписанный (*фр.*).

приучал – крайняя чистота в отношении себя есть для меня сама предпосылка существования, я погибаю в нечистых условиях, – я как будто постоянно плаваю, купаюсь и плескаюсь в воде, в какой-то совершенно прозрачной и сверкающей стихии. Это делает общение с людьми настоящим испытанием моего терпения: моя гуманность заключается *не* в том, чтобы сочувствовать человеку, каков он есть, а в том, чтобы *выдерживать* то, что я его чувствую... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. – Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, *чистоте*... К счастью, не *простецкой чистоте*[1]. – У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. – *Отвращение* к человеку, к «отребью» всегда было величайшей опасностью для меня... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит об *освобождении* от отвращения?

> Что же случилось со мною? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как взлетел я на высоту, где никакое отребье не сидит уже у источника?
>
> Разве не самое отвращение мое создало мне крылья и силы, предчувствующие источник? Поистине, я должен был взлететь в самую высь, чтобы вновь найти родник радости!
>
> О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой высоте, бьет для меня родник радости! И есть жизнь, от которой не пьет отребье вместе с вами!
>
> Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто вновь опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.
>
> Еще должен я научиться более скромно приближаться к тебе: слишком сильно стремится навстречу тебе мое сердце –
>
> Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, – как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

---

1 В оригинале: *reine Thorheit*. Н. обыгрывает выражение reiner Tor – «чистый сердцем простак», – являющееся характеристикой вагнеровского Парсифаля. – *Прим. ред.*

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело и полуднем лета!

Летом на самой высоте, с холодными источниками и блаженной тишиною; о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это *наша* высь и наша родина; слишком высоко и недоступно живем мы здесь для всех нечистых и их жажды.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он засмеется в ответ вам *своею* чистотою.

На дереве будущего вьем мы гнездо свое; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им почудилось бы, что они пожирают огонь, и они спалили бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы счастье наше для их тел и духа!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я однажды еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание их духа: так хочет мое будущее.

Действительно, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает: «Остерегайтесь харкать *против* ветра!»...

Почему я так умен

1.

Почему я в чем-то знаю *больше*? Почему я вообще так умен? Я никогда не задумывался над вопросами, которые и вопросами-то назвать нельзя, – я не растрачивал себя. – Собственно *религиозные* затруднения, например, по личному опыту мне не знакомы. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «грешным». Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что об этом можно *услышать*, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным внимания... Я не хотел бы отказываться от поступка *после его* совершения, я предпочел бы совершенно исключить дурной исход и *последствия* из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко потерять *верный* взгляд на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода «*злым* взглядом». Чтить тем выше нечто неудавшееся как раз *потому*, что оно не удалось, – скорее уж это в правилах моей морали. – «Бог», «бессмертие души», «спасение», «потустороннее» – сплошь понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком, – быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? – Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие: он подразумевается у меня инстинктивно. Я слишком любопытен, слишком *неочевиден*, слишком азартен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделикатность по отношению к нам, мыслителям, – в сущности, даже просто грубый, как кулак, *запрет* для нас: нечего вам думать!.. Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого «спасение человечества» зависит больше, чем от какого-нибудь теологического курьеза: вопрос *питания*. Для обиходного употребления можно сформулировать его так: «как должен питаться именно *ты*, чтобы

достигнуть своего максимума силы, virtu в ренессансном стиле, добродетели, не содержащей моралина?» – Мой опыт в этом вопросе из рук вон плох; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов «уму-разуму». Только совершенная негодность нашего немецкого образования – его «идеализм» – объясняет мне до некоторой степени, почему именно здесь я оказался до святости отсталым. Это «образование», которое наперед учит терять из виду *реальности*, чтобы гоняться за исключительно проблематичными, так называемыми «идеальными» целями, например за «классическим образованием», – как будто это не заранее обреченная затея соединять в одном понятии «классическое» и «немецкое»! Более того, это забавляет – представьте себе «классически образованного» жителя Лейпцига! – В самом деле, до самых зрелых лет я питался исключительно *плохо* – моралистически выражаясь: «безлично», «бескорыстно», «самоотверженно», – на благо поваров и прочих братьев во Христе. Из-за лейпцигской кухни одновременно с моими первыми штудиями Шопенгауэра (1865) я, например, совершенно серьезно отрицал свою «волю к жизни». В целях недостаточного питания еще и испортить желудок – эту проблему названная кухня решает, как мне показалось, на редкость удачно. (Говорят, 1866 год привнес сюда перемены). Но если вообще говорить о немецкой кухне – чего только нет у нее на совести! Суп *перед* трапезой (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось alla tedesca[1]); разваренное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; мучное, которое выродилось в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо-таки скотскую потребность в питье после еды старых и вовсе не одних только *старых* немцев, то понятно и происхождение *немецкого духа* – из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. – Но и английская диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде «возвращения к природе», а именно – к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу *тяжелые* ноги – ноги англичанок... Лучшая

---

1 по-немецки (*ит.*).

кухня – кухня *Пьемонта.* – Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни «юдоль скорби», – в Мюнхене живут мои антиподы. Даже если я поздновато это понял, на опыте я знал это с младых ногтей. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только vanitas[1] молодых людей, позднее – дурная привычка. Может быть, в этом *кислом* суждении повинно и наумбургское вино. Чтобы верить, что вино *просветляет,* для этого я должен быть христианином, то есть верить в то, что именно для меня является абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней разлаживаемости от малых, сильно разбавленных доз алкоголя, я становлюсь почти моряком, когда дело идет о *крепких* дозах. Еще мальчиком я проявлял в этом свою смелость. Написать, а потом еще и переписать за одну ночную вахту длинное сочинение на латыни, с честолюбием в слоге, стремящемся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстию, и потягивать за латынью грог самого тяжелого калибра – это, уже в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, а возможно, и физиологии Саллюстия, хотя и было не в правилах почтенной Шульпфорты... Позже, к середине жизни, я, конечно, все строже воздерживался от любых «духовных» напитков[2]: я, исходя из собственного опыта ставший противником вегетарианства, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, должен со всей возможной серьезностью посоветовать всем *более духовным* натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно и *воды...* Я предпочитаю места, где повсюду есть возможность черпать из текущих источников (Ницца, Турин, Зильс); маленький стакан следует за мною всюду, как собачонка. In vino *veritas:* похоже, и здесь я снова не согласен со всем миром касательно понятия «истины» – для меня дух носится над

---

1 тщеславие, хвастовство, суета (*лат.*).

2 В оригинале: *«geistige» Getraenk* – собств. «спиртной напиток». Однако, помещая «geistige» в кавычки, Н. явно имеет в виду также другое значение этого слова – «духовный». На этой же игре слов основан следующий в конце данного предложения совет всем «более духовным натурам». – *Прим. ред.*

водою... Еще несколько советов из области моей морали. Сытная трапеза переваривается легче, чем чересчур легкая. Первое условие хорошего пищеварения, это чтобы желудок был задействован как целое. Надо *знать* величину своего желудка. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, – все эти табльдоты. – Никаких закусок в промежутках, никакого кофе: кофе омрачает. *Чай* полезен только утром. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает на целый день хворым, стоит ему быть всего на градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных рамках. В очень раздражающем климате начинать с чая не рекомендуется: за час до него следует начать с чашки густого, очищенного от масла какао. – Как можно меньше *сидеть*; не доверять ни единой мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении – когда и мускулы тоже празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. – Сидячая жизнь – я уже говорил однажды – есть настоящий *грех* против святого духа.

2.

С вопросом о питании тесно связан вопрос о *месте* и *климате*. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие напряжения всех его сил, тот даже весьма ограничен в выборе. Влияние климата на обмен веществ, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в выборе места и климата может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не взглянет ей в лицо. Животная vigor[1] никогда не станет в нем настолько большой, чтобы была достигнута та переливающаяся в самую сердцевину духа свобода, когда человек признает: *это* по силам лишь мне одному... Одной лишь обратившейся в привычку малейшей вялости кишечника вполне хватает, чтобы сделать из гения нечто посредственное, нечто «немецкое»;

---

1 жизненная сила (*лат.*).

достаточно одного только немецкого климата, чтобы лишить мужества крепкие и даже предрасположенные к героизму внутренние органы. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости *ног* духа; ведь сам «дух» и есть только лишь род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где живут и жили духовно одаренные люди, где шутка, утонченность, колкая злость неотъемлемы от счастья, где гений просто не мог не чувствовать себя дома, – во всех этих местах замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины – эти имена о чем-нибудь да говорят: гений *обусловлен* сухим воздухом, чистым небом – стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами пример, когда значительный и взыскующий свободы ум только из-за недостатка инстинктивной тонкости в вопросах климата сделался узким и зашоренным, сделался специалистом и брюзгой. В конечном счете я и сам мог бы превратиться в такой пример, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю влияния климатического и метеорологического характера на себе, как на очень тонком и надежном инструменте, и даже во время краткой поездки, скажем, из Турина в Милан, физиологически вычисляю на себе перемену в процентах влажности воздуха, – теперь я со страхом думаю о том *зловещем* факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, все время протекала в неподходящих и прямо-таки *запретных* для меня местностях. Наумбург, Шульпфорта, вообще Тюрингия, Лейпциг, Базель – все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, – например, бесспорной нехватке *удовлетворительного* общества: ибо эта нехватка присутствует и сейчас, как она присутствовала всегда, не мешая мне быть бодрым и отважным. Зато невежество in physiologicis – проклятый «идеализм» – вот настоящая беда моей жизни, излишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, чему нет никакого возмещения, никакого оправ-

дания. Последствиями этого «идеализма» объясняю я себе все промахи, все серьезные заблуждения инстинкта и все «скромности», уводящие в сторону от *задачи* моей жизни, например, что я стал филологом – почему по крайней мере не врачом и вообще кем-то отверзающим очи? В базельскую пору вся моя духовная диета, включая распорядок дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением незаурядной силой, без какого-либо свежего притока, покрывающего их расход, даже без единой мысли об этом расходе и необходимости возмещения. Не хватало тонкостей себялюбия, *защиты*, которую дает повелевающий инстинкт; это было приравнивание себя к кому угодно, это была «самоотверженность», забвение своей дистанции – нечто, чего я себе никогда не прощу. И когда я был уже почти на исходе, именно *потому*, *что* я был почти на исходе, я наконец задумался об этом коренном неразумии своей жизни – об «идеализме». Только *болезнь* привела меня к разуму.

3.

Вслед за выбором пищи, выбором климата и места, третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор *своего способа отвлечься*. Здесь тоже, в зависимости от того, насколько дух есть sui generis, границы дозволенного ему, т.е. *полезного*, очень узки. Для меня всякое *чтение* служит отвлечением: следовательно, тем, что освобождает меня от себя, что позволяет мне прогуливаться в чуждых науках и чужих душах – чего я не принимаю уже всерьез. Чтение отвлекает меня как раз от *моей* серьезности. В пору настоящей работы при мне не увидишь книг: я остерегся бы позволить комунибудь рядом со мной говорить или даже думать. А это и называлось бы читать... Замечали ли вы, что при том глубоком напряжении, на какое вынашивание обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, «поражают» слишком глубоко? Надо по возможности избегать случайности, внешних раздражений; своего рода самозамуровывание – один из первейших инстинктивных приемов духовной беременности. Позволю ли я *чужой* мысли тайно

перелезть через стену? – А это и называлось бы читать... За временем работы и продуктивности следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, остроумные, толковые книги! – Будут ли это немецкие книги?.. Чтобы застать себя с книгой в руке, я должен отсчитать полгода назад. Что же это была за книга? – Превосходное исследование Виктора Брошара, les Sceptiques Grecs, в котором с толком использованы и мои Laertiana. Скептики – это единственный *достойный уважения* тип среди от двух- до пятисмысленной семьи философов!.. В целом же я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, в книгах, которые *показаны* именно мне. Вероятно, это не в моей натуре – читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Не в моей натуре также и любить много или многое. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее свойственна моему инстинкту, чем «терпимость», «largeur du coeur»[1] и прочая «любовь к ближним»... В сущности, авторы, к которым я постоянно возвращаюсь, это небольшое число старинных французов: я верю только во французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе «культурой», не говоря уже о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии, были все французского происхождения, прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. – То, что Паскаля я не читаю, но *люблю*, как поучительнейшую жертву христианства, медленно умерщвлявшуюся, сперва телесно, потом психологически, всю логику этой отвратительнейшей формы нечеловеческой жестокости; что духовно, а может быть – кто знает? – и физически во мне есть нечто от монтеневского озорства; что мой артистический вкус не без сдержанной ярости встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против хаотичного гения, каков Шекспир, – все это в конечном счете не исключает возможности, чтобы и французы новейшего образца были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать вместе исполненных такого любопытства и притом столь

1 душевная широта (*фр.*).

деликатных психологов, как в нынешнем Париже: называю наугад – ибо их число совсем не мало – господа Поль Бурже, Пьер Лоти, Жип, Мельяк, Анатоль Франс, Жюль Леметр или, чтобы отметить одного из сильной расы, настоящего латинянина, которому я особенно привержен, – Ги де Мопассан. Между нами говоря, я предпочитаю *это* поколение даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (господин Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она *портит* культуру. Только война явилась во Франции «спасителем» духа... Стендаль, одна из прекраснейших случайностей моей жизни – ибо все, что у него есть первостепенно значительного, попадало ко мне случайно, а не с помощью чьей-либо рекомендации, – совершенно бесценен с его предвосхищающим глазом психолога, с его хваткой на факты, которая напоминает о близости величайшего реалиста (ex ungue Napoleonem[1]). Наконец, но отнюдь не в последнюю очередь, надо воздать должное Просперу Мериме как *честному* атеисту – редкая и даже труднонаходимая во Франции species... Может быть, я сам завидую Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую мог бы придумать как раз я: «Единственное оправдание Бога состоит в том, что его не существует»... Я и сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против бытия? *Бог...*

4.

Высшее представление о лирическом поэте дал мне *Генрих Гейне*. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь же сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной лихостью, без которой я не могу и помыслить себе совершенства, – я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим в их представлениях бог от сатира. – И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка

---

1 Игра слов от латинского выражения «ex ungue leonem» (по когтям узнают льва). – *Прим. К. Свасьяна.*

– в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. – Я, должно быть, глубоко родственен *байроновскому* Манфреду: я находил все эти бездны в себе – в тринадцать лет я уже созрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда произнести слово «Фауст». Немцы *неспособны* к пониманию величия: доказательство – Шуман. Я сам, из ярости к этим слащавым саксонцам, сочинил контрувертюру к Манфреду, о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он еще не видел на нотной бумаге, что это насилие над Евтерпой. – Когда я ищу свою высшую формулу для *Шекспира*, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадаешь – это есть или этого нет. Великий поэт черпает *только* из своей реальности – до такой степени, что впоследствии он не способен больше выносить свое произведение... Когда я заглядываю в своего «Заратустру», то хожу потом полчаса по комнате взад и вперед, не в силах совладать с невыносимым приступом рыданий. – Я не знаю более душераздирающего чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! – *Понимают* ли Гамлета? Не сомнение, а *несомненность* сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все *боимся* правды... И я должен признаться в этом: я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и терзающий самого себя живодер этого жуткого рода литературы, – что *мне* до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности воображения не только совместима с самой могучей силой к деянию, к чудищам деяния, к преступлению – *она даже предполагает ее.* Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте во всех великих значениях слова, чтобы знать, *что* он делал, *чего* хотел, *что* пережил в себе... К черту, господа критики! Если предположить, что я окрестил бы Заратустру чужим именем, например, именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы в авторе «Человеческого, слишком человеческого» распознать провидца Заратустры...

5.

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я невысоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, тонких случайностей – *глубоких* мгновений... Я не знаю, что пережили с Вагнером другие, – на нашем небе никогда не было ни облака. – И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции, – у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и hoc genus omne[1], которые думают почтить Вагнера тем, что находят его похожим на *самих себя*... Для меня, каков я есть, чуждого в своих глубочайших инстинктах всему, что есть немецкого, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, первое же соприкосновение с Вагнером было и первым за всю жизнь вдохом: я воспринял, я чтил его как *заграницу*, как противоположность, как живой протест против всех «немецких добродетелей». – Мы, чье детство прошло среди болотного воздуха пятидесятых годов, неизбежные пессимисты касательно понятия «немецкое»; мы не можем быть ничем иным, как революционерами, – мы не примиримся с положением вещей, где господствует *лицемер*. Мне совершенно безразлично, играет ли он сегодня другими красками, облачен ли в пурпур и одет ли в гусарскую форму... Что ж! Вагнер был революционером, из-за этого он и бежал от немцев... У *артиста* нет в Европе отечества, кроме Парижа; délicatesse всех пяти художественных чувств, которую предполагает искусство Вагнера, чутье nuances, психологическую болезненность – все это можно найти только в Париже. Нигде больше нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в mise en scène – это парижская серьезность par excellence. В Германии не имеют ни малейшего представления о колоссальных амбициях, живущих в душе парижского художника. Немец добродушен – Вагнер был отнюдь не до-

---

1 всей их породы, им подобных (*лат.*).

бродушен... Но я уже достаточно высказался (в «По ту сторону добра и зла», аф. 256), где Вагнеру место, кто его ближайшие сородичи: это французский поздний романтизм, такие высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с неким fond[1] болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики *выразительных средств*, виртуозы до мозга костей... Кто был вообще первым *интеллигентным* приверженцем Вагнера? Шарль Бодлер, тот самый, кто первым понял Делакруа, этот типический décadent, в ком опознало себя целое поколение артистов – возможно, он был и последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он *снизошел* до немцев – что он стал имперским немцем... Куда бы ни проникала Германия, она *портит* культуру.

6.

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ведь я был *приговорен* к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер – это противоядие от всего немецкого par excellence – то есть сам по себе тоже яд, я не оспариваю этого... С того момента, как появился клавираусцуг «Тристана» – мои комплименты, господин фон Бюлов! – я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя – еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»... Но и поныне я ищу, тщетно ищу во всех искусствах произведения, равного «Тристану» в его опасной обольстительности, в его зловещей и сладкой бесконечности. Все загадочные чары Леонардо да Винчи рассеиваются при первом звуке «Тристана». Это произведение положительно non plus ultra Вагнера; он отдыхал от него на «Мейстерзингерах» и «Кольце». Поздороветь – это *регресс* для такой натуры, как Вагнер... Я почитаю настоящим счастьем, что я жил в нужное время и именно среди немцев, чтобы оказаться *зрелым* для этого произведения: настолько далеко заходит у меня любопытство психолога.

---

1 основа, дно (*фр.*).

Мир беден для человека, никогда не бывавшего достаточно больным для этого «сладострастия ада»: здесь допустимо, здесь почти показано прибегнуть к формулировке мистиков. – Я думаю, я лучше кого-либо другого знаю то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров нездешних восторгов, для которых не было крыльев ни у кого, кроме Вагнера; и я, такой как есть, достаточно сильный, чтобы обращать себе на пользу даже самое загадочное, самое опасное и тем самым становиться еще сильнее, – я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. То, в чем мы родственны, то, что мы страдали глубже, в том числе друг от друга, чем способны страдать люди этого столетия, вечно будет снова и снова сводить друг с другом наши имена; и точно так же, как Вагнер – лишь недоразумение среди немцев, так же и я, несомненно, являюсь и навсегда останусь таковым. – *Для начала* два столетия психологической и артистической дисциплины, мои господа германцы!.. Но этого нельзя наверстать. –

7.

Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего *я* в сущности хочу от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, презренная и прелестная... Я никогда не допущу, чтобы немец *мог* знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были *иностранцы*, славяне, хорваты, итальянцы, голландцы – или евреи; в ином случае немцы сильной расы, *вымершие* немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы отдать за Шопена всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю «Зигфрид-идиллию» Вагнера, может быть, также Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что взросло по ту сторону Альп – *по эту сторону*... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без *моего* Юга в музыке, без музыки моего венецианского maëstro Пьетро Гасти. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю

только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею различать между слезами и музыкой – я знаю счастье думать о *Юге* не иначе, как с дрожью робости.

В юности, в светлую ночь
раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
словно по ткани дрожащей
капли златые текли.
Гондолы, факелы, музыка –
В сумерках все расплывалось...

Звуками втайне задеты,
струны души зазвенели,
отозвалась гондольеру,
дрогнув от яркого счастья, душа.
– Услышал ли кто ее песнь?

8.

Во всем этом – в выборе пищи, места, климата, отдохновений – повелевает инстинкт самосохранения, проявляющийся самым недвусмысленным образом в качестве инстинкта *самозащиты*. Многого не видеть, не слышать, не подпускать к себе – первая разумная мера, первое доказательство того, что являешься не случайностью, а необходимостью. Расхожее название этого инстинкта самозащиты – *вкус*. Императив вкуса велит не только говорить «Нет» там, где «Да» было бы «самоотверженностью», но и *как можно реже* говорить *Нет*. Отделять, отстранять себя от всего, что снова и снова требовало бы этого «Нет». Смысл этого в том, что издержки на оборону, даже такие незначительные, обращаясь в правило, в привычку, обусловливают чрезвычайное оскудение, которого вполне можно было бы избежать. Наши *большие* издержки складываются из регулярных малых. Отстранение, не-допущение-к-себе есть издержка – не следует обманываться на этот счет, – сила, *растраченная* на негативные цели. От одной лишь постоянной необходимости обо-

роняться можно ослабеть настолько, что больше не останется сил на оборону. – Предположим, я выхожу из своего дома и вижу перед собой вместо спокойного аристократичного Турина немецкий городишко: моему инстинкту пришлось бы упираться изо всех сил, выталкивая обратно все, что хлынуло на него из этого сплющенного и трусливого мирка. Или я очутился бы среди большого немецкого города, этого застроенного порока, где ничто не растет, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне. Разве не пришлось бы мне обратиться в *ежа*? – Но иметь иглы – это мотовство, даже двойная роскошь, коль скоро можно иметь не иглы, а *открытые* руки...

Вторая разумная мера и самозащита состоит в том, чтобы *как можно меньше реагировать* и не ставить себя в такие положения и условия, когда обречен как бы отрешиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности лишь «переворачивает» книги – средний филолог до 200 в день, – в конце концов совершенно теряет способность самостоятельно мыслить. Если он их не переворачивает, он не мыслит. Когда он мыслит, то *отвечает* на раздражение (на прочтенную мысль), – в конечном счете он только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, – сам он уже не думает... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть décadent. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и взыскующие свободы натуры уже к тридцати годам «позорно начитанны», они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру – «мысль». – Ранним утром, едва только занимается день, во всей свежести, на заре своих сил читать *книгу* – это называю я порочным!

9.

В этом месте нельзя уклониться собственно от ответа на вопрос, *как становятся собою*. И сим я обращаюсь к шедевру в искусстве самосохранения – к *себялюбию*... Если предположить случай, когда задача, предназначение, *судьба* задачи

значительно превосходят среднюю норму, то нет большей опасности, как увидеть себя самого *вместе* с этой задачей. Становление собою предполагает, что человек не имеет даже самого отдаленного представления о том, *что* он такое. С этой точки зрения свой собственный смысл и ценность имеют даже жизненные *ошибки*, временные блуждания и окольные пути, промедления, «скромности», серьезность, потраченная на задачи, которые лежат по ту сторону *собственно задачи*. В этом может проявляться великая, даже высшая разумность: там, где nosce te ipsum[1] было бы рецептом гибели, разумом становится самозабвение, *непонимание* себя, умаление себя, сужение, сведение себя к чему-то посредственному. Выражаясь нравственно: любовь к ближнему, жизнь для других и другого *может* быть защитной мерой для сохранения самой твердой любви к себе. Это тот исключительный случай, когда я, в пику моим правилам и убеждениям, становлюсь на сторону «самоотверженных» инстинктов – здесь они служат *себялюбию и самовоспитанию*. – Всю поверхность сознания – а сознание *есть* поверхность – надо хранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого величественного слова, всякой величественной позы! Это сплошные опасности, что инстинкт «поймет себя» слишком рано – – Меж тем в глубине постепенно растет организующая, призванная к господству «идея» – она начинает повелевать, она медленно выводит *обратно* с окольных и ложных путей, она подготавливает *отдельные* качества и способности, которые однажды проявят себя необходимым средством для целого, – она выстраивает поочередно все *служебные* способности еще до того, как даст знать что-либо о доминирующей задаче, о «цели» и «смысле». – С этой точки зрения моя жизнь просто чудесна. Для задачи *переоценки ценностей* потребовалось бы, пожалуй, больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном человеке, прежде всего – противоположность способностей, без того, чтобы они мешали друг другу, разрушали друг друга. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не «примирять»; неимоверное разно-

---

1 познай самого себя (*лат.*).

образие, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса , – таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его *высший надзор* проявлял себя до такой степени, что я ни в одном случае даже не догадывался о том, что созревает во мне, – в один прекрасный день все мои способности *выступили* внезапно, зрело, во всем своем совершенстве. Я не могу припомнить, чтобы мне когда-нибудь приходилось стараться, – в моей жизни нельзя указать ни единой приметы *борьбы*; я составляю противоположность героической натуры. Чего-то «хотеть», к чему-то «стремиться», иметь в виду «цель», «желание» – ничего этого я не знаю из опыта. Даже в данное мгновение я смотрю на свое будущее – *широкое* будущее! – как на гладкое море: ни единого желания не пенится в нем. Я нисколько не желаю, чтобы нечто становилось иным, чем есть; я сам не хочу становиться иным... Но так жил я всегда. У меня не было никаких желаний. Я – тот, кто на сорок пятом году жизни как никто другой может сказать, что он никогда не заботился о *почестях*, о *женщинах*, о *деньгах*! – Не то, чтобы у меня их не было... Так, сделался я однажды, к примеру, профессором университета – до того я даже отдаленно не помышлял ни о чем подобном, ведь мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше в один прекрасный день я сделался филологом: в том смысле, что моя *первая* филологическая работа, мой дебют во всех смыслах, был принят моим учителем Ричлем для публикации в его «Rheinisches Museum» (*Ричль* – я говорю это с уважением – единственный гениальный ученый, которого я до сих пор встречал. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и с которой даже немец становится симпатичным – даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими слова сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого земляка, *умного* Леопольда фон Ранке...).

10.

В этом месте необходимо сделать хорошую паузу. Меня спросят, почему я собственно рассказал все эти маленькие и, по

распространенному мнению, безинтересные вещи; ведь этим я наношу вред самому себе, тем более, коль скоро я призван решать великие задачи. Ответ: эти мелочи – питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия – неизмеримо важнее всего, что до сих пор считалось важным. Именно здесь надо начать *переучиваться.* То, что человечество до сих пор воспринимало всерьез, были даже не реальности, а просто выдумки, говоря строже, *ложь*, рожденная из дурных инстинктов больных, в глубочайшем смысле вредных натур – все эти понятия «Бог», «душа». «добродетель», «грех», «потусторонний мир», «истина», «вечная жизнь»... Однако в них искали величие человеческой натуры, ее «божественность»... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до самого основания тем, что самых вредоносных людей принимали за великих, что учили презирать «маленькие» вещи, то есть основные условия самой жизни... Наша нынешняя культура в высшей степени двусмысленна... Германский кайзер, заключающий пакт с папой, как если бы папа не представительствовал собою смертельную враждебность к жизни!.. То, что сегодня возводится, не простоит и трех лет. – Когда я мерю себя по тому, чтó я *могу*, не говоря уж о том, чтó придет следом за мной – разрушение и созидание, не имеющие себе равных, то я более, чем кто-либо из смертных, вправе притязать на слово «величие». Когда же я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали *лучшими*, разница оказывается прямо-таки осязаемой. Этих так называемых «лучших» я вообще не считаю за людей, – для меня они отбросы человечества, выродки болезней и мстительных инстинктов: это сплошь нездоровые, в сущности неизлечимые чудовища, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: мое преимущество состоит в чрезвычайной чуткости ко всем признакам здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты; даже в пору тяжелой болезни я не сделался болезненным; тщетно искали бы в моем существе черт фанатизма. Ни из единого мгновения моей жизни нельзя указать примера, чтобы я вел себя самонадеянно или патетически. Пафос позы *не* имеет отношения к величию; тот, кому вообще нужны позы, *лжив*... Берегитесь всех колоритных людей!

Жизнь стала для меня легка, и легче всего – когда она требовала от меня самого трудного. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, неся ответственность за все грядущие тысячелетия, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, тот не заметил во мне и следа напряжения, а только лишь бьющую через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда мне так хорошо не спалось. – Я не знаю иного способа, как обращаться с великими задачами, кроме *игры*: это, как признак величия, существеннейшее условие. Малейшее принуждение, мрачная мина, какой-нибудь жесткий звук в горле, все это доводы против человека, а тем более – против его произведения!... Нельзя иметь нервов... *Страдать* от безлюдья – тоже аргумент против тебя – я всегда страдал только от «многолюдья»... Абсурдно рано, в семь лет, я знал уже, что меня никогда не достигнет ни одно человеческое слово: видели ли когда-нибудь, чтобы это меня огорчало? – И ныне я попрежнему равно любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низким существам – во всем этом нет и грана высокомерия или скрытого презрения. Тот, *кого* я презираю, *поймет*, что он мною презираем: одним своим существованием я возмущаю все, в чем течет дурная кровь... Моя формула для величия в человеке – *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки веков. Не только переносить необходимость, тем более не скрывать ее – а всякий идеализм есть изолганность перед лицом необходимого, – но *любить* ее...

Почему я пишу такие хорошие книги

1.

Одно дело – я, другое – мои произведения. Здесь, прежде чем я сам заговорю о них, следует коснуться вопроса понятости или *не*понятости этих произведений. Я говорю об этом настолько небрежно, насколько это в данном вопросе вообще возможно, – ибо вопрос этот отнюдь не своевременный. Я и сам еще не своевременен, иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить так, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены и специальные кафедры для толкования «Заратустры». Но если бы я уже сегодня ожидал ушей *и рук* для *моих* истин, это вступило бы в полное противоречие со мною самим: то, что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня, не только понятно, но даже представляется мне правильным. Я не хочу, чтобы меня путали с другими, – а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. – Повторю еще раз, в моей жизни почти отсутствуют следы «злой воли»; я едва ли мог бы рассказать хоть об одном проявлении литературной «злой воли». Зато слишком много *чистого идиотизма*!.. Мне кажется, если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он оказывает себе этим самую редкую честь, какую только можно себе оказать, – могу допустить даже, что он снимает при этом обувь, не говоря уж о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штайн откровенно посетовал, что не понимает ни слова в моем Заратустре, я ответил ему, что это в порядке вещей: кто понял, то есть *пережил* хотя бы шесть предложений из Заратустры, тот уже поднялся среди смертных на более высокую ступень, чем та, которая доступна «современным» людям. Как *мог бы* я при *этом* чувстве дистанции хотя бы только желать быть читанным «современниками», коих я знаю! Мой триумф прямо противоположен шопенгауэров-

скому – я говорю: «*non* legor, *non* legar»[1]. – Не то чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла *невинность* в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, быть может, чересчур веской литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. – Однако не Германия, а Швейцария дала два совсем уж крайних случая. Статья доктора В. Видманна в «Bund» о «По ту сторону добра и зла» под заголовком «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же «Bund», были в моей жизни максимумом – остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, например, моего Заратустру как «высшего рода упражнение в слоге» и желал, чтобы впредь я все-таки заботился и о содержании; доктор Видманн же выражал мне свое почтение перед мужеством, с каким я стремлюсь к искоренению всех пристойных чувств. – Из-за игры случая каждое предложение здесь с поражавшей меня последовательностью оказывалось поставленной с ног на голову истиной: в сущности, не оставалось ничего другого, как «переоценить все ценности», чтобы весьма примечательным способом попасть насчет меня в точку – вместо того, чтобы делать из меня точку для попадания... В свете чего мне тем более следует попробовать объясниться. – В конечном счете никто не может узнать из вещей, включая книги, больше, чем он уже знает. К чему собственные переживания не дают никакого доступа, к тому у тебя нет и слуха. Вообразим себе крайний случай, когда книга говорит исключительно о таких переживаниях, частый или даже редкий опыт которых просто невозможен – что она являет собою *первый* язык для некоего нового ряда опытов. В этом случае просто ничего не будет слышно, зато добавится акустическое заблуждение, что там, где ничего не слышно, *ничего и нет*... Это и составляет мой типичный опыт и, если угодно, *оригинальность* моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понял у

1 не читают, не будут читать (*лат.*). У Шопенгауэра (в предисловии к «О воле в природе»): «Legor et legar».

меня, тот делал из меня нечто по своему образу и подобию, – нередко мою противоположность, например «идеалиста»; кто ничего у меня не понял, тот говорил, что на меня вообще не нужно обращать внимания. – Слово «*сверхчеловек*» для обозначения в высшей степени удавшегося типажа, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, христианам и прочим нигилистам – слово, которое в устах Заратустры, *истребителя* морали, заставляет задуматься, – почти повсеместно с полнейшей невинностью воспринималось в смысле тех ценностей, противоположность которым была явлена в образе Заратустры: я хочу сказать, как «идеалистический» тип высшей породы людей, наполовину «святой», наполовину «гений»... Прочее ученое быдло заподозрило меня из-за него в дарвинизме. Находили в нем даже столь решительно отвергаемый мною «культ героев» Карлейля, этого размашистого изготовителя фальшивок на ниве знания воли. Те, кому я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, не верили своим ушам. – Надо простить мне, что я отношусь без малейшего любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении одной-единственной книги – то была «По ту сторону добра и зла»; я мог бы немало рассказать об этом. Подумать только: «Nationalzeitung» (прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, – сам же я, с позволения, читаю только «Journal des Debats») умудрилась на полном серьезе воспринять эту книгу как «примету времени», как бравую правую *юнкерскую философию*, которой недоставало разве что мужества «Kreuzzeitung»...

2.

Это было сказано для немцев: ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели – сплошь *отборные* интеллигенты, проверенные, воспитанные высокими положениями и обязанностями характеры; среди моих читателей есть даже настоящие гении. Меня открыли повсюду: в Вене, в Санкт-

Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке, – меня *не* открыли только на европейской равнине, в Германии... И я должен признаться, что меня еще больше радуют мои не-читатели, те, кто никогда не слыхал ни моего имени, ни слова «философия»; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, каждое лицо при виде меня проясняется и добреет. Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокоятся, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Быть философом надо *до такой степени*... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская ни на минуту не ошибется относительно моего происхождения. Мне не удается стать торжественным, самое большее – я прихожу в смущение... Думать по-немецки, чувствовать по-немецки – я способен на все, но *это* свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что и свои филологические исследования я конципирую, как парижский romancier[1] – до абсурда увлекательно. В самом Париже изумлялись «toutes mes audaces et finesses»[2] – выражение месье Тэна; я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой, то есть «немецкой», – примесь esprit... Я не могу иначе. Помоги мне, Боже! Аминь. – Мы знаем все, некоторые даже из опыта, кого называют длинноухим. Что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабенок – мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю... Я *Антиосел* par excellence, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, – по-гречески, и не только по-гречески, я *Антихрист*...

3.

Мне до некоторой степени известны мои сильные стороны как писателя; отдельные случаи даже доказывали мне, насколько сильно привычка к моим сочинениям «портит» вкус. После этого просто не можешь выносить других книг,

1 романист (*фр.*).

2 всем моим дерзостям и тонкостям (*фр.*).

особенно философских. Это несравненное отличие – войти в столь благородный и деликатный мир: для этого совершенно не обязательно быть немцем; в конечном счете это отличие, которое надо заслужить. Но тот, кто родственен мне *высотою* своего воления, переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, на которые не залетала ни одна птица, я знаю бездны, в которых не блуждал еще ни один человек. Мне говорили, что от моих книг невозможно оторваться, – я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: они достигают порою наивысшего, что достижимо на свете, – цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Любая душевная вялость исключает человека из числа их читателей, раз и навсегда, и даже какая-нибудь диспепсия исключает: нельзя иметь нервов, нужно веселое брюхо. Не только бедность и спертый воздух души несовместимы с их чтением, но и, в еще большей степени, все трусливое, нечистое, скрытно-мстительное, что есть в наших внутренностях: мое слово – как встречный ветер для всех дурных инстинктов. Среди моих знакомых есть немало подопытных животных, с помощью которых я могу отведать столь разную, поучительно разную реакцию на мои сочинения. Те, кому нет никакого дела до их содержания, например, мои так называемые друзья, становятся при этом нейтрально-«безличными»: желают, чтобы у меня снова получилось зайти «так далеко», – а также говорят, что налицо прогресс по части большей бодрости интонации... Совершенно порочные «умы», «прекрасные души», насквозь изолгавшиеся, вовсе не знают, что им делать с этими книгами, – следовательно, они считают их *ниже* себя: прекрасная последовательность всех «прекрасных душ». Быдло среди моих знакомых, просто немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют мое мнение, но иногда, к примеру, все же... Такое я слышал даже о Заратустре... Точно так же всякий «феминизм» в человеке, в частности, в мужчине, является для меня тайной за семью печатями: невозможно войти в этот лабиринт дерзких познаний. Нельзя щадить себя, *жестокость* должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестоких истин быть веселым и бодрым. Когда

я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным авантюристом и открывателем. В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры – кто те одиночки, к которым я в сущности обращаюсь: *кто* те, кому он захотел бы рассказать свою загадку?

> Вам, отважным искателям, испытателям и тем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, –
>
> вам, опьяненным загадками, любителям полумрака, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:
>
> – ибо не хотите вы нащупывать нить трусливой рукой; и где вы можете *отгадать*, там ненавидите вы *делать выводы*...

4.

Вместе с тем выскажу общее замечание о моем *искусстве стиля*. *Поделиться* состоянием, внутренним напряжением пафоса через знаки, включая сюда и темп этих знаков, – в этом состоит смысл всякого стиля. А если учесть, что многообразие внутренних состояний у меня исключительно, то у меня есть множество стилевых возможностей – самое многостороннее искусство стиля, каким кто-либо вообще обладал. *Хорош* всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в *жестах* – все законы периода суть искусство жеста. Мой инстинкт здесь безошибочен. – Хороший стиль *сам по себе* – *чистая глупость*, голый «идеализм»: все равно что «прекрасное *само по себе*» или «добро *само по себе*» или «вещь *сама по себе*»... При том непременном условии, что есть уши – уши, способные на подобный пафос и достойные его, – что нет недостатка в тех, с кем *позволительно* делиться собою. – Мой Заратустра, например, до сих пор ищет их – ах! ему еще долго придется их искать! – Нужно быть *достойным* того, чтобы слышать его... А до тех пор не будет никого, кто бы постиг расточенное здесь *искусство*:

никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное возможно именно на немецком языке – это еще нужно было доказать: я и сам бы раньше со всей решительностью отрицал это. До меня не знали, чего можно добиться с помощью немецкого языка, чего можно добиться с помощью языка вообще. Искусство *великого* ритма, *великий стиль* периодичности для выражения чудовищных взлетов и падений утонченной, сверхчеловеческой страсти, был впервые открыт мною; дифирамбом «Семь печатей», которым завершается *третья* часть «Заратустры», я поднялся на тысячу миль надо всем, что до сих пор называлось поэзией.

5.

Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных *психолог*, это, возможно, первое, что становится ясно хорошему читателю – читателю, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых в сущности согласен весь мир – не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, – выступают у меня как наивности заблуждения: например, вера в то, что «эгоистическое» и «неэгоистическое» суть противоположности, тогда как на самом деле само ego есть только «высшее мошенничество», «идеал»... Нет *ни* эгоистических, *ни* неэгоистических поступков; оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или вот положение: «человек стремится к счастью»... Или же положение: «счастье есть награда добродетели»... Или еще положение: «удовольствие и неудовольствие – противоположности». Цирцея человечества, мораль, извратила – *заморалила* – всю psychologica до самых основ, вплоть до той ужасной нелепицы, будто любовь есть нечто «неэгоистическое»... Надо крепко сидеть на *себе*, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе вообще не *сможешь* любить. Это в конечном счете слишком хорошо знают бабенки: они черт знает что творят с самоотверженными, сугубо объективными мужчинами...

Могу ли я при этом отважиться предположить, что я *знаю* бабенок? Это часть моего дионисического приданого. Как знать, может быть, я первый психолог Вечно-Женственного. Они все любят меня – это старая история – не считая *увечных* бабенок, «эмансипированных», лишенных способности к деторождению. – К счастью, я не намерен отдавать себя на растерзание: совершенная женщина может растерзать, если она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... Ах, что это за опасная, скользящяя, подземная хищная зверушка! И какая лапочка при этом!.. Маленькая женщина, стремящаяся отомстить, способна сбить с ног даже судьбу. – Женщина несравненно злее мужчины, а также умнее его; доброта в женщине есть уже форма *вырождения*... У всех так называемых «прекрасных душ» есть в основе какой-нибудь физиологический изъян, – я высказываю вслух не всё, иначе я стал бы меди-циником. Борьба за *равные* права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. – Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, вечная *война* полов, заведомо отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви – единственного, которое достойно философа? Любовь – в своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. – Слышали ли мой ответ на вопрос, как *излечивают* женщину – «избавляют» ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок, мужчина всегда лишь средство: так говорил Заратустра. – «Эмансипация женщины» – это инстинктивная ненависть *неудавшейся*, то есть не способной к деторождению, женщины к женщине удавшейся – борьба с «мужчиной» есть всегда только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая *себя* как «женщину как таковую», как «высшую женщину», как «идеалистку», *понизить* общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как гимназическое образование, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины суть *анархистки* в мире «Вечно-Женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение... Целая порода зловреднейшего «идеализма» – который, кстати, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы, – задалось целью *отравить* чистую совесть, при-

родное в половой любви... И чтобы не оставалось никаких сомнений в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против *порока*: под словом «порок» я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если предпочитаете красивые слова, с идеализмом. Это положение гласит: «проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием «скверны» есть преступление перед самой жизнью, – есть настоящий грех против святого духа жизни.»

6.

Чтобы дать понятие о себе как психологе, возьму занятный кусочек психологии из «По ту сторону добра и зла» – я воспрещаю, впрочем, какие-либо предположения о том, кого я описываю в этом месте. «Гений сердца, свойственный тому великому Сокровенному, богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос умеет дойти до самой преисподней каждой души, кто и слова не скажет, и взгляда не бросит без скрытого намека на соблазн, кто обладает мастерским умением казаться – не тем, что он есть, а тем, что все *более* побуждает следующих ему рваться к нему и со все более глубоким и сильным влечением следовать за ним... Гений сердца, который заставляет замолкать и учит прислушиваться все громкое и самодовольное, который разглаживает заскорузлые души, давая им отведать нового желания, – быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо... Гений сердца, который научит неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю добра и сладкой одухотворенности под темным толстым льдом, и служит волшебным жезлом для каждой крупицы золота, долго лежавшей погребенною в своей темнице из ила и песка... Гений сердца, от прикосновения которого каждый становится богаче, но не облагодетельствованным и ошеломленным, не осчастливленным и подавленным чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого

себя, проявленным, овеянным и выслушанным теплыми ветрами, быть может, не столь уверенным, более нежным, ломким и даже надломленным, но полным надежд, которым еще нет названья, полным новых желаний и приливов, полным новых нежеланий и отливов...»

Рождение трагедии

1.

Чтобы быть справедливым к «Рождению трагедии» (1872), следует кое о чем забыть. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней ошибочного, – своей соотнесенностью с *вагнерианством*, как если бы последнее было симптомом *расцвета*. Именно это сделало ту книгу событием в жизни Вагнера: ведь только с тех пор с именем Вагнера стали связывать большие надежды. Еще и теперь напоминают мне в связи с «Парсифалем», что собственно на *моей* совести лежит распространение столь высокого мнения о *культурной ценности* этого движения. – Я неоднократно встречал цитирование книги как «*Воз*рождения трагедии из духа музыки»: если к чему и были восприимчивы, то только к новой формуле искусства, к намерениям и *назначению Вагнера*, – но за этим не услышали всё то ценное, что таила в своей основе эта книга. «Эллинство и пессимизм»: вот что было бы более недвусмысленным заглавием – именно, как первый урок того, каким образом греки отделывались от пессимизма, – чем они *преодолевали* его... Именно трагедия и есть доказательство, что греки *не* были пессимистами; Шопенгауэр ошибся в этом, как он ошибался во всем. – Если взглянуть на «Рождение трагедии» с некоторой нейтральностью, оно выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно *начато* под гром битвы при Верте. Я обдумывал эти проблемы под стенами Меца, холодными сентябрьскими ночами, среди обязанностей санитарной службы; скорее уж можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно – «не по-немецки», как скажут

сегодня, – от него разит неприлично гегелевским духом, лишь в некоторых формулах оно отдает горьковато-трупным шопенгауэровским парфюмом. «Идея» – противоположность дионисического и аполлонического – переведенная на метафизический; сама история как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, – при подобной оптике все эти вещи, никогда еще не видевшие друг друга в лицо, теперь были неожиданно сопоставлены одна с другой, друг из друга освещены и *постигнуты*... Например, опера и революция... Двумя решительными *новшествами* книги являются, во-первых, толкование *дионисического* феномена у греков – здесь впервые дана его психология, здесь в нем увиден единый корень всего греческого искусства. Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, в котором впервые признали орудие греческого разложения, типичного décadent. «Разумность» *против* инстинкта. «Разумность» любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное молчание по поводу христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично, оно *отрицает* все *эстетические* ценности – единственные ценности, признаваемые в «Рождение трагедии»: оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел *утверждения*. А однажды встречается намек на христианских священников как на «коварный род гномов», «подземных жителей»...

2.

Этот дебют необычен сверх всякой меры. Для своего сокровеннейшего опыта я *открыл* единственное иносказание и подобие, которое есть в истории, – именно за счет этого я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же тем, что я признал décadent в Сократе, было дано вполне недвусмысленное доказательство, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, – сам взгляд на мораль как симптом décadence есть новшество, явление первого ранга в истории познания. Как высоко

перепрыгнул я этими двумя вещами жалкую болтовню тупиц на тему: оптимизм contra пессимизм! – Я впервые узрел настоящую противоположность: *вырождающийся* инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм в его типических формах), и рожденная из полноты, из преизбытка формула *высшего утверждения*, безоговорочное утверждение, даже если речь идет о страдании, даже о вине, обо всем сомнительном и отпугивающем в существовании... Это последнее, самое радостное, раскрепощенно-задорнейшее утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, но и *глубочайшее*, строжайшим образом подтвержденное и утвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не может быть сброшено со счетов, нет ничего лишнего – отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны бытия занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем те, что мог бы одобрить, *означить добрыми* инстинкт décadence. Чтобы постичь это, нужно *мужество* и, как его условие, избыток *силы*: ибо ровно настолько, насколько мужество *может* отважиться на движение вперед, настолько же по мере наших сил приближаемся мы к истине. Познавать, говорить «да» реальности – это такая же необходимость для сильного, как для слабого, поддающегося слабости, – трусить и *бежать* от реальности: в «идеал»... Слабые не вольны познавать: décadents нужна ложь – она составляет одно из условий их существования. – Кто не только понимает слово «дионисическое», но и *себя* включает в слово «дионисическое», тому не нужно опровергать Платона, или христианство, или Шопенгауэра, – он просто *обоняет разложение*...

3.

В какой мере именно здесь я нашел понятие «трагического», конечное познание того, что такое психология трагедии, выражено мною напоследок еще в *Сумерках идолов*, на стр. 139: «Говорить жизни «да» даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая, когда

она приносит в *жертву* собственной неисчерпаемости свои высшие типажи, – *вот* что назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии *трагического* поэта. *Не* для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурной его разрядкой – таково было ложное понимание этого у Аристотеля, – но для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *самому быть* вечной радостью становления, – той радостью, которая заключает в себе также и *радость уничтожения...*» В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого *трагического философа* – стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого философа пессимистического. До меня не существовало этого превращения дионисического в философский пафос: недоставало *трагической мудрости* – тщетно искал я ее признаков даже у *великих* греков философии, живших за два столетия до Сократа. У меня, правда, остались сомнения насчет Гераклита, рядом с которым мне вообще теплее и приятнее, чем где-либо еще. Утверждение преходящести *и уничтожения*, отличительное для дионисической философии, согласие на противоположность и войну, *становление*, при радикальном отказе даже от самого понятия «бытие» – в этом я несмотря ни на что должен признать самые близкие мне из всех до сих пор рожденных мыслей. Учению о «вечном возвращении», то есть о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, – этому учению Заратустры мог уже однажды учить и Гераклит. Оно оставило свой след его есть по крайней мере у стоиков, унаследовавших от Гераклита почти все свои основные представления.

4.

Из этого сочинения говорит неслыханная надежда. В конце концов у меня нет никаких оснований отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед, предположим, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности и порчи человечества удастся. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, взращивание высше-

го человечества, включая беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает снова возможным на земле тот *преизбыток жизни*, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю *трагическую* эпоху: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество оставит позади себя опыт жесточайших, но совершенно необходимых войн, память *о которых уже не будет вызывать в нем страдания*... Психолог мог бы еще добавить, что то, что мне слышалось в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что слышал *я*, – что мне инстинктивно приходилось переводить и перевоплощать все в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому – *настолько убедительное, насколько может быть убедительным доказательство*, – мое сочинение «Вагнер в Байройте»: во всех решающих в психологическом отношении местах речь идет только обо мне, – можно не раздумывая ставить мое имя или слово «Заратустра» там, где в тексте значится «Вагнер». Весь образ *дифирамбического* художника есть образ *предсуществующего* поэта Заратустры, нарисованный с бездонной глубиной и ни на мгновение не касающийся вагнеровской реальности. Сам Вагнер сознавал это; он не узнал себя в моем сочинении. – Равным образом «идея Байройта» превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот *великий полдень*, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, – как знать, не видение ли праздника, который я еще переживу?.. Пафос первых страниц всемирно-историчен; *взгляд*, о котором идет речь на седьмой странице, есть настоящий взгляд Заратустры; Вагнер, Байройт, все мелкое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все важнейшие черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера – соседство самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой не обладал еще ни один человек, безоглядная смелость в сфере духа, безграничная сила к учению, не подавляющая при этом волю к действию. Все в этом сочинении возвещено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость *анти-*

Александров, которые снова *завяжут* однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушаются в тот всемирно-исторический акцент, с которым на странице 30 вводится понятие «трагического настроя»: в этом сочинении повсюду расставлены всемирно-исторические акценты. Это самая странная «объективность», какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, чтó я *собой представляю*, проецировалась на любую случайную реальность, – истина обо мне говорила из полной трепета глубины. На стр. 71 с поразительной уверенностью описан и предвосхищен *стиль* «Заратустры»; и никогда не найдут более великолепного выражения для *события* Заратустра, этого акта невиданного очищения и освящения человечества, чем на страницах 43–46.

Несвоевременные

1.

Четыре *Несвоевременных* исключительно воинственны. Они доказывают, что я не был «Гансом-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, – может быть, даже, что у меня опасно раскованная рука. *Первое* нападение (1873) было на немецкое образование, на которое я уже тогда поглядывал сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этого образования или даже в пользу *его* победы над Францией... *Второе* Несвоевременное (1874) выносит на свет то опасное, подтачивающее и отравляющее жизнь, что есть в нашей индустрии науки: жизнь, *больную* этим обесчеловеченным автоматизмом и механицизмом, «*безличностью*» работника, ложной экономией «разделения труда». Утрачивается *цель* – культура: средства – современная индустрия науки – *низводят на уровень варварства*... В этом исследовании «историческое чувство», которым гордится этот век, впервые признается болезнью, типичным

признаком упадка. – В *третьем и четвертом* Несвоевременном, как указание на *высшее* понимание культуры, на восстановление понятия «культура», выставлены два образа суровейшего *себялюбия и самодисциплины,* несвоевременные типы par excellence, полные независимого презрения ко всему, что вокруг них называлось «Рейхом», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», – Шопенгауэр и Вагнер, *или,* одним словом, Ницше...

2.

Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Вызванный им шум был во всех отношениях великолепен. Я прикоснулся к болячке победоносной нации – к тому, что ее победа *не* событие культуры, а возможно... возможно, нечто совсем иное... Ответная реакция была со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я высмеял как тип немецкого образованного филистера и satisfait, короче, как автора его распивочного евангелия о «старой и новой вере» (выражение «образованный филистер» перешло из моей книги в разговорную речь). Эти его старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я счел потешным их диво, их Штрауса, отвечали с такой грубой неловкостью, о которой можно было только мечтать; прусские возражения были умнее – в них было больше «берлинской лазури». Самое неприличное выдал один лейпцигский листок, пресловутый «Grenzboten»; мне стоило труда удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Среди них – Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Также старый гегельянец Бруно Бауэр, в лице которого я с тех пор заимел одного из самых внимательных моих читателей. В последние годы своей жизни он любил ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии «культура». Самое глубокомыс-

ленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По этому сочинению он предвидел для меня великое назначение – вызвать род кризиса и дать высшее разрешение проблемы атеизма; он угадал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. – Лучше всего услышана и кислее всего воспринята была чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обычно столь мягкого Карла Хиллебранда, этого последнего немецкого *гуманиста,* умеющего владеть пером. Тогда его статью читали в «Augsburger Zeitung», а теперь ее можно прочесть, с несколько более осторожными формулировками, в собрании его сочинений. Здесь моя книга была представлена как событие, поворотный пункт, первое самоосознание, наилучшее знамение, – как настоящее *возвращение* немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Хиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении между личностью и сутью дела: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки – плод столь опасного именно для немцев, столь противопоказанного им искусства полемики. Безусловно соглашаясь со мной, и даже заостряя то, что я отважился сказать о люмпенизации языка в Германии (теперь они разыгрывают из себя пуристов и не могут уже связать двух слов), в презрении к «первым писателям» этой нации, он закончил выражением своего восхищения перед моим *мужеством,* – тем «высшим мужеством, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых»... Степень воздействия этого сочинения на мою жизнь невозможно переоценить. Никто с тех пор не пытался завязать ссору со мной. Все молчат, в Германии со мною обходятся с насупленной осторожностью: я уже на протяжении ряда лет пользуюсь безусловной свободой слова, для которой сегодня у меня *руки* развязаны так, как ни у кого в мире, тем более в «Рейхе». Мой рай покоится «под сенью моего меча»... В сущности я применил правило Стендаля: он советует ознаменовывать свое появление в обществе *дуэлью.* И какого я выбрал себе противника! Первого немецкого вольнодумца!.. На самом деле в

этом впервые выразил себя совершенно *новый* род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская species «libres penseurs»[1]. С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами «современных идей», нахожусь я даже в более глубоком противоречии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему «улучшить» человечество, по собственному образцу; если бы они только понимали, чем я являюсь и чего я *хочу*, они вели бы непримиримую войну против этого, – все они еще верят в «идеал»... Я – первый *имморалист*.

3.

Чтобы отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера «Несвоевременные» могли особенно служить уяснению обоих этих случаев или хотя бы только психологической постановке вопроса о них, – этого утверждать не приходится, за исключением разве что некоторых частностей. Так, например, с глубокой инстинктивной уверенностью главный элемент в натуре Вагнера обозначен здесь как актерский дар, который в своих средствах и намерениях руководствуется лишь последующим эффектом. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не имеющая себе равных проблема воспитания, новое понятие *самодисциплины, самозащиты*, доходящей до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам желали впервые найти свое выражение. По сути я притянул за волосы два знаменитых персонажа, которым при этом еще совершенно не найдено определения, как притягивают за волосы всякую случайность, – дабы высказать нечто, дабы раздобыть себе несколько новых формул, знаков, языковых средств. В общем-то, указание на это, данное с достаточно тревожащей прозорливостью, можно встретить на с. 350 третьего «Несвоевременного». Подобным образом Платон воспользовался Сократом как семиотикой для себя. – Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния,

---

1 вольнодумец (*фр.*).

свидетельством которых являются эти *сочинения*, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байройте» есть видение моего будущего; напротив, в «Шопенгауэра как воспитателя» вписана моя сокровенная история, мое *становление*. И прежде всего – мой *обет!*.. То, *чем* я сегодня являюсь и *где* я сегодня нахожусь, – на такой высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, – о, как далек я был тогда еще от этого! – Но я *видел* землю – я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности – *и* в успехе! Великий покой, царящий в этом обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обетованием! – Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка и в очень болезненных вещах, есть слова прямо-таки кровоточащие. Но ветер *великой* свободы проносится надо всем; даже ранение *не* оказывается здесь возражением. – О том, как я понимаю философа – как страшный взрывчатый материал, угрожающий всему вокруг, – как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических «жвачных животных» и прочих профессорах философии: на этот счет мое сочинение дает бесценный урок, даже если учесть, что в сущности речь здесь идет не о «Шопенгауэре как воспитателе», но о его *противоположности* – «Ницше как воспитателе». – Если принять во внимание, что моим ремеслом тогда было ремесло ученого и что я, пожалуй, *разбирался* в своем ремесле, то суровый образчик психологии ученого, нежданно явленный в этом сочинении, окажется не лишенным значительности: он выражает *чувство дистанции*, глубокую уверенность в том, что может быть для меня *задачей*, а что – только средством, развлечением и побочным занятием. Мой фокус в том, чтобы быть многим и многосущим, дабы суметь стать единым – дабы суметь прийти к единому. Я просто *должен* был некоторое время побыть ученым.

Человеческое. Слишком человеческое

С двумя продолжениями

1.

«Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для *вольных* умов: почти каждая фраза в нем выражает победу – этой книгой я освободился от всего *не присущего* моей натуре. Не присущ мне идеализм – заглавие гласит: «там, где *вы* видите идеальные вещи, *я* вижу – человеческое, ах, слишком уж человеческое!»... Я знаю человека *лучше*... «Вольный ум» здесь не следует понимать ни в каком ином смысле, кроме как *освободившийся* ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, а при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность *аристократического* вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти *Вольтера* как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я. – Имя Вольтера на моем сочинении – это был действительно шаг вперед – *к себе*... Если присмотреться поближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, в которых идеал чувствует себя дома, в которых находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не «неверный» свет, освещается с режущей яркостью этот *подземный мир* идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов – перечисленное было бы еще «идеализмом». Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается – *он замерзает*... Здесь, например, замерзает «гений»; чуть дальше замерзает «святой»; под толстым слоем льда замерзает «герой»; под конец замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает – почти всюду замерзает «вещь в себе»...

2.

Возникновение этой книги относится к неделям первого байройтского фестиваля; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда перебежали мне дорогу, сможет догадаться, что творилось у меня на душе, когда я однажды проснулся в Байройте. Совсем как если бы я грезил... Где это я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен – далекий остров блаженных: ни тени сходства с ним. Те несравненные дни, когда закладывался фундамент, маленькая группа людей, имевших отношение к этому событию и праздновавших его, которые знали толк в самых тонких и нежных вещах: ни тени сходства. *Что случилось?* – Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! *Немецкое* искусство! *немецкий* маэстро! *немецкое* пиво!.. Мы, другие, слишком хорошо знающие, к каким рафинированным артистам, к какому космополитизму вкуса обращено искусство Вагнера, мы были вне себя, обнаружив Вагнера увешанным немецкими «добродетелями». – Я думаю, что знаю вагнерианцев, я «пережил» три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до «идеалистов» Байройтских листков, путавших Вагнера с самими собою, – я слышал всякого рода признания «прекрасных душ» по поводу Вагнера. Полцарства за *одно* осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, *Коль* – грациозные in infinitum! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. – Бедный Вагнер! Куда он попал! – Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. Следовало бы в назидание потомству сделать чучело истинного байройтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо спиритуальности ему как раз недостает, – снабдив надписью: так выглядел «дух», на котором был основан «Рейх»... Довольно об этом! Я уехал посреди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко среди лесов затерянном местечке

в Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени тезисы под общим названием «Лемех» в свою записную книжку, – сплошь *суровые* psychologica, которые, возможно, встретятся в «Человеческом, слишком человеческом».

3.

То, что тогда во мне решилось, не было просто разрывом с Вагнером – я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь симптомами. *Нетерпение* к себе охватило меня; я понял, что настала пора вернуться к себе и сознать *себя*. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было растрачено – каким бесполезным, каким самодурством выглядело в свете моей задачи все это мое филологическое существование! Я устыдился этой *ложной* скромности... Десять лет за плечами, в которые *питание* моего духа было совершенно остановлено, в которые я не научился ничему годному, в которые я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Педантично пропахивать своими больными глазами тома античных стихотворцев – вот до чего я дошел! – С жалостью видел я, что вконец отощал, вконец изголодался: *реальностей* в моем знании не было вовсе, а «идеальности» ни к черту не годились! – Поистине жгучая жажда охватила меня – с этих пор я на самом деле не занимался ничем иным, кроме физиологии, медицины и естественных наук, – даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к тому моя *задача*. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым «призванием», к которому ты *менее всего* призван, – и потребностью *заглушать* голод и ощущение пустоты наркотическим искусством – например, вагнеровским. Внимательно оглядевшись, я обнаружил, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально *вынуждает* другую. В Германии, в «Рейхе», чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены несвоев-

ременно делать выбор, и потом *зачахнуть* под бременем, от которого уже нельзя избавиться... Они нуждаются в Вагнере как в *опиуме* – они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что я говорю! *На пять, а то и на шесть часов!*

4.

Тогда мой инстинкт неумолимо восстал против дальнейших уступок, против следования за другими, смешения себя с другими. Какой угодно образ жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность – все казалось мне предпочтительнее той недостойной «самоотверженности», в которое я поначалу впал по незнанию, по *молодости*, и в котором позднее застрял по привычке, из так называемого «чувства долга». – Здесь, самым удивительным образом, и притом в самое нужное время, мне пришло на помощь *дурное* наследство со стороны моего отца, – в сущности, предназначенность к ранней смерти. Болезнь *медленно высвобождала меня*: она избавила меня от необходимости разрыва, всякого насильственного и вызывающего шага. Я не утратил тогда ничьего благорасположения, а во многих случаях еще и приобрел его. Болезнь дала мне также право на полную смену всех моих привычек; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *вынужденными* бездействием, праздностью, выжиданием и терпением... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от «книги». Я годами ничего больше не читал – *величайшее* благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! – Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей *необходимостью* слушать другие Само (а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, – но наконец *оно снова заговорило*. Никогда не находил я в себе столько счастья, как в самые болезненные, самые страдальческие времена *моей* жизни: стоит только взглянуть на «Утреннюю зарю» или на «Странника и его тень», чтобы понять, чем было это «возвращение к *себе*»: высшим родом *выздоровления*!.. Другое было всего лишь его следствием.

5.

Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я разом положил конец всему занесенному в меня «надувательству высшего порядка», «идеализму», «прекрасным чувствам» и прочим женственностям, – было в основном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимой, которую я провел в Базеле в несравненно менее благоприятных, чем в Сорренто, условиях. В сущности, эта книга на совести господина *Петера Гаста,* тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он записывал, а также исправлял – он был в сущности настоящим писателем, а я только автором. Когда в руках оказалась наконец готовая книга – к глубокому удивлению тяжелобольного, – я отправил в том числе два экземпляра и в Байройт. Каким-то чудом смысла, явленного в случайности, ко мне одновременно пришел прекрасный экземпляр текста «Парсифаля» с вагнеровским посвящением мне – «дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник». – Это скрещение двух книг – мне казалось, будто я услышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились *клинки?..* Во всяком случае именно так мы оба восприняли это: ибо мы оба промолчали. – К тому времени появились первые «Байройтские листки»: я понял, *чему* настала пора. – Невероятно! Вагнер стал набожным...

6.

Как я думал тогда (1876) о себе, с какой колоссальной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, – об этом свидетельствует вся книга, но прежде всего одно очень выразительное место в ней: единственно, что и тут я с инстинктивной во мне хитростью вновь обошел словечко «я»; но на сей раз всемирноисторической славой я озарил не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного Пауля Рэ – к счастью, он оказался слишком тонким существом, чтобы...

Другие были менее тонки: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший рэализм. На самом деле она заключала в себе противоречие пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к «Генеалогии морали». – Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых смелых и хладнокровных мыслителей, автор книги «О происхождении нравственных восприятий» (lisez[1]: Ницше, первый *иммофалист*), с помощью своего острого и проницательного анализа человеческого поведения? «Нравственный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, – *ибо* умопостигаемого мира не существует»... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: *переоценки всех ценностей*), сможет, вероятно, некогда в будущем – 1890! – послужить секирой, которая будет положена у корней[2] «метафизической потребности» человечества, – на благо или на проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? И во всяком случае стать положением, которое чревато важнейшими последствиями, – одновременно плодотворным и страшным, и взирающим на мир тем *двойственным взором*, который бывает присущ всякому великому познанию...

Утренняя заря

Мысли о морали как предрассудке

1.

Этой книгой начинается мой поход против *морали*. Не то чтобы в ней, хотя бы едва, чувствовался запах пороха – скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные, запахи, особенно при условии некоторой чуткости

---

1 читай (*фр.*).

2 см. Мф 3, 10. а также прим.

ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии; если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а *не* как пушечный выстрел. Что с книгой расстаются с боязливой осторожностью ко всему, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не противоречит тому, что во всей книге не встречается ни единого отрицательного слова, ни единого нападения, ни единой колкости, – скорее она покоится на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было придумано, *изловлено* в том хаосе скал близ Генуи, где я был один и имел общие тайны только с морем. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение оказывается крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравненное: вся ее кожа вздрагивает от нежного трепета воспоминаний. Искусство, которое эта книга ставит своей целью, есть немалое искусство закреплять вещи, легко и бесшумно скользящие мимо, закреплять мгновения, называемые мною божественными ящерицами, – не с жестокостью того юного греческого бога, который просто насаживал, как на вертел, бедных ящериц, но все же при помощи некоторого острия – пером... «Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» – эта *индийская* надпись значится на двери к этой книге. Где же *ищет* ее автор того нового утра, ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, с которой начнется новый день? – ах, целый ряд, целый мир новых дней! В *переоценке всех ценностей,* в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверии ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта *утверждающая* книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на сплошь дурные вещи, она снова возвращает им «душу», чистую совесть, право, *преимущественное право* на существование. На мораль тут не нападают, ее просто не принимают больше в расчет... Эта книга заканчивается вопросом «или?» – это единственная книга, которая заканчивается вопросом «или?»...

2.

Моя задача – подготовить для человечества момент высшего самоосознания, *великий полдень*, когда оно оглянется назад и взглянет вперед, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, *как целое*, вопросы: почему? зачем? – эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе *не* находится на верном пути, что оно управляется вовсе *не* божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности соблазнительно господствовал инстинкт отрицания, порчи, инстинкт décadence. Вопрос о происхождении моральных ценностей оттого и является для меня вопросом *первостепенной важности*, что он обусловливает будущее человечества. Требование, чтобы *верили*, что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, дает окончательную уверенность в божественном предводительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, переведенное обратно в область реальности, есть воля к подавлению истины о жалкой противоположности сказанного, а именно, что человечество до сих пор пребывало в *наисквернейших* руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мирохулителями и человекоосквернителями. Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и *затаившихся* священников – философов) сделался хозяином не только внутри определенной религиозной общины, но и всюду вообще, а мораль décadence, воля к концу, стала слыть моралью *как таковой*, заключается в безоговорочно высокой оценке, повсеместно выпадающей на долю неэгоистическому началу, и вражде, выпадающей на долю эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того я считаю *инфицированным*... Но весь мир не заодно со мною... У физиолога такое противопоставление ценностей не оставит ни малейшего сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени перестает заниматься само собой разумеющимся поддержанием своего функционирования, восполнением своей силы, перестает быть «эгоистичным», то вырождается и весь организм. Физиолог требует *ампутации* выродившейся части,

он отрицает любую солидарность с тем, что выродилось, он крайне далек от сострадания к нему. Но священник *хочет* именно вырождения целого, человечества: поэтому и *консервирует* он вырождающееся – ценой этого господствует он над человечеством... Какой смысл имеют ложные, *вспомогательные* понятия морали – «душа», «дух», «свободная воля», «Бог» – как не тот, чтобы физиологически разрушить человечество?.. Когда игнорируют серьезность самосохранения и укрепления тела, *то есть жизни*, когда из бледной немочи конструируют идеал, а из презрения к телу – «спасение души», то что же это, как не *рецепт* décadence? – Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, «самоотверженность» – одним словом, это называлось до сих пор *моралью*... «Утренней зарей» вступил я впервые в борьбу с моралью самоотречения.

Веселая наука

(«la gaya scienza»)

«Утренняя заря» – утверждающая книга, глубокая, но светлая и добрая. То же, но еще в большей степени, относится и к gaya scienza: почти в каждом ее предложении нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность за самый чудесный месяц январь, который я пережил – вся книга есть его подарок, – в достаточной степени объясняют, выйдя из какой глубины, стала здесь *веселой* «наука»:

Ты, что огненною пикой
Лед души моей разбил,
И к морям надежд великих
Бурный путь ей проложил:
И душа, светла и в здравье,
И вольна среди обуз,
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус! –[1]

---

1 Пер. К. Свасьяна.

Видящий, как заблистала в заключении четвертой книги алмазная красота первых слов Заратустры, – может ли он сомневаться в том, что именно называется здесь «великими надеждами»? – Или когда он читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые *на все времена* отливается в формулы судьба? *Песни принца Фогельфрая*, в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии «gaya scienza», о том единстве *певца, рыцаря и вольнодумца*, которым та чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение «*К мистралю*», лихая танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм.

Так говорил Заратустра

Книга для всех и ни для кого

1.

Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, *мысль о вечном возвращении*, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, – относится к августу 1881 года: она набросана на листе, подписанном: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шел в этот день поверху лесом вдоль озера Сильваплана; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурляя, я остановился. Там-то и пришла мне эта мысль. – Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу как предзнаменование внезапную и по сути решающую перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке – несомненно, то, что я возродился для искусства *слышать*, было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте близ Виченцы, где я провел весну 1881 года, я вместе с моим maëstro и другом Петером Гастом, еще одним «возродив-

шимся», понял, что мимо нас пролетел феникс Музыка, в оперении более легком и светоносном, чем кому-либо доводилось видеть. Когда же я, наоборот, отсчитываю от этого дня вперед, до внезапно и в самых невероятных обстоятельствах наступившего разрешения от бремени в феврале 1883 года – заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в *Предисловии*, была закончена как раз в тот священный час, когда в Венеции умер Рихард Вагнер, – то получается, что беременности длилась восемнадцать месяцев. Это число, именно восемнадцать, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слониха. – В этот промежуток укладывается «gaya scienza», несущая в себе сотню примет близости чего-то несравненного; наконец она дает даже самое начало «Заратустры», а в предпоследнем отрывке четвертой книги – основную мысль Заратустры. – В этот же промежуток укладывается и тот *Гимн к жизни* (для смешанного хора и оркестра), партитура которого два году тому назад вышла у Э.В. Фрицша в Лейпциге: не такой уж, быть может, малозначащий симптом для состояния этого года, когда мне был в высшей степени присущ *утверждающий* пафос par excellence, названный мною трагическим пафосом. Однажды этот гимн исполнят в память обо мне. – Текст, стоит подчеркнуть, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, – фройляйн Лу фон Саломе. Кто сумеет воспринять смысл последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхитился им: в них есть величие. Боль *не* служит доводом против жизни: «И если счастья ты мне больше дать не можешь, что ж! *дай мне боль*...» Быть может, в этом месте есть величие и в моей музыке. (Последняя нота гобоя – до диез, а не до. Опечатка.) – Следовавшую затем зиму я прожил в той очаровательно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших; зима выдалась холодная и чересчур дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто не давал спать, представляла почти во всем противоположность желаемого. Вопреки этому и почти в дока-

зательство моего утверждения, что все выдающееся возникает «вопреки», именно в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой «Заратустра». – В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной дороге к Зоальи, мимо сосен, глядя на бескрайнюю панораму моря; во второй половине дня, всякий раз, как позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эти места и этот ландшафт сделались еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую испытывал к ним незабвенный германский кайзер Фридрих III; случайно я снова очутился у этих берегов осенью 1886 года, когда он в последний раз посещал этот маленький забытый мир счастья. – На обеих этих дорогах пришел мне в голову весь первый «Заратустра», и прежде всего сам Заратустра как тип: точнее, он *снизошел на меня*...

2.

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что я называю *великим здоровьем*. Я не знаю, как разъяснить это понятие лучше, более *лично*, чем я уже сделал это в одном из заключительных разделов пятой книги «gaya scienza». «Мы, новые, безымянные, с трудом постижимые, – говорится там, – мы, недоноски еще не доказанного будущего, – нам для новой цели потребно и новое средство, а именно, новое здоровье, более крепкое, умудренное, цепкое, отважное, веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального «средиземноморья», кто хочет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, а равным образом и у художника, святого, законодателя, мудреца, ученого, благочестивого, предсказателя, пустынножителя старого стиля, – тот прежде всего нуждается для этого в *великом здоровье* – таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться... И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала,

более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, всё вновь и вновь здоровые, – нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим перед собой какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое «по ту сторону» всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя – ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, увидев такие перспективы и так изголодавшись по вести и совести, довольствоваться еще *современным человеком?* Довольно скверно, но неизбежно, что на его почтеннейшие цели и надежды мы будем теперь взирать только с деланной серьезностью, а может быть, и вовсе не будем... Перед нами носится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонять, ибо ни за кем не признаем с такой легкостью *права на него:* идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи, играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит *нечеловеческим,* скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, – и со всем тем, несмотря на все это, быть может только теперь и появляется впервые *великая серьезность,* впервые ставится вопросительный знак, поворачивает в сторону судьба души, сдвигается стрелка, *начинается* трагедия...»

3.

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли *вдохновением?* Если нет, то я опишу. – Невозможно отделаться от представления, в котором нет и следа суеверия, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится *видимым* и слышимым нечто, потрясающее тебя до самой глубины, опрокидывающее тебя, попросту описывает положение дел. Ты не ищешь, ты просто слышишь; ты берешь, не спрашивая, кто здесь дает; мысль вспыхивает, как молния, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, – передо мной ни разу не стоял выбор. Восторг, чудовищное напряжение которого то и дело разрешается в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то стремительными, то замедленными; ты совершенно вне себя, и при этом с предельной ясностью сознаешь неисчислимое множество тончайших подрагиваний и судорог до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое мрачное действуют не как противоположность, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая *краска* внутри такого избытка света; инстинкт ритмических соотношений, охватывающий далекие пространства форм – продолжительность, потребность в *далеко напряженном* ритме есть почти что мера силы вдохновения, своего рода компенсация за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, мощи, божественности... Самое замечательное – непроизвольность образа, сравнения; не имеешь больше понятия о том, где образ, где символ; все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Поистине, кажется, если вспомнить слова Заратустры, будто вещи сами приходят к тебе, предлагая себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и льстя тебе: ибо они хотят скакать на твоей спине. Верхом на всяком подобии скачешь ты здесь к любой истине. Здесь прыгают ко мне слова и раскрываются ларчики слов всякого бытия: здесь всякое

бытие хочет стать словом, здесь всякое становление хочет научиться у меня говорить«.) Это *мой* опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: «это и мой опыт».

4.

Потом я пролежал пару недель больной в Генуе. Затем последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить, – это было нелегко. В сущности меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на свете, которое я выбрал не добровольно; я пытался освободиться – я хотел в *Л'Акуилу*, антипод Рима, основанный из враждебности к Риму, как и я однажды осную место в память об атеисте и враге церкви comme il faut, одном из моих ближайших родичей, великом кайзере Гогенштауфене, Фридрихе II. Но мне препятствовало роковое стечение обстоятельств: пришлось вернуться. В конце концов я удовольствовался площадью Барберини, после того как меня утомили хлопоты, связанные с *антихристианской* местностью. Боюсь, что однажды, чтобы по возможности избавиться от дурных запахов[1], я справлялся даже в палаццо дель Квиринале, нет ли там тихой комнаты для философа. В loggia, высоко над вышеназванной площадью, откуда виден Рим, а глубоко внизу слышно журчание fontana, была создана самая одинокая песнь, из всех, когда-либо сочиненных, *Ночная песнь*; в ту пору вокруг меня все время носилась мелодия, полная несказанной печали, рефрен которой я снова нашел в словах: «мертвый перед бессмертием»... Летом, вернувшись в то священное место, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую часть «Заратустры». Десяти дней было достаточно; ни в одном из случаев – ни в первом, ни в третьем и последнем мне не понадобилось больше времени. В следующую зиму, под алкионическим небом Ниццы, которое тогда заблистало впер-

---

1 В ориг.: *schlechten Geruechen*, что может иметь значение как «дурных запахов», так и «дурной репутации». – *Прим. ред.*

вые в моей жизни, нашел я третью часть «Заратустры» – и закончил с ним. Меньше года хватило на все.

Много заброшенных уголков и вершин в ландшафте Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; тот ключевой раздел, который носит название «О старых и новых скрижалях», был создан во время труднейшего восхождения от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца – мои мускулы всегда становились ловчее всего, когда в изобилии текла творческая сила. Одухотворено *тело*: «душу» оставим в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без тени усталости, по семь-восемь часов бродить в горах. Я хорошо спал, много смеялся – я был исключительно вынослив и терпелив.

5.

За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом *после* «Заратустры» были ни с чем не сравнимым бедствием. Дорого расплачиваешься за то, что ты бессмертен: за это не раз умираешь при жизни. – Есть нечто, что называю я rancune[1] великого: всё великое, всякое творение, всякий поступок, однажды совершенный, немедленно обращается *против* того, кто его совершил. Именно потому, что он его совершил, он теперь *слаб*, он не выдерживает больше своего поступка, он не смотрит ему больше в лицо. Иметь *за* собой нечто, чего ты никогда не смел желать, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, – и нести теперь это *на* себе!.. Это может почти раздавить... Rancune великого! – Второе – это ужасная тишина, которую слышишь вокруг. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни одного приветного взора. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, пусть в очень различной степени, я испытывал со стороны почти каждого, кто был мне близок; кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дают почувствовать дистанцию, – *благородные* натуры, которые не могут жить без чув-

1 злопамятность, злоба (*фр.*).

ства пиетета, редки. – Третье – это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той колоссальной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого *творческого* деяния, всякого деяния, проистекающего из наиболее личного, интимного, сокровенного. *Малые* оборонительные возможности при этом словно выставлены на всеобщее обозрение; к ним нет никакого притока сил. – Я рискну еще указать, что ухудшается пищеварение, не хочется двигаться, слишком часто на тебя нападает озноб, а также чувство недоверия – того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем увидел его, – благодаря возвращению более мягких, более человеколюбивых мыслей: в *этом* есть теплота...

6.

Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может, вообще ничто и никогда не было сотворено от такого избытка силы. Мое понятие «дионисического» претворилось здесь в *наивысшее деяние;* применительно к нему вся остальная человеческая деятельность кажется бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты; Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто *создает* впервые истину, *правящий миром* дух, судьбу; поэты Веды суть только священники и не достойны даже развязать ремень у обуви Заратустры; и все сказанное есть еще только самый минимум и не дает никакого понятия о той дистанции, о том *лазурном* одиночестве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: «я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на всё более высокие горы; я строю хребет из всё более священных гор». Пусть соединят воедино дух и добро всех великих душ: все вместе не были бы они в состоянии произнести хотя бы одну речь Зара-

тустры. Грандиозна та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше *мог*, чем какой бы то ни было человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Высшие и низшие силы человеческой натуры, сладчайшее, легкомысленнейшее и ужаснейшее с бессмертной уверенностью струятся из *единого* источника. До этого не знали, что такое высота, что такое глубина, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано кем-либо из величайших. До Заратустры не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция, дрожащая от страсти; красноречие, ставшее музыкой; молнии, бьющие в не разгаданные доселе будущие. Самая могучая сила сравнений, какую видели мы когда-либо – убожество и игрушка рядом с этим возвращением языка к природе образности. – А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он касается нежной рукой даже своих противников, священников, и вместе с ними страдает о них! – Здесь в каждом мгновении преодолен человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, – в бесконечной дали лежит все то, что до сих пор называлось великим в человеке: лежит *ниже* его. Никому и никогда еще не грезились в качестве примет величия алкионическое, легконогость, постоянное присутствие задорной злости и все то, что еще типично для типа Заратустры. Именно в этом пространственном охвате, в этой доступности противоположностям Заратустра ощущает себя *наивысшей разновидностью всего сущего*; и если послушать, какое он дает ей определение, то можно отказаться от поисков равного ему.

> – душа с самой длинной лестницей, могущая опуститься очень низко,
>
> – самая обширная душа, которая дальше всего может бегать, блуждать и заблуждаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, –

– сущая душа, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* волить и желать, –

– убегающая от себя самой, широкими кругами себя догоняющая; самая мудрая душа, которую слаще всего уговаривает безумие, –

– больше всего любящая себя, в которой все вещи находят свое течение и противотечение, свой прилив и отлив – –

Но *это и есть понятие самого Диониса.* – Именно к нему приводит еще одно размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в том, как это он, говорящий такое неслыханное Нет, *творящий* такое Нет всему, чему до сих пор говорили Да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым легким и самым потусторонним – Заратустра есть танцор, – как это он, обладающий самым жестоким, самым страшным познанием действительности, посещенный «самой бездонной мыслью», не находит, несмотря на это, никакого возражения против существования, и даже против его вечного возвращения, – а скорее, находит еще одно основание *самому быть* вечным утверждением всех вещей, говорить «огромное, безграничное Да и Аминь»... «Во все бездны несу я свое благословляющее Да»... *Но это и есть еще раз понятие Диониса.*

7.

Каким языком будет говорить подобный дух, когда он заговорит с самим собой? Языком *дифирамба.* Я – изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою *перед восходом солнца* (III, 18): таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже глубочайшая тоска такого Диониса обращается еще в дифирамб; я беру в доказательство *Ночную песнь* – бессмертную жалобу того, кто из-за преизбытка света и мощи, из-за своей *солнечной* натуры обречен не любить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: только теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я свет; ах, если бы я был ночью! Но в том одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы я был темным и ночным! Как приник бы я к сосцам света!

И еще вас хотел бы я благословить, вы, искрящиеся звездочки и светлячки небес! – и быть блаженно счастливым от ваших даров света.

Но я живу в моем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что вырывается из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что рука моя никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу ожидающие глаза и просветленные ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О жажда желаний! О ненасытный голод среди пресыщения!

Они берут у меня, – но затрагиваю ли я их душу? Пропасть лежит между Давать и Брать; но даже через малую пропасть трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною – так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже тянется к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении: так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток; такое коварство льется из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от бесконечного раздавания.

Мои глаза не проливаются перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания наполненных рук.

Куда же ушли слезы из моих глаз и мягкость из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех, кто светит!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом, – для меня молчат они.

О, в этом вражда света к светящемуся, безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца к светящемуся, равнодушное к другим солнцам, – так движется всякое солнце.

Подобно буре, летят солнца своими путями, в этом – движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом холод их.

О, это только вы, темные, вы, ночные, создаете теплоту из светящегося! О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждой ночного! И одиночеством!

Ночь: теперь вырывается, как родник, из меня мое желание, – я хочу говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

8.

Такого никогда не сочиняли, никогда не чувствовали, такое никогда не было *выстрадано:* так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного заточения внутри света была бы Ариадна... Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Для всех подобных загадок ни у кого до сих пор не было решения, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь здесь

вообще видел загадки. – Заратустра дает однажды определение своей задаче – это и моя задача – с такой строгостью, что в *смысле* тут не ошибешься: он *утверждающий*, он *говорит Да*, доходя в этом до оправдания, до искупления даже всего минувшего.

> Я брожу среди людей, как среди обломков будущего, – того будущего, что вижу я.
>
> И в том всё мое творчество и стремление, чтобы творить и соединить воедино то, что является обломком, и загадкой, и ужасной случайностью.
>
> Как вынес бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, и отгадчиком, и избавителем от случая!
>
> *Спасти минувших*, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» – лишь это назвал бы я избавлением.

В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него «человек» – *не* предметом любви или даже предметом сострадания, – даже над *великим отвращением* к человеку стал Заратустра господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, нуждающийся в ваятеле.

> Не *хотеть* больше, не *ценить* больше и не *созидать* больше! ах, пусть эта великая усталость навсегда остается от меня далекой!
>
> Даже в познании чувствуя я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем *воля к рождению*.
>
> Прочь от бога и богов тянула меня эта воля; что осталось бы созидать, если бы боги – были здесь!
>
> Но к человеку влечет меня снова и снова страстная воля моя к созиданию; так устремляется молот к камню.
>
> Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, моих образов образ! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!
>
> *Страшно свирепствует мой молот против своей тюрьмы.* От камня пылью летят осколки; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я: ибо тень подошла ко мне – из всех вещей самая тихая, самая легкая подошла однажды ко мне!

Красота сверхчеловека подошла ко мне, как тень: что мне теперь – до богов!..

Напоследок выдвину еще один постулат: повод к нему дает выделенная строка. Для *дионисической* задачи к числу решающих предпосылок относятся твердость молота, *радость, черпаемая даже в уничтожении.* Императив: «станьте тверды!», самая сокровенная уверенность в том, *что все созидающие тверды,* есть настоящий отличительный признак дионисической натуры.

По ту сторону добра и зла

Прелюдия к философии будущего

1.

Задача для последующих лет была таким образом предначертана со всей возможной строгостью. После того как позитивная часть моей задачи была решена, настала очередь негативной, *негактивной* половины: переоценка самих господствовавших до сих пор ценностей, великая война – заклинание дня, который проведет черту. Сюда же относится и то, как медленно озираешься вокруг в поисках родственных натур – таких, которые из полноты силы протянули бы тебе руку помощи *в деле уничтожения.* – С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки; возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбалке?.. Если ничего не *ловилось,* то это не моя вина. *Не было рыбы...*

2.

Эта книга (1886) во всем существенном есть *критика современности,* не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, а заодно и указание

на противоположный этому типаж, который настолько несовременен, насколько это вообще возможно – типаж благородный, утверждающий. В этом последнем смысле книга представляет собою *школу gentilhomme*[1], если брать это понятие духовнее и *радикальнее,* чем когда-либо. Нужно иметь мужество во плоти, чтобы хотя бы выдержать ее, нужно не знать страха... Все вещи, которыми гордится наш век, воспринимаются здесь как противоречащие этому типажу, почти как дурные манеры, например, пресловутая «объективность», «сочувствие ко всему страждущему», «историческое чувство» с его раболепством перед чужим вкусом, с его пресмыкательством перед petits faits[2], «научность». – Если вспомнить, что эта книга следует *за* Заратустрой, то легко угадать тот диететический régime, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищным принуждением смотреть *вдаль* – Заратустра более дальнозорок, чем сам царь, – вынужден здесь остро схватывать ближнее, время, *окружающее.* Во всем, и прежде всего в форме, здесь можно увидеть такой вот *намеренный* отказ от тех инстинктов, из которых стал возможен Заратустра. Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве *молчания* стоит здесь на переднем плане, психологией тут орудуют с намеренной твердостью и жестокостью – эта книга обходится без добрых слов... На всем этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, *какого* рода отдых нужен после такой траты доброты, как «Заратустра»?.. Говоря теологически – пусть прислушиваются, ибо я редко говорю как теолог, – сам Бог улегся в конце своего трудового дня под видом змея под древо познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сделал все слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

---

1 аристократ (*фр.*).

2 маленькие факты, детали (*фр.*).

Генеалогия морали

Полемическое сочинение

Три рассмотрения, из которых состоит эта «Генеалогия», с точки зрения выражения, цели и искусства удивлять есть, быть может, самое зловещее, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, – еще и бог мрака. – Зачин здесь всякий раз *должен* вводить в заблуждение, – холодный, научный, даже ироничный, нарочито выпирающий, нарочито останавливающий на себе. Постепенно возрастает беспокойство; то и дело молнии; очень неприятные истины, оглашаемые издалека с глухим рокотом, – пока наконец не достигается tempo feroce, где все несется вперед с чудовищным напряжением. В конце, всякий раз, среди поистине ужасных раскатов, становится видимой среди густых туч *новая* истина. – Истина *первого* рассмотрения есть психология христианства: рождение христианства из духа ресентимента, а не, как верилось людям, из «духа», – по своей сути встречное движение, великое восстание против господства *аристократических* ценностей. *Второе* рассмотрение дает психологию *совести:* она *не* «голос Бога в человеке», как верилось людям, – она есть инстинкт жестокости, обращающийся вспять, внутрь, после того как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых оснований культуры, которое даже невозможно представить себе устранимым. *Третье* рассмотрение дает ответ на вопрос, откуда берется чудовищная *власть* аскетического идеала, идеала священника, при том, что это – идеал *вредный* par excellence, воля к гибели, идеал décadence. Ответ: *не* потому, что за спиною священников действует Бог, как обыкновенно думают, а faute de mieux[1] – потому, что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. «Ибо человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего *не* хотеть»... Прежде всего недоставало *противоположного идеала – вплоть до Заратустры.* – Меня поняли. Три решающие предварительные штудии психолога для переоценки всех ценностей. – Эта книга впервые содержит психологию священника.

---

1 за неимением лучшего (*фр.*).

Сумерки идолов

Как философствуют молотом

1.

Это сочинение менее чем в 150 страниц, с интонациями ясными и судьбоносными, демон, который смеется, – плод столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, – является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего – более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, как до меня все стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется *идолом* на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. *Сумерки идолов* – по-немецки: старая истина подходит к концу...

2.

Нет ни одной реальности, ни одной «идеальности», которая не была бы затронута в этом сочинении (– затронута: какой осторожный эвфемизм!..). Не только *вечные* идолы, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. «Современные идеи», например. Порывы великого ветра дуют между деревьями, и всюду падают плоды – истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые даже давишь насмерть – до того их много... Но в том, что остается в руках, уже нет ничего проблематичного – это уже решения. Только у меня в руках есть масштаб для «истин», теперь я *могу* решать. Как если бы во мне выросло *второе сознание*, как если бы «воля» зажгла во мне свет для себя над *неверной* тропой, по которой она до сих пор шла под откос... *Неверная* тропа – ее называли путем к «истине»... Покончено со всяким «темным стремлением», именно *добрый* человек меньше всего смыслил в верном пути... И, говоря вполне серьезно, никто до меня не знал настоящего пути, пути *вверх:* только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути

культуры, – *я их благостный вестник.* Именно поэтому являюсь я роком. –

3.

Непосредственно по окончании вышеназванного произведения и не теряя ни одного дня, взялся я за чудовищную задачу *Переоценки*, с таким независимо-гордым чувством, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая свое бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предо мною предстал самый прекрасный день, когда-либо виденный мною в Верхнем Энгадине – прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и все нюансы между льдом и Югом. – Лишь 20 сентября покинул я Зильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного места, чье имя одаряет бессмертием моя благодарность. После путешествия, полного инцидентов и даже опасности для жизни в полузатопленном Комо, до которого я добрался только глубокой ночью, 21-го днем я прибыл в Турин, мое *зарекомендовавшее себя* место, ставшее отныне моей резиденцией. Я снял ту же самую квартиру, которую занимал весною, на виа Карло Альберто 6, III-й этаж, напротив грандиозного палаццо Кариньяно, где родился Виктор Эммануил, с видом на пьяцца Карло Альберто и на раскинувшиеся дальше холмы. Не колеблясь и ни на мгновение не давая себя отвлечь, я вернулся к работе: оставалось написать лишь последнюю четверть произведения. 30 сентября – день великой победы; завершение «Переоценки»; отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я еще и *предисловие* к «Сумеркам идолов», корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. – Я никогда не переживал такой осени, я даже не думал, что что-нибудь подобное возможно на земле – Клод Лоррен, задуманный в бесконечность, каждый день, полный все такого же неукротимого совершенства.

Случай «Вагнер»

Проблема музыканта

1.

Чтобы быть справедливым к этому сочинению, надо страдать от судеб музыки как от открытой раны. *Отчего* страдаю я, страдая от судеб музыки? – Оттого, что музыка лишена своего миропросветляюшего, утверждающего характера, – что она теперь музыка décadence и уже не свирель Диониса… Но если допустить, что кто-нибудь в такой же степени ощущает дело музыки своим *собственным* делом, историей *собственных* страданий, то он найдет это сочинение снисходительным и чрезмерно мягким. Быть в таких случаях веселым и заодно добродушно высмеивать самого себя – ridendo dicere severum[1] там, где verum dicere[2] оправдало бы любую суровость, – это сама гуманность. Кто бы собственно мог сомневаться в том, что я, будучи старым артиллеристом, способен выкатить против Вагнера мое *тяжелое* орудие? – Всё, что в этом деле являлось решающим, я оставил при себе – я любил Вагнера. – Наконец, в суть моей задачи и в ее маршрут входит и атака на утонченного «незнакомца», которого не легко разгадать другому – о, мне предстоит открыть еще совсем иных «незнакомцев», чем какого-то Калиостро музыки, – и в еще большей степени, конечно же, атака на становящуюся в духовном отношении все более вялой и бедной инстинктами, все более *почтенной* немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства пищеварения проглатывает «веру» заодно с научностью, «христианскую любовь» заодно с антисемитизмом, волю к власти (к «Рейху») заодно с évangile des humbles[3]… Эта нехватка позиции среди противоположностей! Этот нейтралитет и «самоотверженность» желудка! Этот здравый смысл немецкого *нёба*, которое всему дает равные права, – которое всё

---

1 смеясь, говорить горькие вещи (*лат.*). Эпиграф к СВ; см. прим.
2 говорить правду (*лат.*).
3 Евангелие смиренных (*фр.*).

находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы – идеалисты... Когда я в последний раз посещал Германию, то застал немецкий вкус за предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Зэкингена; я сам *собственной персоной* был свидетелем того, как в Лейпциге в честь одного из самых настоящих и самых немецких музыкантов – немецких в старом смысле слова, а не в каком-нибудь там имперско-немецком, – мейстера *Генриха Шютца*, основывали ферейн Листа с целью поддержки и распространения *извилистой* церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы – идеалисты...

2.

Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и высказать немцам парочку суровых истин: *кто же еще сделает это, если не я?* – Я говорю об их разврате in historicis. Немецкие историки не только утратили *широкий взгляд* на ход, на ценности культуры, все они не только являются шутами политики (или церкви), но даже *подвергают остракизму* этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть «немцем», «расой», тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях in historicis – устанавливать их... «Немецкое» есть аргумент, «Deutschland, Deutschland über alles» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории; по отношению к imperium Romanum – носители свободы, а по отношению к восемнадцатому столетию – реставраторы морали, «категорического императива»... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, – существует *придворная* историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно все немецкие газеты под видом «истины» обошло идиотское мнение in historicis, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым *обязан-де согласиться* всякий немец: «Ренессанс *и* Реформация вместе образуют одно целое – эстетическое возрождение *и* возрождение нравственное». – От таких тезисов мое терпение подходит к концу, и я испытываю немалое желание, я ощущаю это даже как обязанность – сказать наконец немцам, *что* у них уже лежит на совести. *У них на совести все великие преступления*

против культуры, совершенные за четыре столетия!.. И всегда по одной причине: из-за их глубочайшей *трусости* перед реальностью, которая одновременно является трусостью перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, нечестности, из-за «идеализма»... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней *великой* эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда благородные, жизнеутверждающие и ручающиеся за будущее ценности одержали победу в стане противоположных, *упадочнических ценностей, – вплоть до самых инстинктов тех, кто в нем находился*! Лютер, это проклятье в монашеском обличии, реанимировал церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство – в тот момент, *когда оно было побеждено*... То самое христианство, это ставшее религией *отрицание воли к жизни*!.. Лютер, невозможный монах, не смогший им быть, который по причине этой своей «невозможности» напал на церковь и – следовательно! – реанимировал ее... У католиков были бы основания устраивать празднества в честь Лютера, сочинять представления в честь Лютера... Лютер – и «нравственное возрождение»! К черту всю психологию! – Без сомнения, немцы – идеалисты. – Дважды, в то самое время, когда с колоссальной отвагой и самопреодолением был обретен правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы умудрялись отыскать окольные пути к старому «идеалу», к примирению между истиной и «идеалом», в сущности – формулы на право отказа от науки, на право *лжи*. Лейбниц и Кант – это два величайших тормоза интеллектуальной честности Европы! – Наконец, когда на мосту между двумя столетиями décadence явился форс-мажор гения и воли, достаточно сильный, чтобы создать из Европы единство, политическое и *экономическое* единство в целях всемирного правления, немцы с их «войнами за свободу» лишили Европу смысла, чудесного смысла, заключенного в существовании Наполеона, – оттого-то все наступившее, все ныне существующее у них на совести: эта *враждебнейшая культуре* болезнь и колоссальная глупость под названием национализм, этот névrose nationale, которым больна Европа, это увековечение мелких государств Европы, *мелкой* политики. Они лишили Европу самого ее смысла, ее *разума* – они завели ее в тупик. – Знает ли кто-нибудь,

кроме меня, путь из этого тупика?.. Немалую задачу снова *связать* народы?..

3.

И наконец, отчего бы не дать слова моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из грандиозной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя на мне, и я сомневаюсь, чтобы в будущем у них вышло что-нибудь лучше. – Ах, как хотелось бы мне оказаться здесь *плохим* пророком!.. Моими читателями и слушателями естественным образом уже сейчас являются русские, скандинавы и французы, – будет ли их все больше? – Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только «бессознательных» фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Гегель, Шлейермахер заслуживают этого имени в той же мере, что и Кант и Лейбниц; все они только шляйермахеры[1]): они никогда не дождутся чести, чтобы первый *правдивый* ум в истории мысли, ум, в котором истина вершит суд над чеканкой фальшивых монет, коей промышляли на протяжении четырех тысячелетий, отождествлялся с немецким духом. «Немецкий дух» – это *мой* дурной воздух: мне трудно дышать в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности in psychologicis, которую выдает каждое слово, каждая мина немца. Они никогда не проходили через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, – какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт стократ превосходят правдивостью лучшего немца, – у них до сих пор не было психологов. Но психология – это почти масштаб для *чистоплотности* или *нечистоплотности* расы... А если нет даже чистоплотности, то какая тут может быть *глубина?* У немца, как у женщины, не добраться до основания, *он не имеет его*: вот и все. Но при этом он даже и не плосок. – То, что в Германии называется «глубоким», есть как раз тот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я сейчас го-

---

1 Фамилия Шлейермахер означает буквально «делающий покрывала». – *Прим. ред.*

ворю: не *хотят* в себе разобраться. Не вправе ли я пустить в оборот слово «немецкий» как международную монету для обозначения *этой* психологической испорченности? – В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим «христианским долгом» освобождение рабов в Африке: среди нас, *других* европейцев, это называлось бы просто «немецким»... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что может быть глубокого в книге. Я знал ученых, которые считали глубоким Канта: при прусском дворе, я боюсь, глубоким считают господина фон Трейчке. Когда же я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкие университетские профессора просят назвать его имя по буквам...

4.

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Мне будет даже лестно слыть человеком, par excellence презирающим немцев. Свое *недоверие* к немецкому характеру я выразил уже в двадцать шесть лет (третье «Несвоевременное», с. 71) – немцы для меня невыносимы. Когда я пытаюсь себе представить породу людей, которые претили бы всем моим инстинктам, то у меня всякий раз выходит немец. Первое, по чему я стараюсь разгадать человека, это – насколько у него в крови чувство дистанции, видит ли он повсюду ранжир, степень, иерархию между человеком и человеком, *умеет ли* он *различать:* этим отличается gentilhomme; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! такому добродушному понятию canaille. Но немцы и есть canaille – ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец *становится на равную ногу*... Если не считать общения с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Учитывая, что глубочайший ум всех тысячелетий явился среди немцев, какая-нибудь спасительница Капитолия может ведь вообразить, что и ее весьма непрекрасную душу тоже по крайней мере примут в расчет... Я не выношу этой расы, среди

которой всякий раз попадаешь в дурное общество, у которой нет пальцев для nuances – горе мне! я-то ведь nuance, – у которой нет esprit в ногах и которая даже не умеет ходить... В конечном счете у немцев вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости – они даже не *стыдятся* быть просто немцами... Они участвуют во всех разговорах наравне с другими, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже насчет меня они уже решили... Вся моя жизнь есть доказательство de rigueur этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, délicatesse в отношении меня. Со стороны евреев – пожалуйста, со стороны немцев – еще ни разу. Моя натура хочет, чтобы к каждому я был мягок и доброжелателен, – у меня есть *право* на то, чтобы не делать различий, – это не мешает мне, однако, ни на что не закрывать глаз. Я не делаю исключений ни для кого, менее всего – для своих друзей; я надеюсь, что это в конечном счете никак не повредило моей гуманности в отношении них. Есть пять-шесть вещей, которые всегда были для меня вопросом чести. – И несмотря на это, правдой остается то, что почти каждое из писем, полученных мною за последние годы, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне заключается больше цинизма, чем в иной ненависти... Я скажу в лицо каждому из моих друзей, что он ни разу не удосужился *изучить* хотя бы одно мое сочинение: я узнаю по малейшим признакам, что они даже не знают, что там написано. Что же касается моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел в нем нечто большее, чем непозволительную, но, к счастью, совершенно безразличную им, самонадеянность?.. Десять лет: и никто в Германии не счел своим внутренним долгом защитить мое имя от абсурдного замалчивания, под которым оно было погребено; иностранец, датчанин оказался первым, кто проявил достаточную тонкость инстинкта и *мужество*, кто возмутился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене нынешней весной тем самым в очередной раз зарекомендовавший себя психолог д-р Георг Брандес? – Сам я никогда не страдал из-за всего этого; *необходимое* не оскорб-

ляет меня; amor fati – моя сокровенная натура. Это, однако, не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот, приблизительно за два года до разрушительного удара молнией *Переоценки*, которая повергнет Землю в конвульсии, я послал в мир «Случай "Вагнер"»: пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и *увековечат* себя! Для этого как раз есть еще время! – Уже получилось? – Восхитительно, господа германцы! Примите мои поздравления...[1] И вот как раз одна старинная подруга пишет мне, видимо, чтобы я не испытывал недостатка в друзьях: она, дескать, только что смеялась надо мной... И это – в тот момент, когда на мне лежит несказанная ответственность, когда слова, обращенные ко мне, должны быть нежны, а взгляды – почтительны как никогда. Ведь я несу на своих плечах судьбу человечества.

---

1 После этого многоточия следует текст (в моем переводе), не публиковавшийся в предыдущих русских изданиях Ницше. – *Прим. ред.*

Почему я судьба

1.

Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном – о кризисе, какого никогда не бывало на земле, о глубочайшей для совести коллизии, о выборе, сделанном *против* всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что освящали. Я не человек, я динамит. – И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии – всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми... Я не *хочу* «верующих», полагаю, я слишком насмешлив, чтобы верить в самого себя, я никогда не обращаюсь к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь *святым*; теперь вы догадываетесь, почему я *наперед* выпускаю эту книгу: она должна защитить меня от искажений... Я не хочу быть святым, лучше уж – шутом... Может быть, я и есмь шут... И тем не менее или, скорее, тем *более* – ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые, – моими устами глаголет истина. – Но моя истина *страшна*: потому что до сих пор истиной называлась *ложь*. – *Переоценка всех ценностей* – вот моя формула для акта наивысшего самоосмысления человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым *приличным* человеком, чтобы я сознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину благодаря тому, что я первый ощутил – *обонянием* – ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда не противоречили, и, несмотря на это, я противоположность духа отрицания. Я *благовестник*, какого не бывало до сих пор, я знаю задачи настолько высокие, что о них до сих пор даже не было представления; благодаря мне снова существуют надежды. При всем том я неизбежно и человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут потрясения, судороги землетрясений, пере-

мещение гор и долин, какие никогда и не снились. Понятие политики целиком растворится в войне идей, все институты власти старого общества взлетят на воздух – они все покоятся на лжи: будут войны, каких еще не бывало на земле. Только с меня начинается на Земле *большая политика.*

2.

Хотите формулы для такой судьбы, *которая становится человеком?* – Она значится в моем Заратустре.

> *– и кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.*
>
> *Так принадлежит высшее зло к высшему благу, и это – творческое благо.*

Я гораздо более страшный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор; это не исключает и того, что я окажусь самым благодетельным. Я знаю радость *уничтожения* в такой степени, которая соразмерна моей *силе* уничтожения – в том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицающего деяния от утверждающего слова. Я первый *имморалист:* поэтому я *истребитель* par excellence.

3.

Меня не спрашивали, а должны были бы спросить, что именно в моих устах, устах первого имморалиста, означает имя *Заратуштры*[1]: ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью имморализму. Заратуштра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо хода вещей; перевод морали на язык метафизики в качестве силы, причины, цели в себе – дело *его* рук. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратуштра *создал* это роковое заблуждение,

---

1 Здесь речь идет уже не о герое Н., а о древнеиранском пророке. См. прим. к 2[4] в ПСС 12.

мораль: следовательно, он должен быть и первым, кто *признает* его таковым. Не только потому, что у него здесь более долгий и богатый опыт, чем у любого другого мыслителя, – вся история в конечном счете не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о так называемом «нравственном миропорядке», – гораздо важнее, что Заратуштра правдивее любого другого мыслителя. Его и только его учение почитает правдивость за высшую добродетель – это значит, за противоположность *трусости* «идеалиста», который обращается в бегство перед реальностью; в Заратуштре воплощено больше мужества, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и *хорошо стрелять из лука* – такова персидская добродетель. – Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность – в *меня* – вот что означает в моих устах имя Заратуштры.

4.

В сущности в моем слове *имморалист* заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор почитался наивысшим, – *добрых, доброжелательных, благодетельных;* я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который добился значимости и господства в качестве морали как таковой, – мораль décadence или, говоря предметнее, *христианскую* мораль. На второе отрицание можно смотреть как на более решающее, поскольку, в общем и целом, завышенная оценка доброты и доброжелательства мною уже рассматривается как следствие décadence, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание *и уничтожение* суть условия. – Я остановлюсь сперва на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит тот или иной тип человека, надо подсчитать цену, в которую обходится его поддержание, – надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть *ложь:* иначе говоря, вопиющее не-*желание*-видеть, какова в сущности реальность; я хочу сказать, она *не* такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, еще менее, чтобы допускать ежеминутное

вмешательство близоруких добродушных рук. Вообще смотреть на *бедствия* всякого рода как на возражение, как на нечто, что должно быть *устранено*, есть niaiserie par excellence, есть по своим последствиям, в общем и целом, настоящее несчастье, роковая глупость, – почти такая же, как, скажем воля, пожелавшая устранить дурную погоду, – из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономии целого ужасы реальности (в аффектах, желаниях, в воле к власти) в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая «доброта»; надо быть очень снисходительным, чтобы уделять вообще место последней, ибо она обусловлена инстинктом лживости. У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно зловещие последствия *оптимизма*, этого исчадия homines optimi, для всей истории. Заратустра – первый, кто понял, что оптимист есть такой же décadent, как и пессимист, и, пожалуй, еще более вредный, – сказал: «*Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания*». К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье; требовать, чтобы все стали «добрыми людьми», стадными животными, голубоглазыми, доброжелательными, «прекраснодушными», или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистами, значило бы отнять у бытия его *великий* характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. – *И это пытались сделать!.. Именно это называли моралью*...В этом смысле именует Заратустра добрых то «последними людьми», то «началом конца»; прежде всего он воспринимает их как *самый вредоносную разновидность людей*, ибо они отстаивают свое существование за счет *истины*, равно как и за счет *будущего*.

Ибо добрые не могут *созидать*: они всегда начало конца:

– они распинают того, кто пишет *новые* ценности на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее, – они распинают всё человеческое будущее!

Добрые – были всегда началом конца...

И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, – *вред добрых* – *самый вредный вред*.

5.

Заратустра, первый психолог добрых, есть – следовательно – друг злых. Если декадансная порода людей восходит в ранг высшей породы, то это может произойти только за счет противоположной ей породы – сильных и уверенных в жизни людей. Если стадное животное предстает в сиянии чистейшей добродетели, то исключительный человек должен быть уценен до «злого». Если лживость во что бы то ни стало использует для своей оптики слово «истина», то все действительно правдивое должно обретаться под самыми дурными именами. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений, он говорит: именно познание добрых, «лучших» было тем, что внушало ему ужас перед человеком; из *этого* отвращения выросли у него крылья, «чтобы унестись в далекое будущее», – он не скрывает, что *его* тип человека, тип относительно сверхчеловеческий, сверхчеловечен именно по отношению к *добрым*, что добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека *дьяволом*...

> Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и мой тайный смех: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека – дьяволом!
>
> Так чужда ваша душа всего великого, что сверхчеловек был бы вам *страшен* в своей доброте...

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего *хочет* Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, *как она есть*: он достаточно силен для этого – он не отчужден, не отдален от нее, он и есть *сама реальность*, и он несет в себе все, что есть в ней страшного и загадочного, *только при этом условии в человеке может быть величие*...

6.

Но еще и в другом смысле избрал я для себя отличительным, почетным знаком слово *имморалист*; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не воспринимал *христианскую* мораль как нечто, находящееся *ниже* себя; для этого нужна была высо-

та, взгляд вдаль, совершенно неслыханная до сих пор психологическая глубина и бездонность. Христианская мораль была до сих пор Цирцеей всех мыслителей – они были у нее в услужении. – Кто до меня спускался в пещеры, из которых клубится ядовитое дыхание такого идеала – *клеветы на мир*? Кто хотя бы осмеливался догадываться, *что* это суть пещеры? Кто вообще среди философов был до меня *психологом*, а не его противоположностью, «мошенником более высокого класса», «идеалистом»? До меня еще не было никакой психологии. – Быть здесь первым может оказаться проклятием; в любом случае это – судьба: *ибо ты и презираешь, как первый... Отвращение* к человеку есть моя опасность...

7.

Поняли ли меня? – Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я *открыл* христианскую мораль. Поэтому я нуждался в таком слове, которое заключало бы в себе вызов каждому. То, что глаза на это не открылись раньше, я считаю величайшей нечистоплотностью, какая только есть на совести у человечества, самообманом, обращенным в инстинкт, принципиальной волей *не* видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет in psychologicis, доходящей до преступления. Слепота перед христианством есть *преступление* par excellence – преступление *против жизни*... Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы – не считая пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, – все в этом отношении стóят друг друга. Христианин был до сих пор «моральным существом», – curiosum, не знающий себе равных, – и, *в качестве* «морального существа» – более абсурдным, лживым, тщеславным, легкомысленным, *более вредным самому себе*, чем это могло бы присниться самому отъявленному мизантропу. Христианская мораль – самая злостная форма воли ко лжи, настоящая Цирцея человечества: то, что его *испортило*. *Не* заблуждение как заблуждение ужасает меня в этом зрелище, – *не* тысячелетняя нехватка «доброй воли», дисциплины, приличия, мужества в духов-

ном отношении, которая обнаруживается в его победе: меня ужасает отсутствие естественности, тот совершенно чудовищный факт, что сама *противоестественность* получила в качестве морали высочайшие почести и осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив!.. До такой степени ошибаться – *не* поодиночке, *не* каким-нибудь народом, но целым человечеством!.. Учат презирать самопервейшие инстинкты жизни; *выдумали* «душу», «дух», чтобы посрамить тело; в условии жизни, в половой любви, учат переживать нечто нечистое; в том, что глубоко необходимо для развития, в *суровом* себялюбии (– уже одно это слово было хулою! –) ищут злое начало; и напротив, в типичном признаке упадка, в противоречии инстинкту, в «самоотвержении», утрате равновесия, «обезличенности» и «любви к ближнему» (– *одержимости* ближним!) видят *более высокую* ценность, что я говорю! – *ценность как таковую*!.. Как! значит, само человечество в décadence? И всегда было в нем? – О чем можно говорить наверняка, так это о том, что ему *преподавали* лишь ценности декаданса в качестве высших ценностей. Мораль самоотречения есть мораль упадка par excellence, факт «я погибаю» перенесен здесь в императив: «вы все *должны* погибнуть» – и *не только* в императив!.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, изобличает волю к концу, она *отрицает* жизнь в ее глубочайших основаниях. – Но тут остается открытой возможность, что вырождается не человечество, а только та паразитирующая порода людей, *священников*, которые с помощью морали долгались до звания определителей его ценностей, – которые угадали в христианской морали свое средство к *власти*... И на самом деле, *мое* мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были еще и décadents; *отсюда* переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, *отсюда* мораль... *Определение морали:* мораль – это идиосинкразия décadents, с тайным умыслом *отомстить жизни* – и этот умысел *увенчался* успехом. Я придаю ценность *этому* определению.

8.

Поняли ли меня? – Я ведь не сказал ни единого слова, которое не было бы сказано еще пять лет назад устами Заратустры. – *Открытие* христианской морали есть событие, не имеющее себе равных, настоящая катастрофа. Кто способен просветить относительно нее, тот force majeure, рок, – он ломает историю человечества надвое. Живут либо *до* него, либо *после* него... Молния истины угодила именно в то, что до сих пор стояло на самом возвышении; кто понимает, *что* здесь уничтожено, пусть посмотрит, осталось ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось «истиной», признано самой вредной, коварной, подземной формой лжи; святой предлог «улучшить» человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы *высосать* саму жизнь, обескровить ее. Мораль как *вампиризм*... Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он уже не видит ничего почтенного в наиболее почитаемых, даже объявленных *святыми* человеческих типах, он видит в них самую губительную разновидность выродков, – губительную *потому, что они очаровывали*... Понятие «Бог» изобретено как противоположность понятию жизни – в нем сведено в ужасающее единство всё вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная враждебность к жизни! Понятие «потустороннего», «истинного мира» изобретено, чтобы обесценить *единственный* мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности! Понятия «душа», «дух», под конец еще и «бессмертная душа» изобретены, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным – «святым», чтобы всему, что в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, гигиены, климата, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья «спасение души» – иными словами, folie circulaire[1], мечущийся между судорогами покаяния и истерией искупления! Понятие «греха» изобретено вместе с подручным пыточным инструментом, понятием «свобод-

---

1 циркулярный психоз (*фр.*).

ной воли», чтобы сбить с толку инстинкт, чтобы сделать второю натурой недоверие к инстинктам! В понятии «самоотвержения», «самоотречения» настоящий признак décadence, падкость *соблазну* вредного, не-*умение*-найти-свою-пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в «долг», «святость», «божественное» в человеке! Наконец – и это самое страшное – в понятии *доброго* человека взята сторона всего слабого, больного, неудавшегося, страдающего-по-себе, – всего, *что должно погибнуть*; закон *селекции* перечеркнут, идеал сделан из противоречия человеку гордому и удавшемуся, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее – он называется отныне *злым*... И всему этому верили как *морали*! – Ecrasez l'infame[1]!

9.

Поняли ли меня? – *Дионис против Распятого*...

---

1 раздавите гадину (*фр.*). Слова Вольтера.

Дионисовы дифирамбы

Паяц – и только! Поэт – и только!

Когда яснеет воздух[1],
когда роса отрадой
на землю ниспадает,
незримо, так неслышно –
ах, нежны башмачки
росы-отрады, как у отрадно-кротких –
ты помнишь ли, ты помнишь, сердце, дни,
когда алкало ты
слезинок небесных и росных капель,
палимое, алкало ты,
пока по желтым тропам трав
злобно вечерние взоры солнца
сквозь чернь деревьев пробегали,
знойно-слепящие взоры, так злорадно?

«Поборник *правды*? Ты? – глумились так –
о, нет! поэт, и только!
зверь, крадущийся, кровожадный, коварный,
рожденный лгать,
надуманно, продуманно, – но лгать:
алкать добычи,
в пестрой маске,
сам себе маска,
сам себе добыча –
и *он* – поборник правды?..
О, нет! Паяц – и только! Поэт – и только!
Пестроречивый,
паяц под маской пестрокрикливый,
пронырливый – по лживым мостам слов,
по пестрым радугам,

---

1 У Голосовкера вступительный оборот скопирован с немецкого *Bei abgehellter Luft*, что привело к грамматически недопустимому, на наш взгляд, «При ясном воздухе». – *Прим. ред.*

между мнимым небом
и мнимой землею
парящий, скользящий –
паяц – *и только*!
Поэт – *и только*!

И он – поборник правды?..

Не молчаливый, холодный, гладкий, стылый,
нет, не икона,
и не столп бога,
не выставлен пред храмом,
как привратник бога:
нет! Враг подобным идолам-истинам,
в любой пустыне дома, но не пред храмом,
с задором кошки
прыжком в окно любое
шмыг! в любой случай,
к любым джунглям принюхиваясь,
жадно-прежадно принюхиваясь,
чтобы ты по джунглям мог
меж пятнистых-пестрых хищников
грешно-здоровым и пестрым бегать,
красивый,
с губой похотливой,
блаженно-глумливый,
блаженно-адский, блаженно-алчный,
хищно, зорко ползать, бегать...

Или как орел – глядит он долго,
долго в пропасти, оцепенев:
в *свои* же пропасти...
О, как они кручей здесь,
срывом на срыв,
глубью за глубью все глубже змеятся! –
Вдруг
с налету, стремглав
крылья на срез, упав,
когтит *ягненка*,
разом, в голоде яром,

ягняток алча,
злобясь на ягнячьи души,
злобно злобясь на всех, кто глядит
по-овечьи, ягнячьи, кудлато-шерстно,
серо, с ягнячье-овечьим шелкошерстием[1]!

Итак,
орлины, пантерины
те томления поэта,
те *твои* томленья под тысячью масок,
ты, о паяц! ты, о поэт!..

Ты в человеке видел
равно *овцу* и *бога* – :
бога терзать в человеке,
как овцу в человеке,
и терзая смеяться –

вот оно, твое блаженство,
орла и пантеры блаженство,
паяца и поэта блаженство!..»

Когда яснеет воздух,
когда серп месяца,
зеленый меж багрян,
завистливо скользит:
– враждебен дню,
при каждом шаге тайно
срезая роз гирлянды,
пока не сникнут розы,
не сникнут розы бледно к склону ночи:
так сник и я когда-то
в моем безумье истины,
в моем денном томлении,

---

1 в оригинале: *mit Lammsmilch-Wohlwollen*, букв. «с молочно-ягнячьей доброжелательностью». Однако Wohlwollen перекликается, причем удвоенно перекликается, с Wolle – «шерстью». Именно эту перекличку подчеркивает Голосовкер, опуская при этом собственно значение слова. – *Прим. ред.*

устав от дня, больной от света,
– сникал я к вечеру, сникал я к тени,
спаленный истиной,
в жажде истины:
– ты помнишь ли, ты помнишь, сердце, дни –
когда алкало ты? –
Ах я изгнанник
от света истины!
Паяц, *и только!*
Поэт, *и только!*

В кругу дочерей пустыни

1.

«Не уходи от нас! – сказал тут странник, который называл себя тенью Заратустры, – останься с нами, не то снова найдет на нас былая мрачная унылость.

Уже дал нам вкусить этот старый кудесник наихудшее из благ твоих, и вот, взгляни, уже у доброго благочестивого папы слезы в глазах, и он уж совсем было собрался поплыть по морю тоски-уныния.

Пусть эти короли надевают на себя личину веселья перед нами: но не будь здесь свидетелей, бьюсь от заклад, и у них возобновилась бы былая недобрая игра,

– недобрая игра волочащихся облаков, влажной унылости, хмурого неба, украденных солнц, завывающих осенних ветров,

– недобрая игра нашего завывания и крика в беде о помощи: останься с нами, Заратустра! Здесь много скрытого отчаянья, оно хочет высказаться, много вечернего сумрака, много облачности, много спертого воздуха!

Ты накормил нас ядреной мужней пищей и крутыми речениями: не допусти же, чтобы на нас под конец трапезы[1] опять напали изнеженные женственные духи!

Только ты делаешь воздух вокруг себя ядреным и ясным! Встречался ли мне когда на земле столь здоровый воздух, как у тебя в берлоге?

А видел я немало всяких стран, мой нос научился исследовать и оценивать всяческий воздух: но у тебя пьют мои ноздри свою высшую усладу!

Разве только, – о разве только, – о прости мне одно давнее воспоминание! Прости мне одну давнюю застоль-

---

1 в ориг.: *zum Nachtisch.* У Голосовкера ошибочно стоит: «при застолье». – *Прим. ред.*

ную песнь, которую некогда сочинил я среди дочерей пустыни.

И у них был такой же здоровый светлый восточно-утренний воздух; там был я наиболее отдален от облачной влажной уныло-тоскливой Старой Европы!

Тогда любил я таких дев востока и иные, лазурные небеса, над которыми не нависают ни тучи, ни думы.

Вы не поверите, как они мило сидели, когда не плясали, глубокие, но безмысленные, словно маленькие тайны, словно лентами увитые загадки, словно орехи к застолью, –

правда, пестрые и чуждые! Но безоблачные: загадки, которые не трудно разгадать. Из любви к таким девам сочинил я тогда застольный псалом».

Так говорил странник, называвший себя тенью Заратустры; и прежде чем успел кто ответить ему, он уже ухватил арфу старого кудесника, скрестил ноги и оглядел всех важно и мудро: – ноздрями же он вопросительно-медленно втягивал воздух, как тот, кто в новых странах пробует новый воздух. Затем, подвывая, начал он петь.

2.

Растет пустыня вширь: увы тому, кто затаил пустыни!..

3.

– Торжественно!
Да, да, торжественно!
Достойный приступ!
Торжественно по-африкански!
Достойно льва
или моральной обезьяны-ревуна...
– но ничто для вас,
о вы, прелестные подруги,
у ваших ножек мне,
европейцу, у подножья пальм
сидеть позволено. Селя́.

И впрямь чудесно!
Так вот сижу я,
к пустыне близко и опять
так далеко от пустыни,
сам унесен в пустынность:
то есть проглоченный
вот этой крошкой-оазисом
– она как раз зевая
разинула рот свой,
благоуханнейший ротик:
туда я упал,
пропал, проник – прямо к вам,
о вы, прелестные подруги! Селя́.

Хвала, хвала тому киту,
если благоденствовал так же[1]
гость его! – Ясен вам
сей мой намек от учености?
Хвала его брюху,
если было
столь же миленьким оазисом-брюхом
оно, как это: что беру под сомненье.
Потому и прибыл я из Европы:
она же мнительнее всех прочих дамочек.
Да спасет ее Бог!
Аминь!

Так вот сижу я
в этом малом оазисе,
словно финик я,
бурый, сахарный, золотой, бухлый,
так алча кротко рта красотки,
а больше – зубок красотки-девы,
тех льдистых, острых, белоснежных
кусачек; каждый горячий
финик сердцем по ним сгорает. Селя́.

---

1 У Голосовкера: «если не благоденствовал так». – *Прим. ред.*

Вот с такими плодами
сходный, слишком сходный,
Лежу я здесь, жучками
крылатыми
ороен, обжужжен.
Равно и теми точечными,
глупенькими, грешненькими
из вздоров и затей, –
и вами осажден,
о вы, немые, чающие
красотки-кошки,
Дуду и Зулейка,
– *осфинксен* – так-то в слово
много чувств вложил я
(да простит мне Бог
словоковерканье!..)
– здесь сижу и лучший воздух нюхаю,
впрямь, райский воздух,
светлый, легкий воздух, злато-полосный,
воздух, какой в кои веки
ронял на землю месяц, –
пусть случайно,
иль то случилось от своеволия,
если верить древним поэтам?
Я ж усомнившийся и здесь –
я сомневаюсь,
потому и прибыл я из Европы,
она же мнительнее всех прочих дамочек.
Да спасет ее Бог!
Аминь!

Прекрасный воздух впивая
и ноздри раздув бокалом,
Без грядущего, без воспоминаний
Сижу я здесь, весь,
о вы, прелестные подруги,
И вот на пальму смотрю,
Как она танцоркой вдруг
стан согнет, разогнет и бедром качнет
– самому не утерпеть, коль долго смотреть –

ах, танцоркой она, как мне кажется,
всегда, всегда, так долго, долго
все стояла только на *одной* ноге?
Так забыла, стоймя, как мне кажется,
О *другой* ноге?
По крайней мере я
тщетно искал утрату –
где же клад-близнец,
где вторая нога –
в том священном соседстве
ее премиленькой, прехорошенькой
веерно-взлетной и блестковой юбочки?
Да, коль вы мне, о, красотки-подруги,
Готовы верить сполна:
она *потеряла* ее...
Ах, нет ее!
Не будет ее!
Другой ноги!
О, как мне жаль прелестной другой ноги!
Куда бы ей деться и грустить позабытой?
Ноге одинокой?
Быть может, в страхе перед
злобным белокурым
львом-зверюгой? – А вдруг она
обгрызена, обглодана –
о жуть! Увы! Увы! обглодана! Селя́.

Не плачьте же,
Вы, мягкие сердца!
Не плачьте, вы,
О, финики-сердца!
Сосцы молочные!
Сердца-лакрицы-
сумочки.
Будь мужем, Зулейка!
Мужайся! мужайся!
Не плачь же больше,
бледная Дуду!
– Иль уместно здесь
подкрепительное,

душекрепительное?
Елейная притча?
Торжественная треба?..

Эй, сюда! важность!
Дуй же, дуй же снова,
раздувальный мех
добродетелей!
Эй!
Еще раз рыкнем,
Морально рыкнем!
Словно моральный лев,
пред лицом дочерей пустыни рыкнем!
– Ибо вой добродетели,
вы, прелестные девушки,
куда там больше
жара души европейца,
жадной тоски европейца!
Вот стою я уже,
как европеец,
не могу иначе,
да поможет мне Бог!
Аминь!

* * *

Пустыня ширится, увы тому, в ком затаилась
и растет пустыня!
Крошится камень, становясь песком;
пустыня всё поглотит, всё в ней сгинет.
Пылает смерти черный горизонт,
и смерть *жует*, – лишь так она живет...

Не забывай средь похотливой суеты:
Пустыня, камень, смерть – всё это ты[1]...

1 Последних 6 строк в «Так говорил Заратустра» нет, они добавлены позднее. Приводятся в пер. И. Эбаноидзе.

Последняя воля

Погибнуть так,
как он погиб когда-то, –
друг, божественные молнии и взоры
бросивший в мою темную юность,
– мужественный и глубокий,
танцор среди сражения,

средь воинов – беззаботный,
среди победителей – опечаленный,
судьбою вставший на судьбу свою,
твердо, задумчиво, преддумчиво, –

содрагаясь от того, *что* победил,
ликуя от того, что победил, *умирая*, –

приказывая, когда умирал,
– и приказ его гласил: *уничтожьте...*

Погибнуть так,
как он погиб когда-то:
побеждая, *уничтожая...*

Меж коршунов

Кто захочет здесь вниз,
как мгновенно
канет он в бездну!
– Но ты, Заратустра,
бездны все еще любишь,
как вон та *сосна*? –

Она-то пустит корни,
где содрогнется от страха
даже утес;
она-то медлит над бездной,
где всё окрест
рвется вниз:
меж нетерпеньем
водопадов буйных и камнепадов
ждет она терпеливо, сурово, безмолвно,
одиноко...

Одиноко!
Да и кто решится
гостем здесь быть,
твоим гостем?..
Коршун разве –
налетит и злорадно
вцепится в волосы
стойкому терпеливцу –
с хохотом диким,
с хохотом хищным...

«*К чему* эта стойкость? –
глумится жестокий. –
Любишь бездны – имей крылья!
Что ж ты повис тут,
висельник жалкий?»

О Заратустра,
грозный Нимрод!
Вчера еще – зверолов Господень,
силок для праведников,
зла стреловержец!
А нынче –
сам собою загнан,
себя самого добыча,
себя самого жертва...

Нынче –
в одиночестве с самим собою,
вдвоем с собственным знаньем,
меж сотен зеркал
сам себе неведом,
меж сотен воспоминаний
потерян,
от каждой раны уставший,
от каждой стужи продрогший,
в собственных путах хрипящий, –
Себя самого познавший!
Себя самого казнивший!

Зачем ты опутал себя
собственной мудрости вервью?
Зачем заманил себя
в рай древнего змея?
Зачем ты заполз в *себя*,
в *себя самого*?..

И вот – всего лишь больной,
что отравлен змеиным ядом,
и вот – всего лишь пленник,
что вытянул худший жребий:
в собственной копи,
вечно согбенному,
в себе замурованному,
в себя зарываться...
Беспомощный,
окостеневший,

всего лишь труп, погребенный
под стократной ношей,
собственной тяжести ношей, –
знающий!
себя самого узнавший!
мудрец – Заратустра!..

Ты искал тягчайшую ношу
и нашел *себя*
и себя ты с себя уж не сбросишь...

Затравлен,
придавлен,
в полный рост ты уже не встанешь!
Да еще и срастешься со своим гробом,
дух-горбун!..

А вчера еще был так горд,
так надменно витал над миром
на котурнах, как на ходулях!
Вчера еще – гордый отшельник,
в уединенье без Бога,
наедине с дьяволом,
принц в пурпуре спеси!..

И вот –
меж Ничем и Ничем
сдавлен, согбен
вопросительным знаком,
усталой загадкой,
загадкой для *коршунов*...

уж они тебя «разрешат»,
они уж алчут твоего «разрешенья»,
твоего разложенья,
уж кружат над тобой, над своей загадкой,
над твоей виселицей!..
О Заратустра!..
Себя самого познавший!..
Себя самого казнивший!..

Огненный знак[1]

Здесь, где среди морей возник остров,
камень-жертвенник обрывисто-высокий,
здесь под черным небом зажигает
Заратустра свои зенитные костры,
огненные знаки для мореплавателей хитрых,
вопросительные знаки для хранителей ответа.

Это пламя с бело-седым брюхом
– в холодных далях извивается его похоть,
его шея вытягивается в поисках чистейших высот –
змея, прянувшая вверх в нетерпенье:
вой мой знак, воздвигнутый мною передо мною.

Сама моя душа – это пламя;
ненасытно вожделея новых далей,
все выше и выше разгорается ее тихий жар.
Почему бежал Заратустра от человека и зверя?
Почему он оттолкнулся от всякой тверди?
Он уже изведал *шесть* одиночеств,
но и море для него слишком людно,
и его вознес остров, и он сам на горé пламя,
и метнул он крючок над головой,
выуживая *седьмое* одиночество.

Хитрые мореплаватели! Осколки старых звезд!
Вы моря будущего! Небеса неизведанные!
Я пловец всех одиночеств, для них мой крючок:
отзовитесь на нетерпение пламени;
мне, рыбаку высокогорному, дайте выудить
мое седьмое, *последнее* одиночество! –

---

1 Стихотворение Das Feuerzeichen мы приводим сразу в двух переводах: В.Б. Микушевича («Огненный знак») и А.В. Карельского («Сигнальный огонь»). См. комментарий.

Сигнальный огонь[1]

Здесь, где в лоне морей вырос остров,
за ночь взнесенный жертвенный камень,
здесь под черными небесами
зажигает свои огни Заратустра,
сигнальные знаки для заблудших пловцов,
знаки вопроса для знающих ответы...

Это пламя с пепельным чревом –
языки его алчут холодных далей,
оно тянет шею к чистейшим высям,
как змея, выпрямившаяся от нетерпенья, –
вот этот знак я возвел пред собой.

То сама душа моя пылает:
в ненасытной жажде новых далей
все вперед устремляется тихое пламя.
Для чего бежал зверей и людей Заратустра?
Для чего оставил твердую почву?
Шесть одиночеств он уже знает,
но даже одиночества моря ему было мало,
острова было мало, и вот на горé он – пламя,
и в поисках *седьмого* одиночества
к небесам забрасывает невод.

О пловцы заблудшие! О древних звезд осколки!
Вы, моря грядущего! Сокрытые тайны неба!
Здесь ловец одиночеств закинул невод:
так ответьте ж нетерпенью пламени,
поймайте мне, ловцу на горах высоких,
мое седьмое, *последнее* одиночество!

---

1 Перевод А.В. Карельского. См. сноску на пред. сранице.

Садится солнце

1.

Недолго жаждать тебе,
        сгоревшее сердце!
Обетованье, разлитое в воздухе,
из уст неведомых на меня дохнуло
        великой прохладой...

В полдень жарким было мое солнце.
Тем желанней мне мои пришельцы –
        вы, внезапные ветры,
послеполуденные зябкие духи!

Воздух так чужд и чист.
Не метнула ль на меня искоса
        свой взор манящий
искусительница-ночь?..
Мужайся, отважное сердце!
Не спрашивай: зачем? –

2.

День моей жизни!
Садится солнце.
И уже позолочен
        ровный поток.
Дышит скала теплом:
        верно, в полдень на ней
счастье вкушало свой сон полдневный?
        Вон оно еще брезжит
зеленью отсветов над бурой бездной.

День моей жизни!
Уж близок вечер!
уж око твое мерцает
        полузатменно,
уж скатились первые слезы
        твоей росы,
уж стелется над бледными морями
любви твоей притихший пурпур,
кроткий свет последнего блаженства...

3.

Ясность, приди, золотая!
        Близкой смерти
сокровеннейшее, сладчайшее предвкушенье!
– Верно, я слишком спешил?
И лишь теперь, как устал,
        взор твой настиг меня,
        восторг твой настиг меня.

Волн и бликов игра.
        Всякая тяжесть в былом
канула в синь забвенья,
праздно колышется челн.
Словно б и не было верст и бурь!
        Желанья лежат на дне.
        На душе, как на море, гладь.

Одиночество седьмое мое!
        Впервые так близок мне
желанный причал,
и улыбка солнце тепла.
– Что там пылает еще?
Не снега ли моих вершин?
        Серебристой рыбой, легка,
        отправляется в путь ладья...

Жалоба Ариадны

Кто обогреет меня, кто еще любит меня?
        Где горячие руки?
        Где сердце-жаровня?
Простерта в ужасе,
как будто коченея (кто мне согреет ноги?)
в немыслимом ознобе,
содрагаясь от острых, ледяных, студеных стрел,
        твоих стрел, Помысел!
Не произнести твоего имени! Потаенный! Жуткий!
        Охотник заоблачный!
Тобою пронизанная,
ты язвительный глаз, пронзающий меня из тьмы!
        Убиваюсь,
извиваюсь, корчусь, охваченная
всеми вечными муками,
        сраженная
тобой, лютый ловчий,
ты неведомый – *Бог*...

Рань меня глубже,
рань, как раньше!
Пронзи, порази мое сердце!
Разве укусы стрел тупозубых –
казнь для меня?
Зачем ты снова смотришь,
не уставая от моей человеческой муки,
сладострастно жестокими, божественными,
                                        молниеносными глазами?
Ты убивать не хочешь,
а только мучить, мучить?
За что – *меня* мучить,
ты сладострастно жестокий, неведомый Бог?

Ха-ха!
Ты подкрался
в такую полночь?
Чего ты хочешь?
Скажи!
Ты давишь, душишь!
Ах, слишком близко!
Ты слышишь мое дыханье,
ты подслушиваешь сердце,
ревнивец!
К кому ревнуешь?
Прочь! прочь!
Зачем здесь лестница?
Ты хочешь *внутрь*
пробраться, в сердце,
в мои затаеннейшие
мысли пробраться?
Бесстыдный! Неведомый! Вор!
Что хочешь ты выкрасть?
Что хочешь ты вызнать?
Что хочешь ты вырвать,
мой враг?
Ты бог – истязатель!
Или ползти мне
к тебе по-собачьи?
Вне себя преданно и вдохновенно
вилять – любовью?
Напрасно!
Язви меня!
Лютейшее жало!
Нет, я не собака, я дичь,
ты, лютый ловчий!
Я твоя гордая добыча,
ты, заоблачный хищник..
Ответь наконец!
Ты, молниеносец! Неведомый! Отвечай!
Ты, путегонитель, что хочешь ты – от меня?

Что?
Выкупа?

Выкупа хочешь ты?
Требуй побольше – в этом гордость моя!
Слов поменьше – другая гордость моя!

Ха-ха!
Меня хочешь ты? меня?
Меня – всю?..

Ха-ха!
Истязаешь меня ты, дурак (а кто ты еще?),
терзаешь гордость мою?
Дай мне *любовь* – кто еще согреет меня?
Кто еще любит меня?
Дай горячие руки,
дай сердце-жаровню,
дай мне в моем одиночестве,
когда меня заставляет лед,
ах! лед семикратный,
жаждать хотя бы врага,
дай, отдай,
враг лютейший,
мне – *тебя*!..

Прочь!
И он убежал,
мой товарищ единственный,
мой великий противник,
мой неведомый,
мой бог-истязатель!..
Нет!
Воротись!
Со всеми твоими пытками!
К тебе текут мои слезы,
когда с тобою мы врозь,
и напоследок сердце
ради тебя зажглось.
Вернись, мой неведомый Бог,
вернись, моя *боль*,
вернись, мой последний вздох!..

Молния. Дионис является в изумрудной красоте.

Дионис:

Образумься, Ариадна!..
Малы уши твои, мои уши твои:
умное слово вмести!
Если не ненавидишь себя, как любить?..
Я твой лабиринт...

Слава и вечность

1.

И давно ты сидишь
        на своем злосчастье?
Как бы тебе не высидеть
        яйцо,
        яйцо с василиском
из долгой твоей хандры!

Что там крадется Заратустра по ущельям?

Изъязвленный, недоверчивый, угрюмый,
соглядатай давний –
и вдруг – удар
молнии, яркий, страшный,
удар из бездны в небо –
сотрясается самой горы
чрево...

Где слились в одно
ненависть и молнии стрела,
где грянуло *проклятье* –
на горах теперь ютится Заратустры гнев,
грозовою тучей крадется по кручам.

Зарывайтесь же в последнюю перину!
Марш в постель, неженки!
Своды полнятся раскатами громов,
стены ходят ходуном и скрепы –
        Заратустра изрыгает *проклятья*...

2.

О, разменная мелочь мира,
слава, –
лишь в перчатках я коснусь монеты этой,
с отвращеньем *раздавлю* ее ногою.

Кто там жаждет оплаты?
Лишь продажный...
На лотке разложен, он хватает
жирными руками
жестяную побрякушку славы.

– *Хочешь* купить их?
Они все продаются.
Только цену назначь побольше!
Побренчи тугой мошною!
Иначе ты *придашь* им *весу*,
придашь весу их *добродетели*...

Они все добродетельны.
Слава с добродетелью – не разлить водою.
Мир со дня своего основанья
платит за трезвон добродетели
трескотней славы.
Мир *живет* этим гвалтом...

Перед всеми добродетельными
хочу быть виноватым,
виноватым самой тяжкой виною!
Перед всеми горланами славы
стань червем, мое честолюбье!
Меж такими у меня одно желанье –
стать *самым ничтожным*...

О, разменная мелочь мира,
слава, –
лишь в перчатках я коснусь монеты этой,
с отвращеньем *раздавлю* ее ногою.

3.

Тише! –
Обо всем великом – я *зрю* величье! –
надо молчать
или – вещать:
вещай же,
моя восторженная мудрость!

Подымаю взор –
там раскинулись моря света:
– о ночь, о тишина, о гробовой гул!..

Я знак узрел:
из самых дальних далей
ко мне нисходит, медленно мерцая,
созвездье...

4.

О высшее созвездье бытия!
О вечных символов скрижаль!
Ты – ко мне нисходишь?
Чего не зрел никто –
твоя немая красота –
как? взоров не бежит она моих?

О печать непреложности!
О вечных символов скрижаль!
Уж ты-то знаешь,
что́ они все ненавидят,
что́ один *я* люблю:
твою *вечность*,
твою *непреложность*!
Вечно разжигает мою любовь
лишь она – непреложность.

О печать непреложности!
О высшее созвездье бытия! –

коего не достигает желанье,
коего не пятнает ничье «Нет», –
вечное «Да» бытия!
Навечно я – твое «Да»:
ибо я люблю тебя, Вечность!

О бедности богатейшего

Прошло десять лет, –
ни капли меня не коснулось,
ни влажного ветерка, ни росинки любви
– земля без дождей...
Теперь я прошу свою мудрость,
средь засухи этой скупою не быть:
излейся сама, сама упади росою,
сама стань дождем пожелтевшей пустыни!

Однажды прогнал я тучи
прочь от моих вершин, –
«больше света, вы, скопления тьмы!», сказал им.
Сегодня маню их назад:
сгустите тьму вкруг меня своими сосцами!
– Хочу подоить вас,
вы, коровы высот!
парную мудрость, росную сладость любви
я разолью над землей.

Прочь, прочь, те истины,
что мрачно глядят!
Не желаю я на вершинах своих
горькие, нетерпеливые истины видеть.
Златой осиянна улыбкой,
напитана сладостью солнца, с румянцем любви,
пусть придет ко мне истина нынче, –
только *зрелую* истину сорву я с дерев.

Ныне я руку тяну
к кудряшкам случая,
довольно научен, чтоб случай,
словно дитя, за ручку вести,
и переиграть играючи.

Ныне буду я гостеприимен
к нежданному,
против самой судьбы ощетиниваться не стану
– Заратустра не ёж.

Душа моя
ненасытным своим языком
распробовала уже и хорошее и дурное,
во все глубины нырнула она.
Но всякий раз, пробкой,
снова всплывала наверх.
Лоснится она на бронзово-смуглых волнах:
из-за этой-то души называют меня счастливцем.

Кто мне мать и отец?
Не отец ли мне принц Изобилье,
а мать – радостный смех?
Не их ли союз породил
меня, диковинную загадку,
меня, светлого демона,
меня, расточителя мудрости Заратустру?

Болен нежностью ныне
и влажным ветром,
сидит Заратустра и ждет, ждет на своих горах,
сварившийся и налившийся сладостью
в собственном соку,
под вершиной своей,
подо льдом своим,
усталый и блаженный,
творец на седьмой день творенья.

– Тише!
Истина проплывает надо мной,
словно облако, –
невидимыми молниями бьет она в меня.
По широким медленным лестницам
сходит ко мне ее счастье:
приди, о приди, возлюбленная истина!

– Тише!
Вот она, моя истина! –
Из медлящих глаз,
из бархатного трепета
разит меня ее взгляд,
милый, язвящий девичий взгляд...
Она угадала, в чем мое счастье,
она разгадала меня – эй! что это она задумала? –
Огненно затаился дракон
в бездне ее девичьего взора.

– Тише! Моя истина говорит! –

Горе тебе, Заратустра!
Ты похож на того,
Кто золото проглотил:
тебе еще вспорют брюхо!..

Слишком уж ты богат,
ты, развратитель многих!
Слишком многих делаешь ты завистниками,
слишком многих делаешь бедняками...
На меня саму тень бросает твой свет, –
меня бросает в озноб: прочь уйди, ты, богач,
прочь, Заратустра, из твоего солнца!..

Ты мог бы всем раздарить свой излишек,
но сам ты – излишество!
Пойми ты, богач!
Сперва раздари себя самого, о Заратустра!

Прошло десять лет, –
и ни капли тебя не коснулось?
ни влажного ветерка? ни росинки любви?
Но кто же *мог бы* любить тебя,
ты, богатейший?
Счастье твое все иссушает вокруг,
безлюбыми делает
– землей *без дождей*...

Никто тебе не благодарен.
Но ты благодарен всякому,
кто у тебя берет:
тебя узнаю́ я в этом,
ты, богатейший,
ты, *беднейший* из всех богачей!

Ты в жертву приносишь себя, тебя *мучит*
твое богатство, –
ты себя раздаешь,
ты себя не жалеешь, ты не любишь себя:
все время терзаем великой мукой,
мукой *переполненных* житниц, *переполненного* сердца –
но никто тебе не благодарен...

Беднее должен ты стать,
неразумный мудрец,
коль хочешь любимым быть.
Любят только страдальцев,
любовь дают только голодным:
сперва раздари себя самого, о Заратустра!

– Я – твоя истина...

Ницше contra Вагнер

Из досье психолога

Предисловие

Все последующие главы были не без осмотрительности отобраны из моих прежних произведений – некоторые из них относятся аж к 1877 году, – местами они, возможно, стали яснее, но прежде всего короче. Если прочесть их одну за другой, они не оставят ни малейшего сомнения ни касательно Рихарда Вагнера, ни касательно меня: мы антиподы. При этом станет понятно и еще кое-что другое: в частности, что это эссе предназначено для психологов, но *не* для немцев... У меня есть читатели повсюду – в Вене, в Санкт-Петербурге, в Копенгагене и Стокгольме, в Париже, в Нью-Йорке – у меня *нет* их на европейской равнине, в Германии... Возможно, я бы сказал на ушко словечко и господам итальянцам, которых я *люблю* столь же, как я... Quousque tandem, Crispi... Triple alliance[1]: с «рейхом» у интеллигентного народа вечно выходит один лишь mésalliance...

Фридрих Ницше

Турин, Рождество 1888.

---

1 Тройственный союз (*фр.*).

Чем я восхищаюсь

Я думаю, художники зачастую не знают, чтó им удается лучше всего: для этого они слишком тщеславны. Их чувство нацелено на нечто более гордое, чем производить впечатление тех маленьких растений, которые умеют по-новому, причудливо и прекрасно, в подлинном совершенстве произрастать на своей почве. Настоящий дар их собственного сада и виноградника оценивается ими кое-как, и их любовь иного порядка, чем их проницательность. Вот музыкант, который больше, чем какой-либо другой, обладает мастерством извлекать звуки из царства страждущих, угнетенных, измученных душ и одарять речью даже немое ничтожество. Никто не сравнится с ним в красках поздней осени, в неописуемо трогательном счастье последнего, ускользающего, мимолетнейшего наслаждения; ему ведомы звуки для тех таинственно зловещих полуночей души, когда, казалось бы, распадается связь между причиной и действием и в каждое мгновение может возникнуть нечто «из ничего». Он удачнее всех черпает с самого дна человеческого счастья и словно бы из опорожненного кубка его, где горчайшие и противнейшие капли за здравие и за упокой слились со сладчайшими. Он знает, как устало влачится душа, которая уже не может прыгать и летать, не может даже ходить; у него робкий взгляд затаенной скорби, безутешного понимания, разлуки без объяснения; да, как Орфей всякого таинственного убожества он выше *кого-либо,* и им впервые было вообще внесено в искусство нечто такое, что до сих пор казалось невыразимым и даже недостойным искусства, – к примеру, циничный бунт, на который способен только самый страждущий, равно как и нечто совсем крохотное и микроскопическое в душе, словно чешуйки какой-нибудь амфибии, – да, он мастер по части совсем крохотного, Но он *не хочет* быть им! Его *натура* любит, скорее, большие стены и отважную фресковую живопись! Он не видит того, что его *дух* обладает иным вкусом и склонностью – совершенно обратной оп-

тикой – и любит больше всего ютиться в уголках развалившихся домов: там, скрытый от самого себя, пишет он свои подлинные шедевры, которые все очень коротки, часто длиною лишь в *один* такт, – там лишь становится он вполне искусным, великим и совершенным, может быть, только там. – Вагнер – человек, который глубоко страдал: это дает ему *преимущество* перед другими музыкантами. Я восхищаюсь Вагнером во всем том, где он помещает в музыку *себя*.

В чем я возражаю

Это не означает, что я нахожу такую музыку здоровой, – особенно там, где она говорит нам о Вагнере. Мои возражения против музыки Вагнера суть физиологические возражения: к чему еще переряжать их в эстетические формулы? Эстетика ведь не что иное, как прикладная физиология. – Мой «факт», мой «petit fait vrai» заключается в том, что я уже не дышу с легкостью, когда на меня действует эта музыка; что на нее тотчас же начинают злиться и роптать мои *ноги* – с их потребностью в такте, танце, марше, – под вагнеровский «Кайзеровский марш» не смог бы маршировать даже юный немецкий кайзер, – с требованием от музыки прежде всего восторгов, заключающихся в *хорошем* ходе, шаге, танце. – Не протестует ли, однако, и мой желудок, мое сердце, мое кровообращение, не огорчаются ли мои внутренности? Не становлюсь ли я при этом внезапно охрипшим?.. Чтобы слушать Вагнера, мне нужны леденцы Géran-del... Итак, я спрашиваю себя: чего, собственно, *хочет* все мое тело от музыки вообще? Я думаю, своего *облегчения:* словно того, чтобы все животные функции были ускорены легкими, смелыми, шаловливыми, самоуверенными ритмами; словно того, чтобы железная, свинцовая жизнь утратила свою тяжесть благодаря золотым и нежным, как масло, гармониям. Моя тоска хочет отдохнуть в тайниках и пропастях *совершенства:* для этого нужна мне музыка. Но Вагнер делает меня больным. – Что мне театр! Что мне судороги его нравственных экстазов, в которых народ – а кто не «народ»! – находит свое удовлетворение! Что мне весь мимический

фокус-покус актера! – Вы видите, я создан антитеатралом по существу; к театру, этому *массовому искусству* par excellence, я отношусь в глубине души с безграничной иронией, с которой относится к нему сегодня каждый артист. *Успех* на театре – от этого в моих глазах можно упасть ниже некуда; *провал* – тут я навостряю уши и начинаю обращать внимание… Но Вагнер, напротив, *помимо* Вагнера, создавшего самую одинокую музыку, какая есть на свете, был по существу человеком театра и актером, самым вдохновенным мимоманом из всех когда-либо существовавших, *даже как музыкант*… И, говоря мимоходм: если теорией Вагнера было, что «драма есть цель, а музыка всегда лишь средство», – то *практикой* его, напротив, было от начала до конца, что «поза есть цель, драма же, а также и музыка лишь ее средство». Музыка как средство для толкования, усиления, углубления драматических жестов и актерской очевидности; и вагнеровская драма лишь как повод для множества интересных поз! – Он обладал, наряду со всеми другими инстинктами, *командующими* инстинктами великого актера, во всем без исключения: и, как сказано, в том числе и как музыкант. – Это я однажды, не без *труда*, уяснил одному вагнерианцу pur sang[1] – ясность и вагнерианец! я не говорю ни слова больше. Были основания еще добавить к этому: «Будьте же немножко честнее по отношению к себе: мы же не в Байройте! В Байройте честны только в массе; в одиночку же лгут, оболгивают себя. Отправляясь в Байройт, оставляют себя дома, отказываются от права на собственный язык и выбор, на свой вкус, даже на свою храбрость в том виде, в каком обладают ее и применяют ее в собственных четырех стенах по отношению решительно ко всему. В театр никто не приносит с собою утонченнейших чувств своего искусства, менее всех – художник, работающий для театра; для этого там недостает одиночества, все совершенное не выносит никаких свидетелей… В театре становишься народом, стадом, женщиной, фарисеем, голосующим скотом, патронажным братом, идиотом – *вагнерианцем*: там даже и самая личная совесть подчиняется нивелирующим чарам большинства, там правит сосед, там *становишься* соседом…»

---

1 чистой воды (*фр.*).

Интермеццо

Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего *я* в сущности хочу от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, презренная и прелестная... Я никогда не допущу, чтобы немец *мог* знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были *иностранцы*, славяне, хорваты, итальянцы, голландцы – или евреи; в ином случае немцы сильной расы, *вымершие* немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы отдать за Шопена всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю «Зигфрид-идиллию» Вагнера, может быть, также Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что взросло по ту сторону Альп – *по эту сторону*... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без *моего* Юга в музыке, без музыки моего венецианского maëstro Пьетро Гасти. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею различать между слезами и музыкой – я знаю счастье думать о *Юге* не иначе, как с дрожью робости.

В юности, в светлую ночь
раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
словно по ткани дрожащей
капли златые текли.
Гондолы, факелы, музыка –
В сумерках все расплывалось...

Звуками втайне задеты,
струны души зазвенели,
отозвалась гондольеру,
дрогнув от яркого счастья, душа.
– Услышал ли кто ее песнь?

Вагнер как опасность

1.

Намерение, которое в новейшей музыке преследуется в том, что в наши дни весьма выразительно, но неясно называют «бесконечной мелодией», можно уяснить себе с помощью того, как входят в море, постепенно теряют почву под ногами, и в конце концов отдаются на милость стихии: дальше нужно *плыть*. В прежней музыке, в изящных или торжественных или огненных движениях и поворотах, ускорениях и замедлениях, приходилось делать нечто совсем иное, а именно – танцевать. Требующаяся для этого мера, соблюдение определенных, равновесных временных и силовых пропорций вынуждало душу слушателя к постоянной духовной *трезвости*, – на контрасте между этим прохладным сквозняком, которым тянуло от трезвости, и прогретым дыханием резвого воодушевления и основывалось волшебство всякой *хорошей* музыки. – Рихард Вагнер захотел движений иного рода, – он опрокинул физиологическую предпосылку прежней музыки. Не ходить и не танцевать – а плавать и витать... Возможно, этим сказано самое главное. «Бесконечная мелодия» словно бы *хочет* сломать все временные и силовые пропорции, временами она издевается сама над собой, – богатство ее изобретательности как раз в том, чтó для прежнего слуха звучало бы ритмическим парадоксом и даже святотатством. Из подражания, из господства подобного вкуса для музыки может возникнуть опасность, страшнее которой нельзя и помыслить – полное вырождение ритмического чувства, *хаос* на месте ритма... Эта опасность достигает крайности, когда подобная музыка все больше находит себе опору в совершенно натуралистическом, не управляемом никакими законами пластики, актерстве и искусстве жестикуляции, желающих *эффекта* и ничего кроме эффекта... Экспрессивность любой ценой, и музыка на службе, в рабстве у поз – *это конец*...

2.

Как? Неужели главным достоинством исполнения и в самом деле, как это, похоже, нынче полагают музыкальные исполнители, является достижение непревзойденной рельефности в любых обстоятельствах? Не есть ли это, применительно, скажем, к Моцарту, настоящий грех против моцартианского духа, ясного, мечтательного, влюбленного духа Моцарта, который, к счастью, не был немцем, и самая серьезность которого есть благонравная, золотая серьезность – а *не* серьезность немецкого бидермана... Не говоря уж о серьезности «каменного гостя»... Но вы полагаете, что любая музыка есть музыка «каменного гостя», – что любая музыка должна проступать на стенах, пронимая слушателя до самой печенки?.. Вот теперь музыка *производит впечатление*! – Впечатление на *кого*? На нечто такое, на что *благородный* художник вообще не должен производить впечатления, – на массу! на незрелых! на равнодушных! на болезненных! на идиотов! на *вагнерианцев*!..

Музыка без будущего

Из всех искусств, которые умеют вырастать на почве той или иной культуры, музыка прорастает самой последней, возможно, потому, что она самая задушевная из всех, и потому созревает позднее других – в пору осени и увядания породившей ее культуры. Лишь в искусстве голландских мастеров нашла свой отзвук душа христианского средневековья, – их звуковая архитектура есть поздно родившаяся, но родная и полноправная сестра готики. Лишь в музыке Генделя прозвучало лучшее от Лютера и родственных ему душ, еврейско-героическая черта, придавшая Реформации черты величия – музыкой стал Ветхий Завет, а *не* Новый. Лишь Моцарт вернул в *звучащем* золоте век Людовика XIV и искусство Расина и Клода Лоррена; лишь в музыке Бетховена и Россини допело себя восемнадцатое столетие – столетие мечтательности, разбитых идеалов и *мимолетного* счастья. Всякая подлинная, всякая оригинальная музыка

– это лебединая песня. – Может быть и так, что у нашей теперешней музыка, как бы она ни властвовала и не стремилась к власти, впереди просто совсем не много времени: поскольку она порождена культурой, почва которой находится в состоянии быстрого погружения – культурой, которая скоро утонет. Ее предпосылки – некий католицизм чувств и интерес к какой-то пра-исконной «национальной» несусветной сущности[1]. То, как Вагнер освоил старинные саги и песни, в которых ученый предрассудок приучен видеть нечто германское par excellence, – сегодня мы смеемся над этим, – то, как вдохнул в этих скандинавских чудищ доводящую до бесчувствия жажду экстатической чувственности – все, что Вагнер взял и дал в отношении материала, образов, страстей и нервов, тоже явственно выражает *дух его музыки*, при условии, конечно, что она, как всякая музыка, способна не недвусмысленно говорить о себе: ведь музыка – *женщина*... Не стоит обманываться насчет такого положения дел тем, что как раз сейчас мы живем в период реакции *внутри* реакции. Эпоха национальных войн, ультрамонтанного мученичества, весь этот *антрактовый* характер, свойственный нынешним состояниям Европы, может на деле способствовать нежданной славе такого искусства, как вагнеровское, отнюдь не гарантируя ему тем самым *будущего*. У немцев у самих нет никакого будущего...

Мы антиподы

Быть может кое-кто, по крайней мере среди моих друзей, припомнит, что поначалу я набросился на этот современный мир с некоторыми заблуждениями и преувеличенными оценками, и уж во всяком случае – как *надеющийся*. Я понимал – кто знает, на основании каких личных опытов? философский пессимизм девятнадцатого века как симптом высшей силы мысли, более победного *избытка* жизни, который выразился в философии Юма, Канта и Гегеля, – я принял

---

1 в оригинале игра слов – Wesen und Unwesen («сущности и чудуюду»). – *Прим. пер.*

трагическое познание как наивысшую *роскошь* нашей культуры, как самый ее дорогостоящий, самый аристократичный, самый опасный способ расточительства, и все же, вследствие ее чрезмерного богатства, роскошь *дозволенную*. Равным образом толковал я себе и музыку Вагнера, как надлежащее выражение дионисической мощи души: мне казалось, я слышу в ней землетрясение, с которым, наконец, вырывается на волю издревле запруженная первобытная сила жизни, равнодушная к тому, что при этом шатается все, называющее себя сегодня культурой. Вы видите, в чем я ошибался, вы видите, чем я *одаривал* Вагнеров и Шопенгауэров – самим собой... Всякое искусство, всякую философию можно рассматривать как целебное и вспомогательное средство возрастающей или же нисходящей жизни: они всегда предполагают страдание и страждущих. Но есть два типа страждущих: во-первых, страждущие от *избытка жизни*, которые хотят дионисического искусства, а также трагического понимания и трагической панорамы жизни, – и, во-вторых, страждущие от *оскудения жизни*, которые от искусства и философии желают покоя, тишины, гладкого моря, *или* же опьянения, конвульсий, оглушения. Отомстить самой жизни – высший род опьяненного сладострастия для таких оскудевших!.. Двойной потребности *последних* отвечают как Вагнер, так и Шопенгауэр – они отрицают жизнь, они чернят ее, потому они мои антиподы. – Преизбыточествующий жизнью – дионисический бог и человек – может позволить себе не только созерцание страшного и проблематичного, но даже и страшное деяние и любую роскошь разрушения, разложения, отрицания, – у него злое, бессмысленное и безобразное предстает как бы дозволенным, так же, как предстает оно дозволенным в природе, вследствие избытка порождающих, восстанавливающих сил, которые способны из всякой пустыни создать цветущий плодоносный край. Напротив, самому страждущему, самому бедному жизнью больше всего нужна кротость, миролюбие и доброта, – то, что мы сегодня называем гуманностью, – как в мыслях, так и в поступках, а по возможности – и Бог, который был бы исключительно Богом для больных, *спасителем*, равным образом нужна логика, отвлеченная понятность бытия даже для идиотов – все типичные «вольнодумцы», как и «иде-

алисты» и «прекрасные души», суть декаденты – словом, нужна некоторая теплая, оберегающая от страха теснота и заключенность в оптимистических горизонтах, способствующая *отупению*. Так научился я постепенно понимать Эпикура, эту противоположность дионисического грека, а равным образом и христианина, который на деле есть лишь некий род эпикурейца и со своим «*блаженны* верующие» заходит в принципе гедонизма настолько далеко, *насколько вообще возможно* – за пределы всякой интеллектуальной порядочности... Если у меня есть некоторое преимущество перед другими психологами, то оно заключается в том, что мой взгляд лучше других прослеживает тот труднейший и каверзный путь *обратного заключения*, на котором делается большинство ошибок, – обратного заключения от творения к творцу, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, кому он *нужен*, от всякого образа мыслей и оценок к командующей из-за кулис *потребности*. – По отношению к артистам любого рода я пользуюсь теперь следующим основным различением: стала ли тут творческой *ненависть* к жизни или *преизбыток* жизни? В Гёте, например, творческим стал преизбыток, во Флобере – ненависть. Флобер – это новое издание Паскаля, но артистическое, с идущим из глубины инстинктивным приговором: «Flaubert est toujours *haïssable*, l'homme n'est rien, *l'oeuvre est tout*»[1]... Он истязал себя, сочиняя, точно так же, как Паскаль истязал себя, думая – оба они в ощущениях были неэгоистичны... «Самозабвение» – принцип декаданса, воля к завершению как в искусстве, так и в морали.

Где Вагнеру место

Еще и теперь Франция является средоточием самой возвышенной и рафинированной духовной культуры Европы и *высокой* школой вкуса – но нужно уметь находить эту «Францию вкуса». «Северо-германская газета», к примеру, или те,

---

1 «Флобер всегда мерзок, человек – ничто, произведение – всё» (*фр.*).

чьим рупором она служит, видят во французах «варваров», – я же в свою очередь искал бы *черный* континент, где нужно освобождать «рабов», в непосредственной близи от северных немцев... Кто принадлежит к *той* Франции, умеет хорошо скрываться: быть может, есть небольшое число людей, в которых она живет, к тому же, быть может, людей, не очень твердо стоящих на ногах, отчасти фаталистов, угрюмых, больных, отчасти изнеженных и пропитанных искусственностью, – таких, у которых есть *честолюбие* быть искусственными. Но в их распоряжении – все высокое и нежное, что еще осталось на свете. В этой Франции духа, являющейся вместе с тем и Францией пессимизма, даже Шопенгауэр сегодня более у себя дома, чем когда-либо в Германии; его главное произведение переводилось уже дважды, во второй раз – превосходно, так что я предпочитаю теперь читать Шопенгауэра по-французски (он был случайностью среди немцев, как и я являюсь среди них случайностью, – у немцев просто нет рук, чтобы почувствовать нас, у них вообще не рук, а есть только лапы). Не говоря уж о Генрихе Гейне – l'adorable Гейне, говорят в Париже, – уже давно вошедшем в плоть и кровь наиболее глубоких и одухотворенных лириков Франции. Что могут понимать в таких délicatesses подобной натуры немецкие бараны! – Что же, наконец, до Рихарда Вагнера, то очевидно, хотя и не видно сразу, что Париж – самая подходящая *почва* для Вагнера: чем более французская музыка приспособливается к нуждам «âme moderne»[1], тем более будет она вагнеризироваться, – она уже и теперь делает это в достаточной мере! – Сам Вагнер не должен вводить нас в заблуждение касательно этого – со стороны Вагнера было настоящей низостью насмехаться над агонизирующим Парижем в 1871 году... В Германии Вагнер, несмотря на это, просто недоразумение: кто может быть менее способным хоть что-нибудь смыслить в Вагнере, чем, к примеру, молодой кайзер? – Для каждого знатока европейского культурного развития, тем не менее, остается очевидным тот факт, что французский романтизм и Рихард Вагнер теснейшим образом связаны между собой. Все они подвластны литературе всем своим существом вплоть до

---

1 современной души (*фр.*).

глаз и ушей – эти первые художники Европы со *всемирно-литературным* образованием, – большей частью они даже сами пишущие, сочиняющие, посредники и смесители чувств и искусств; все они фанатики *выразительных* средств, великие первооткрыватели в области возвышенного, а также безобразного и отвратительного, еще большие первооткрыватели в области эффектов, в искусстве выставлять напоказ, в искусстве витрины; все они таланты далеко за пределами сферы их гения, – *виртуозы* до мозга костей, с неслыханными доступами ко всему, что соблазняет, привлекает, принуждает, опрокидывает; прирожденные враги логики и прямых линий, алчные ко всему чуждому, экзотическому, чудовищному, ко всем опиатам чувств и разума. В общем это отважно-смелая, великолепно-мощная, высоко парящая и высоко стремящаяся порода художников, которые впервые преподали *своему* столетию – а это столетие *масс*! – понятие «художника». Но они *больны*...

Вагнер как апостол целомудрия

1.

– Что тут немецкого?
В немецком духе разве эти завыванья?
В немецком теле эти самоистязанья?
Иль это рук горе вздыманье
И чувств кадильное благоуханье?
То замирать в молитвенном экстазе,
То падать ниц в немецком духе разве?
А эти звоны, эти переливы
И к небесам фальшивые порывы?..

– Что тут немецкого?
Нет, вы в преддверьи лишь, я уверять готов...
Ведь в этих звуках *Рим*, – *католицизм без слов*!

2.

Между целомудрием и чувственностью нет никакого неизбежного противоречия; всякий добрый брак, всякая настоящая, идущая от сердца любовная связь выступают за рамки этого противоречия. Но и в том случае, когда это противоречие действительно существует, ему, к счастью, еще долгое время не приходится быть противоречием трагическим. Это можно отнести, по крайней мере, на счет всех лучше удавшихся, гармонично устроенных смертных, которые далеки от того, чтобы без обиняков причислять свое шаткое равновесие между ангелом и petite bête[1] к аргументам против существования, – наиболее тонкие и просветленные натуры, подобно Гёте, подобно Хафизу, усматривали в этом даже дополнительную привлекательность... Подобные противоречия как раз и являются соблазном к существованию... С другой стороны, слишком очевидно: если уж несчастных зверей Цирцеи довести до того, что они будут поклоняться целомудрию, что будут видеть и *чтить* в нем лишь свою противоположность – о, с каким трагическим хрюканьем и рвением! можно вообразить, – ту именно мучительную и совершенно излишнюю противоположность, которую Рихард Вагнер, бесспорно, намеревался в конце своей жизни переложить на музыку и инсценировать. *Зачем же?* уместно будет спросить.

3.

При этом, конечно, нельзя обойти и другого вопроса: какое, собственно, было ему дело то той мужского пола (ах, столь немужественной) «деревенщины», до того бедолаги и бурсака природы Парсифаля, которого он под конец столь ухищренными средствами делает католиком – как? был ли этот «Парсифаль» вообще задуман *всерьез*? Поскольку с тем, что над ним смеялись, я едва ли могу поспорить, и Готтфрид Келлер тоже... Право, можно было бы желать, чтобы вагнеровский «Парсифаль» был задуман в шутку, словно заверша-

---

1 маленькое животное (*фр.*).

ющий аккорд и сатирическая драма, посредством которой трагик Вагнер самым подобающим ему образом желает проститься с нами, а также и с собой, но прежде всего с *трагедией*, – а именно, с помощью эксцесса возвышенной и забавнейшей пародии на само трагическое, на всю ужасающую земную серьезность и земную юдоль прежних времен, на преодоленную наконец *глупейшую форму* противоестества аскетического идеала. Ведь «Парсифаль» – это опереточный сюжет par excellence... Есть ли «Парсифаль» Вагнера тайный смех его превосходства над самим собой, триумф его последней высочайшей художнической свободы, художнической иносторонности – Вагнер, умеющий *смеяться* над собой?.. Этого, как сказано, можно было бы желать: ибо чем оказался бы «Парсифаль», *задуманный всерьез*? Действительно ли нужно видеть в нем (как выразились в мой адрес) «выродка взбесившейся ненависти к познанию, духу и чувственности»? Некое проклятие чувствам и духу одним махом, не переводя дыхания и ненависти? Отступничество и поворот к христианско-болезненным и обскурантистским идеалам? И под конец даже самоотрицание, самозачеркивание художника, который до той поры всею силою своей воли ратовал за противоположное, за высочайшее одухотворение и очувствление своего искусства? И не только своего искусства, но и своей жизни. Вспомним, сколь вдохновенно шел в свое время Вагнер по стопам философа Фейербаха. Слова Фейербаха о «здоровой чувственности» звучали тогда, в тридцатых и сороковых годах, для Вагнера, как и для многих немцев – они называли себя *молодыми* немцами – словами освобождения. *Отучился* ли он под конец от этого? По крайней мере, впечатление таково, что он под конец был готов *разучиться*... Возобладала ли в нем *ненависть к жизни*, как у Флобера?.. Ибо «Парсифаль» – это творение коварства, мстительности, тайного отравительства по отношению к предпосылкам жизни, *дурное* творение. – Проповедь целомудрия остается подстрекательством к противоестественности: я презираю всякого, кто не воспринимает «Парсифаль» как покушение на чувственность.

Как я освободился от Вагнера

1.

Еще летом 1876 года, в разгар первого фестиваля, в душе своей я расстался с Вагнером. Я не выношу двусмысленностей; с тех пор, как Вагнер оказался в Германии, шаг за шагом он все более склонялся ко всему тому, что я презираю – даже к антисемитизму... Тогда и в самом деле был лучший момент, чтобы расстаться: подтверждение этому я получил почти сразу же. Рихард Вагнер, казавшийся триумфатором, на деле же прогнивший отчаянный декадент, внезапно, беспомощно и сломленно пал ниц перед христианским крестом... Неужели же ни у одного немца не нашлось тогда глаз для этого зрелища, не нашлось сочувствия к нему?.. Неужели я был единственным, кто *страдал* от него? – Но полно об этом, мне самому это неожиданное событие, словно молния, дало со всей ясностью увидеть, что за место я покинул, а также почувствовать дрожь, какую испытывает каждый, кто, не ведая того, подвергался чудовищной опасности. Меня трясло, когда я, уже в одиночестве, продолжил свой путь; вскоре после этого я оказался больным, больше, чем больным – *усталым*; усталым от невыносимого разочарования во всем, что только осталось в мире воодушевляющего для нас, современных людей; усталым от *растраченных* там и сям впустую сил, трудов, надежд, юности, любви; усталым от всей этой идеалистической лживости и изнеженности совести, которая здесь снова одержала верх над одним из храбрейших; усталым, наконец, и не в последнюю очередь, от тоски беспощадного подозрения, что отныне я приговорен недоверять глубже, презирать глубже, быть *одиноким* глубже, чем это когда-либо бывало со мной. Потому что у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера... Я всегда был *приговорен* к немцам...

2.

Тогда-то, оставшись в одиночестве и испытывая болезненное недоверие к самому себе, я, не без ожесточения, выступил *против* себя, *взяв сторону* всего, что именно мне было больно и трудно: так я снова нашел путь к тому отважному пессимизму, являющемуся противоположностью всякой идеалистической лживости, а заодно, как мне представляется, путь к *себе* – к *моей* задаче... То потаенное и властное нечто, которому мы долго не можем найти никакого имени, покуда оно наконец не проявит себя нашей задачей, – этот тиран в нас сводит с нами страшные счеты за всякую нашу попытку уклониться или ускользнуть от него, за каждое преждевременно принятое решение, за то, что мы поставили себя на одну доску с теми, кто не одной крови с нами, за все наши занятия, сколь бы почтенными они ни были, коль скоро из-за них мы избегаем своего главного дела, – и даже за каждую добродетель, которая пытается защитить нас от жестокого суда той ответственности, которую мы несем перед самими собой. Болезнь всякий раз является ответом, когда мы пытаемся усомниться в своем праве на *собственную* задачу, когда мы начинаем в чем-то облегчать себе жизнь. Удивительно и в то же время страшно! За то, что́ *облегчает* нам жизнь, нас ждет самая жестокая расплата! Если же вслед за этим мы захотим снова вернуться к здоровью, нам не остается иного выбора: мы должны взвалить на себя *такую* ношу, какую не взваливали еще никогда прежде...

Слово берет психолог

1.

Чем более психолог – прирожденный, неизбежный психолог и разгадчик душ – начинает заниматься выдающимися случаями и людьми, тем более грозит ему опасность задохнуться от сострадания. Ему *нужна* суровость и веселость – больше, чем кому-либо другому. Порча и гибель высших людей как раз является правилом: ужасно иметь такое пра-

вило постоянно перед глазами. Многообразные мучения психолога, который открыл эту гибель, который раз открыл и затем *почти* беспрерывно снова открывает в объеме всей истории эту общую внутреннюю «неисцелимость» высшего человека, это вечное «слишком поздно!» во всех смыслах, могут, пожалуй, в один прекрасный день сами сделаться причиной *погибели*... Почти у каждого психолога замечается предательское пристрастие к общению с заурядными и уравновешенными людьми: этим выдает себя то, что он постоянно нуждается в исцелении, что ему нужно своего рода забвение и бегство от того, чем отягощают его совесть его прозрения и вскрытия, его *ремесло*. Ему слишком знаком страх перед собственной памятью. Он легко становится безгласным перед суждением других: с бесстрастным лицом внимает он, как поклоняются, изумляются, любят, прославляют там, где он *видел*, – или он даже скрывает свое безгласие, нарочно соглашаясь с каким-нибудь поверхностным мнением. Быть может, парадоксальность его положения доходит до такой ужасающей степени, что как раз там, где он научился *великому состраданию* наряду с *великим презрением*, «образованные» со своей стороны учатся великому почитанию... И кто знает, не случалось ли во всех значительных случаях именно и только это, – что поклонялись богу, а бог был лишь бедным жертвенным животным... *Успех* всегда был величайшим лжецом, – а ведь и *творение*, и *деяние* есть успех... Великий государственный муж, завоеватель, первооткрыватель замаскирован, скрыт в своих творениях до неузнаваемости; произведение, созданное художником, философом, только и создает того, кто его создал, кто *должен был* его создать... «Великие люди» в том виде, как их чтут, представляют собою после этого ничтожные, слабенькие выдумки, – в мире исторических ценностей *господствует* фальшивомонетничество...

2.

Эти великие поэты, например эти Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст, Гоголь – я не отваживаюсь назвать гораздо более великие имена, но подразумеваю их, – если взять их

такими, каковы они на самом деле, какими они должны быть: люди минуты, чувственные, абсурдные, пятиликие, легкомысленные и взбалмошные в своем недоверии и в доверии; с душами, в которых обыкновенно надо скрывать какую-нибудь трещину; зачастую мстящие своими произведениями за внутреннюю загаженность, зачастую ищущие в своих взлетах забвения от слишком верной памяти, идеалисты, одной ногой завязшие в *трясине* – каким мучением являются эти великие художники и вообще так называемые высшие люди для того, кто только что разгадал их... Мы все заступники посредственного... Понятно, что именно в женщине, отличающейся ясновидением в мире страданий и, к сожалению, одержимой такой страстью помогать и спасать, которая далеко превосходит ее силы, вызывают *они* так легко те вспышки безграничного сострадания, которые толпа, и прежде всего *почитающая* толпа снабжает в изобилии любопытными и самодовольными толкованиями... Это сострадание регулярно обманывается в своей силе: женщине хочется верить, что любовь может *всё*, – таково ее *своеверие*. Ах, сердцевед прозревает, как бедна, беспомощна, притязательна, склонна к ошибкам даже самая сильная, самая глубокая любовь – как она скорее *губит*, чем спасает...

3.

Духовное высокомерие и брезгливость всякого человека, который глубоко страдал – то, *насколько* глубоко могут страдать люди, почти определяет их иерархию, – его ужасающая, насквозь пропитывающая и окрашивающая его уверенность, что благодаря своему страданию он *знает больше*, чем могут знать самые умнейшие и мудрейшие, что он узнал и даже освоился во многих далеких и ужасающих мирах, о которых «*вы* ничего не знаете!»... это духовное безмолвное высокомерие, эта гордость избранника познания, «посвященного», почти принесенного в жертву нуждается во всех видах переодевания, чтобы оградить себя от прикосновения назойливых и сострадательных рук и вообще от всего, что не равно ему по страданию. Глубокое страдание облагораживает; оно обособляет. – Одной из самых утонченных

форм переодевания является эпикуреизм и связанная с ним выставляемая напоказ храбрость вкуса, которая легко относится к страданию и выставляет себя на защиту от всего печального и глубокого. Есть «веселые люди», пользующиеся веселостью для того, чтобы под ее прикрытием оставаться непонятыми: они *хотят*, чтобы их не поняли. Есть «ученые умы», пользующиеся наукой, потому что она придает бодрый вид и потому что научность позволяет заключить, что этот человек поверхностен: они *хотят* спровоцировать на такое ложное заключение... Есть свободные дерзкие умы, которые хотят скрыть и отрицать, что по сути у них разбитое, неисцелимое сердце – таков случай Гамлета: и тогда само шутовство может служить маской злосчастному, *слишком несомненному* знанию.

Эпилог

1.

Я часто спрашивал себя, не обязан ли я самым тяжким годам моей жизни больше, чем каким-либо другим. Как меня учит тому самая сокровенная моя природа, все неизбежное, если взглянуть на него с высоты и в масштабе *большой* экономии, оказывается одновременно и тем, что полезно само по себе, – если следует не только выносить, но и *любить*... *Amor fati*: это и есть моя сокровеннейшая природа. – И что касается моей долгой хвори, то не обязан ли я ей несказанно бо́льшим, нежели моему здоровью? Я обязан ей *высшим* здоровьем – таким, которое становится только крепче от всего, что его не убивает! *Я обязан ей также и моей философией*... Только великая боль есть последний освободитель духа, как наставник в *великом подозрении*, которое из всякого U делает X, подлинное, действительное X, т.е. *предпоследнюю* букву перед последней... Только великая боль, та долгая, медленная боль, в которой нас сжигают как бы на сырых дровах, которая делает свое дело, никуда не торопясь, вынуждает нас, философов, погрузиться в нашу последнюю глубину и отбросить всякое доверие, все добродушное, за-

волакивающее, кроткое, среднее, во что мы, быть может, до этого вложили нашу человечность. Я сомневаюсь, чтобы такое страдание «улучшало», но я знаю, что оно *углубляет* нас... Все равно, учимся ли мы противопоставлять ему нашу гордость, нашу насмешку, силу нашей воли, уподобляясь индейцу, который, как бы жестоко его ни истязали, облегчает свои муки, язвя своего истязателя словами; все равно, отступаем ли мы перед страданием в это Ничто, в немую, оцепенелую, глухую покорность, самозабвение, самоугасание: из таких долгих опасных упражнений в господстве над собою выходишь другим человеком, с *бóльшим* количеством вопросительных знаков, – прежде всего с *волей* спрашивать впредь больше, глубже, строже, тверже, злее, тише, чем когда-либо прежде спрашивали на Земле... Доверие к жизни исчезло; жизнь сама стала *проблемой*. – Пусть не думают, впрочем, что непременно становишься от этого сычом, совой! Даже любовь к жизни еще возможна, – только любишь *иначе*. Это любовь к женщине, которая вызывает в нас сомнения...

2.

И вот что самое странное: после этого у тебя появляется другой вкус – *второй* вкус. Из таких пропастей, в том числе и из пропасти *великого подозрения* возвращаешься новорожденным, облупленным, более чувствительным к щекотке, более каверзным, с более истонченным вкусом к радости, с более нежным языком для всех хороших вещей, с более веселыми чувствами, со второй, более опасной невинностью в радости, одновременно более ребячливым и во сто крат более рафинированным, чем был когда-нибудь до этого. Мораль: за то, что являешься глубочайшим умом всех тысячелетий, не остаешься без наказания – не остаешься и *без награды*... Я незамедлительно явлю пример этому.

О, как противно теперь тебе наслаждение, грубое, тупое, смуглое наслаждение, как его обычно понимают сами наслаждающиеся, наши «образованные», наши богатые и правящие! С какой злобой внемлем мы теперь той оглушительной ярмарочной шумихе, в которой «образованный

человек» и обитатель большого города нынче позволяет насиловать себя искусством, книгой и музыкой во имя «духовных наслаждений», с помощью духовитых напитков! Как режет нам теперь слух театральный крик страсти, как чужд стал нашему вкусу весь романтический разгул и неразбериха чувств, которую любит образованная чернь, вместе с ее стремлениями к возвышенному, приподнятому, взбалмошному! Нет, если мы, выздоравливающие, еще нуждаемся в искусстве, то это *другое* искусство – насмешливое, легкое, летучее, божественно безнаказанное, божественно искусное искусство, которое, подобно чистому пламени, возносится в безоблачное небо! Прежде всего: искусство для художников, *только для художников*! Мы после этого лучше понимаем, что для этого прежде всего нужно: веселость, *всякая* веселость, друзья мои!.. Мы теперь знаем кое-что слишком хорошо, мы, знающие; о, как мы теперь учимся хорошо забывать, хорошо *не* слишком-знать, как художники!.. И что касается нашего будущего: нас вряд ли найдут снова на стезях тех египетских юношей, которые ночами проникают в храмы, обнимают статуи и во что бы то ни стало хотят разоблачить, раскрыть, выставить напоказ все, что не без изрядных на то оснований держится сокрытым. Нет, этот дурной вкус, эта воля к истине, к «истине любой ценой», это юношеское помешательство на любви к истине – опротивели нам вконец: мы слишком опытны, слишком серьезны, слишком веселы, слишком прожжены, слишком *глубоки* для этого... Мы больше не верим тому, что истина останется истиной, если снять с нее *покрывало*, – мы достаточно пожили, чтобы верить этому... Теперь для нас это дело приличия – не стремиться видеть все обнаженным, при всем присутствовать, все понимать и «знать». *Tout* comprendre – c'est tout mépriser[1]... «Правда ли, что боженька находится везде? – спросила маленькая девочка свою мать. – Но я нахожу это неприличным» – намек философам!.. Следовало бы больше уважать *стыд*, с которым природа спряталась за загадками и пестрыми неизвестностями. Быть может, истина – женщина, имеющая основания *не позволять подсматривать своих оснований*?.. Быть может, ее имя, говоря по-

---

1 Все понять значит все презирать (*фр.*). В ВН этой фразы нет.

гречески, *Баубо*?.. О, эти греки! они умели-таки *жить*! Для этого нужно храбро оставаться у поверхности, у складок, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь *Олимп иллюзии*! Эти греки были поверхностными – *от глубины*... И не возвращаемся ли мы именно к этому, мы, сорвиголовы духа, взобравшиеся на самую высокую и самую опасную вершину современной мысли и оглядевшиеся оттуда, *посмотревшие оттуда вниз*? Не являемся ли мы именно в этом – греками? Поклонниками форм, звуков, слов? Именно поэтому – *художниками*?..

О бедности богатейшего

Прошло десять лет, –
ни капли меня не коснулось,
ни влажного ветерка, ни росинки любви
– земля без дождей...
Теперь я прошу свою мудрость,
средь засухи этой скупою не быть:
излейся сама, сама упади росою,
сама стань дождем пожелтевшей пустыни!

Прежде я гнал облака
прочь от моих вершин, –
«больше света, вы, скопления тьмы!», – говорил им.
Сегодня маню их, чтобы они пришли:
сгустите тьму вкруг меня своими сосцами!
– Хочу подоить вас,
вы, коровы высот!
парную мудрость, росную сладость любви
я разолью над землей.

Прочь, прочь, те истины,
что мрачно глядят!
Не желаю я на вершинах своих
горькие, нетерпеливые истины видеть.
Златой осиянна улыбкой,
напитана сладостью солнца, с румянцем любви,
пусть идет ко мне истина нынче, –
только *зрелую* истину я срываю с дерев.

Ныне я руку тяну
к кудряшкам случая,
довольно научен, чтоб случай,
словно ребенка, вести, и перехитрить.

Ныне желаю я быть гостеприимным
к нежданному,
против самой судьбы не хочу я ощетиниваться
– Заратустра не ёж.

Душа моя
ненасытным своим языком
облизала уже все хорошее и дурное,
во все глубины ныряла она.
Но всегда, словно пробка,
снова всплывала наверх.
Лоснится она на бронзово-смуглых волнах:
из-за этой-то души называют меня счастливцем.

Кто мне мать и отец?
Не отец ли мне принц Изобилье,
а мать – радостный смех?
Не их ли союз породил
меня, диковинную загадку,
меня, светлого демона,
меня, расточителя мудрости Заратустру?

Болен нежностью ныне
и влажным ветром,
сидит Заратустра и ждет, ждет на своих горах,
сварившийся и налившийся сладостью
в собственном соку,
под вершиной своей,
подо льдом своим,
усталый и блаженный,
творец на седьмой день творенья.

– Тише!
Истина проплывает надо мной,
словно облако, –
невидимыми молниями бьет она в меня.
По широким медленным лестницам
сходит ко мне ее счастье:
приди, о приди, возлюбленная истина!

– Тише!
Вот она, моя истина! –
Из медлящих глаз,
из бархатного трепета
разит меня ее взгляд,
милый, язвящий девичий взгляд...
Она угадала, в чем мое счастье,
она разгадала меня – ха! что это она задумала? –
Огненно затаился дракон
в бездне ее девичьего взора.

– Тише! Моя истина говорит! –

Горе тебе, Заратустра!
Ты похож на того,
Кто золото проглотил:
тебе еще вспорют брюхо!..

Слишком уж ты богат,
ты, развратитель многих!
Слишком многих делаешь ты завистниками,
слишком многих делаешь бедняками...
На меня саму тень бросает твой свет, –
меня бросает в озноб: прочь уйди, ты, богач,
прочь, Заратустра, из твоего солнца!..

Ты мог бы дарить, раздарить свой излишек,
но сам ты – излишество!
Пойми ты, богач!
Сперва раздари себя самого, о Заратустра!

Прошло десять лет, –
и ни капли тебя не коснулось?
ни влажного ветерка? ни росинки любви?
Но кто же *мог бы* тебя любить,
ты, богатейший?
Счастье твое все иссушает вокруг,
безлюбыми делает
– землей *без дождей*...

Никто тебе не благодарен.
Но ты благодарен всякому,
кто у тебя берет:
тебя узнаю́ я в этом,
ты, богатейший,
ты, *беднейший* из всех богачей!

Ты в жертву приносишь себя, тебя *мучит*
твое богатство, –
ты себя раздаешь,
ты себя не жалеешь, ты не любишь себя:
все время терзаем великой мукой,
мукой *переполненных* житниц, *переполненного* сердца –
но никто тебе не благодарен...

Беднее должен ты стать,
неразумный мудрец,
коль хочешь любимым быть.
Любят только страдальцев,
любовь дают только голодным:
сперва раздари себя самого, о Заратустра!

– Я – твоя истина...

Приложение

Послесловие редактора

Одной из существенных особенностей этого тома Собрания сочинений Ницше является то, произведения немецкого мыслителя представлены здесь как в дореволюционных переводах, уже более ста лет (хотя и в существенно отличающейся редакции) известных российскому читателю, так и в переводах, сделанных в последнее двадцатилетие. Кроме того, в составе «Дионисовых дифирамбов» опубликованы фрагменты из книги «Так говорил Заратустра», переведенные Я. Голосовкером в 30-х годах XX столетия – еще один, трагический и как бы упирающийся в тупик, в «подполье» этап русского перевода Ф. Ницше. Впрочем, для того, чтобы вынести перевод «Ecce homo», сделанный Ю. Антоновским, на суд сегодняшнего читателя, с этим переводом пришлось проделать работу, выходящую за рамки редактуры и являющуюся во многих местах по сути созданием нового перевода – как на основе перевода Антоновского, так и «с нуля». К этому следует добавить, что и содержательно читатель встретится здесь с впервые публикуемыми по-русски фрагментами текста – в частности, это 3-й параграф главы «Почему я так мудр», опубликованный в издании Колли и Монтинари, и, соответственно у нас, в своей окончательной версии (см. ниже в комментариях). Однако и при чтении уже давно знакомых фрагментов читатель постоянно будет иметь дело с текстами, которые он видит на русском впервые (несколько примеров «навскидку»: первые же фразы параграфов 3, 9, 10 главы «Почему я так умен», параграфов 1, 3, 4 главы «Почему я пишу такие хорошие книги» и т. д.). На сегодняшний день нам представляется оптимальным именно этот экспериментальный путь совмещения дореволюционного, проходившего многократную обработку и все же до сих пор еще слишком, чересчур необработанного перевода, «перевода-подстрочника», – совмещения его с элементами перевода нового, ориентированного на то, чтобы избегать стилистической невнятицы,

тяжеловесности и калек с немецкого синтаксиса. Этот путь был выбран нами не только за неимением лучшего – идеального – перевода, но и в знак признания заслуг дореволюционных переводчиков (в первую очередь это касается Н. Полилова, представленного здесь переводом «Сумерек идолов»), которые местами – предложениями, фрагментами, главами – столь адекватны в передаче афористичной мысли Ницше, что едва ли целесообразно изобретать что-то взамен них. Простейший пример: афоризм 8 из «Изречений и стрел» в «Сумерках идолов»: «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». Теоретически можно представить себе, что кто-то переведет эту фразу иначе, но именно как некое «вопреки Полилову» – задача, может быть, и небезынтересная, но едва ли представляющая интерес в контексте академического собрания сочинений Ницше. (Справедливости ради здесь надо заметить, что перевод Полилова мы использовали с некоторой оглядкой на другой, гораздо менее точный, но подчас более удачный в выборе русских эквивалентов, дореволюционный перевод, вышедший в «Товариществе Владимир Чичерин» в 1900 г. В свою очередь, при подготовке новой редакции перевода Антоновского нами использовано множество вариантов правки, предложенной К.А. Свасьяном в 2-томнике 1990 года издания, вышедшем под его редакцией. Каждый из случаев такого благодарного заимствования оговорен в комментариях).

Впрочем, как минимум один перевод, который по праву может претендовать на роль эталона, в данном томе представлен. Это «Антихристианин» А.В. Михайлова. Та огромная созидательная, властная и в то же время детальная работа, которую проделал Михайлов с книгой Ницше, делает его перевод самостоятельным, автономным фактом русской словесности. Во многих случаях Михайлов попросту ломает ницшевский синтаксис, однако «переводческой вольностью» такое обхождение назвать никак нельзя: это необходимая и неизбежная работа, с помощью которой на русском языке воссоздается и ясность, и энергия оригинала.

Перевод А.В. Михайлова публикуется на основе текста, вышедшего в 1989 году в сборнике «Сумерки богов» (М.: «Политиздат»). Все случаи точечной редакторской правки, которые мы вносим в этот текст (редактировать

перевод Михайлова было необходимо хотя бы уже по одним только текстологическим соображениям, поскольку он работал по изданию 1906 года, которое вышло без целого ряда содержавшихся в рукописи фраз) также оговорены в комментариях – всякий раз с указанием исходного варианта по вышеуказанному изданию. В некоторых случаях речь идет просто об описках переводчика, либо ошибках наборщика (например, «самоопределение» вместо «самопреодоление» или «институтов» вместо «инстинктов»), в других случаях пропущены – возможно, все еще по цензурным соображениям – отдельные слова, стоящие у Ницше (так, в издании «Политиздата» было опущено выражение «Социалистическое отребье»). Однако проблема, вставшая перед нами при публикации данного перевода и казавшаяся поначалу неразрешимой, заключалась не в этих деталях, а в самом названии книги Ницше. Перевод А.В. Михайлова озаглавлен «Антихристианин». По отношению к истории рецепции Ницше в России и к существовавшим до того переводам это было существенным, почти «революционным» нововведением. Оно объяснимо концептуально, объяснимо эмоционально, может быть оправдано спецификой исторического момента (речь шла о том, чтобы вновь ввести тексты Ницше в поле открытой полемики, – в свете этой задачи Ницше должен был предстать «новым», в том числе освобожденным от устрашающих стереотипов). Однако, на наш взгляд, это нововведение неоправданно по отношению как к интенции автора «Антихриста», так и к самому заглавию («Der Antichrist», т. е. не некий обобщенный «антихристианин», а определенный, тот самый «антихрист»). В примечаниях к переводу А.В. Михайлова, подготовленных А.М. Руткевичем, по поводу названия книги Ницше сказано: «Немецкое Antichrist двусмысленно: это и “антихристианин” и “Антихрист” ... (перевод “Антихристианин”, однако, точнее передает мысль Ницше). Христу противопоставляется Дионис, а не Люцифер, хотя в сознании Ницше присутствовал и образ Антихриста» (Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 347). Здесь следует заметить, во-первых, что образ Антихриста отнюдь не тождествен Люциферу. Образ этот основывается на словах первого послания Иоанна: «всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, при-

шедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет ...» (I Ин 4, 3). На протяжении истории христианства слова эти толковались самым разным образом: так, согласно Оригену, Антихрист – это ложные учения, а храм, в котором он воссядет – литература (подробнее см.: Христианство. Энциклопедический словарь. М.: «Большая Российская энциклопедия», 1993. Т. 1. С. 90). Что же касается точности передачи мысли Ницше, то надо думать, что яснее всего и с подчеркнутой – на лингвистическом уровне – однозначностью передает ее сам Ницше: «я всемирно-историческое чудовище, – по-гречески, и не только по-гречески, я Антихрист» («Ecce homo», с. 226 наст. изд.). Для любителей ссылаться на частичную «невменяемость» Ницше в пору окончания работы над «Ecce homo» можно привести и гораздо более раннюю цитату – из письма 1883 года, по поводу «Заратустры»: «первый же читатель чувствует, о чем здесь идет речь: о давно обещанном «антихристе»». Понятно, кто именно «давно обещан», «обетован» – не «антихристианин» же. (Разумеется, речь идет не о том, насколько буквально следует понимать при этом Ницше).

Исходя из вышеизложенного представляется еще более очевидным, что название произведения Ницше корректнее переводить как «Антихрист». Однако поскольку перевод, сделанный покойным А.В. Михайловым, переименован быть не может, издание оказалось, как было сказано, перед неразрешимой поначалу проблемой. Путь к ее разрешению подсказала специфика редакции Д. Колли и М. Монтинари. Дело в том, что они, а вслед за ними и данное издание, включают в состав книги «Закон против христианства», не публиковавшийся прежде в русских изданиях в качестве заключительного текста «Антихриста». (Правда, «Закон против христианства» приводится в вышеупомянутых примечаниях к «Сумеркам богов». Там, однако, завершающая его подпись, идентичная названию книги, переведена уже как «Антихрист».) Таким образом, оказалось возможным принять следующее компромиссное решение: опубликовать перевод А.В. Михайлова – безусловно лучший из существующих на сегодняшний день: 1) под заголовком, данным самим переводчиком, 2) и в составе произведения под общим заглавием «Антихрист», включающим также «Закон

против христианства», подписанный «Антихристом», с чем, по-видимому, был согласен и сам Михайлов.

Проблема разночтений переводов и, в том числе, выбора заглавия вновь встала в данном томе при публикации «Дионисовых дифирамбов». Это произведение впервые предстает здесь перед русским читателем в своем полном и окончательном виде. Почти каждое из составляющих его стихотворений существует на русском в нескольких вариантах, сделать выбор между которыми было в некоторых случаях очень непросто. В результате при публикации стихотворения «Das Feuerzeichen» («Сигнальный огонь» в переводе А. Карельского, «Огненный знак» в переводе В. Микушевича и «Огненный сигнал» в переводе Н. Полилова) мы не стали останавливаться на одном-единственном варианте перевода и опубликовали, один из другим, переводы Микушевича и Карельского, по-разному и в равной степени обоснованно интерпретирующие одни и те же образы (подробнее об этом см. ниже в комментариях). Думаю, что при чтении этих переводов читатель убедится в том, что такое решение было не только правомерным, но и единственно правильным. Ведь задача настоящего издания не только в том, чтобы предложить читателю то или иное прочтение Ницше, но и в том, чтобы донести до него всю вариативность смысла в тех случаях, где она нашла яркое и достойное оригинала отражение в русских переводах.

Завершающее данный том произведение «Ницше contra Вагнер» также впервые публикуется на русском в своем полном виде. Здесь оказался как нельзя более уместен и даже единственно возможен метод «тотальной» редактуры с вкраплениями новых переводов, поскольку сам этот текст является плодом редакторской работы Ницше над фрагментами своих более ранних произведений.

Произведение «Случай "Вагнер"» (Der Fall Wagner, в двухтомнике под редакцией К. Свасьяна озаглавленное «Казус Вагнер»), также входящее в 6-й том немецкого издания, в силу ряда редакционных причин будет опубликовано вместе с произведениями, входящими в состав 5-го тома, к которым оно примыкает хронологически.

Игорь Эбаноидзе

Список сокращений

Произведения

А – «Антихрист».

ВН – «Веселая наука».

ГМ – «К генеалогии морали».

ДД – «Дионисовы дифирамбы».

ДШ – «Давид Штраус как писатель и исповедник».

ЕН – «Ecce homo».

НСВ – «Ницше contra Вагнер».

ПСДЗ – «По ту сторону добра и зла»

РВБ – «Рихард Вагнер в Байройте»

СВ – «Случай “Вагнер”».

СЕТ – приложение к ЧСЧ «Странник и его тень».

СИ – «Сумерки идолов».

СМИ – приложение к ЧСЧ «Смешанные мнения и изречения».

ТГЗ – «Так говорил Заратустра».

УЗ – «Утренняя заря».

ЧСЧ – «Человеческое, слишком человеческое».

ШВ – «Шопенгауэр как воспитатель».

Издания Ницше

АМ – Ф. Ницше. Антихристианин. Пер А. Михайлова. В: «Сумерки богов». М.: «Политиздат», 1989. Сс. 17–93.

КСВ – Ф. Ницше. Сочинения в 2 т. М.: «Мысль», 1990. Под ред. К. Свасьяна.

НП – Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007. Пер. и сост. И. Эбаноидзе.

ПСС – Ф. Ницше. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., «Культурная революция», 2005– . Ссылки на ТГЗ (4-й том ПСС) даются с указанием номеров строк (стр.).

KSA – Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bde. Hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Berlin: W. De Gruyter, 1999.

NWZ – Erich F. Podach. Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs. Heidelberg: Wolfgang Rothe Verlag, 1961.

Специальные обозначения, используемые в комментарии

Dm (Druckmanuskript) – рукопись для печати, на основе которой делается первое издание.

Rs (Reinschrift) – чистовая рукопись, предшествующая рукописи для печати.

GSA – архив Гёте и Шиллера (Goethe-Schiller-Archiv) в Веймаре.

КиМ – Д. Колли и М. Монтинари.

– – пропущенные слова в рукописи.

– – – незаконченная фраза в рукописи.

/ – конец строки в рукописи.

Сумерки идолов

Первый тираж книги был отпечатан в типографии Наумана в ноябре 1888 г.

Предисловие

increscunt... vitrtus – изречение Марка Фурия Бибакула, цитируемое Авлом Геллием. – Прим. К. Свасьяна.

Изречения и стрелы

Варианты к данному разделу ср: ПСС 13, 15[118].

1. Ср.: ПСС 13, 11 [107].

3. Ср.: Аристотель. Политика 1253а 29.

4. Ср.: у Шопенгауэра: «Simplex sigillum veri».

7. Ср.: ПСС 12, с. 342.

11. *Случай философа* – в черновых набросках: *Случай Карлейля.*

13. В черновых набросках афоризм начинался словами: *Женщина, «вечная женственность» – это попросту воображаемые ценности, в которые верит только мужчина.*

14. Ср. в черновиках 1887–1888 гг. выписку из Journal des Goncours I: «*они искали нуля, чтобы удесятерить свою ценность*» (ПСС 13, с. 110).

15. В одном из черновиков (тетрадь W II 3 в GSA) после слова *авторитет* в скобках на смеси немецкого и французского поясняется: *Denn comprendre c'est egaler* («потому что понимание уравнивает»).

17. *panem et Circen ...* – Н. обыгрывает выражение Ювенала (Sat. 10, 81) «panem et circenses» (хлеба и зрелищ). – Прим. К. Свасьяна.

20. Ср.: ПСС 13, 11[59].

21. Ср.: ПСС 13, 15[117].

22. ... *нет песен»* ... – Строка из стихотворения «Песни» И.Г. Зойме, ставшая крылатым выражением. В переводе черновиков 1888 года, где Н. также обращается к этой теме (т. 13, 18[9]), В. Бакусев предложил ритмически адекватный перевод этой цитаты: «Злые люди не поют от сердца» (ср.: ПСС 13, с. 484). О русских песнях ср. также с письмом Г. Кезелицу от 27 марта 1886 г. (НП, с. 253).

23. *уже восемнадцать лет* ... – т. е. со времени образования империи.

27. ... *до дна. Женщина* ... – в черновых набросках: *до дна. У женщины нет дна, она – бочка данаид.* Ср. с высказыванием Гаварни из «Дневников» Гонкуров (I, 325): «Мы спрашиваем его, случалось ли ему когда-либо понять женщину? – Женщина, но это сама непроницаемость, – не оттого, что она глубока, а оттого, что она пуста». (Пер. К. Свасьяна).

29. Ср.: ПСС 12, с. 482–483.

33. ... *для счастья* – ср. в ТГЗ, глава «В полдень» (ПСС 4, с. 279, стр. 26–31).
без музыки ... – ср. в письме Г. Брандесу от 27 марта 1888 г. (НП, с. 307).
... *распевающим песни* – аллюзия на строки из патриотического стихотворения «Немецкое отечество», написанное Э.М. Арндтом в 1813 году: «Soweit die deutsche Zunge klingt / Und Gott im Himmel Lieder singt».

34. *On* ... *assis* – Эти слова Флобера приводит Мопассан в предисловии к изданию писем Флобера к Жорж Санд (книга сохранилась в библиотеке Н.).

36. Ср.: ПСС 12, с. 463 (10[107]).

37. Ср.: ПСС 12, с. 482 (10[145]); ПСС, 13, с. 9 (11[1]).

38, 40, 41. Ср.: ПСС 12, с. 482 (10[145]).

44. Ср. концовку первого параграфа А.

Проблема Сократа

1. ... *Асклепию петуха* – Ср.: Платон. Федон 118 а.
мудрейшие всех времен – цитата из «Коптской песни» Гёте. Цитируется также в ЧСЧ 110.

3. ... *суждение физиономиста* ... *мой господин* – См. у Цицерона (Tusc. IV 37,80).

4. *перепроизводство* ... – собств. «Superfoetation» – «сверхоплодотворение». См.: ПСС 13, прим. к 11[297].
... «*демоний Сократа*» ... – См.: Платон. Апология Сократа, 31 d. Также комментарии С.И. Соболевского в: *Ксенофонт.* Воспоминания о Сократе. М., 1993. Сс. 291–292.

«Разум» в философии

2. *длительности...* – в черновике после этих слов зачеркнуто: *Сегодня мы мыслим об этом совершенно как последователи Гераклита.*

Как «истинный мир» наконец стал басней

В одном из планов начала 1888 года эта глава фигурирует как начало «Воли к власти». Ср. абрис первой главы «Воли к власти» в ПСС 13, 14[156].

1. ... *я, Платон* – в предварительном варианте (тетрадь W II 5, 64): *я, Спиноза.*
6. ... *ZARATHUSTRA* – в предварительном варианте (тетрадь W II 5, 64): *PHILOSOPHIA.*

Мораль как противоестественность

Эта глава состоит из двух частей, из которых, в рабочей тетради W II 5, под заголовком «Мораль как тип декаданса», сперва была записана вторая (№№ 4–6). №№ 1–3 появляются только в хронологически более поздней тетради W II 6. В папке с рабочими материалами Mp XVI 4, относящейся к тому же времени, что и W II 6, над №№ 1–2 стоит заголовок «Шопенгауэр и чувственность». Обе части были объединены в одну главу в августе 1888 г.

2. *la Trappe* – Н. имеет в виду орден траппистов. Об этом ордене в том виде, в каком он был реформирован аббатом де Рансе, см. также в 3-й главе ШВ.
4. *Бог знает сердца...* – Лк 16, 15. Ср.: ПСС 13, 18[8].
5. ... *ценности жизни ... определяем ценности* – ср. подготовительные материалы к ЧСЧ, в частности, комментированный конспект книги Е. Дюринга «Ценность жизни»: ПСС 8, 9[1].

Четыре великих заблуждения

Изначально текст был посвящен трем, а не четырем заблуждениям; параграфы 1 и 2 появились только в Rs. Судя по одному из планов «Воли к власти», параграфы 4–6 должны были войти в первый раздел («Психология заблуждения») этой ненаписанной книги (см. ПСС 13, 16[86] и 16[85]). Материал, переработанный здесь в параграфы 7–8, содержится еще в записях весны 1888 г. (ср.: ПСС 13, 15[30], в особенности сс. 386–387).

1. *Корнаро* – книга венецианца Лодовико Корнаро (1475–1566) «Discorsi della vita sobria» в немецком переводе сохранилась в библиотеке Н.
Crede experto – ср. в письме Овербеку: *За Ниццу я держусь крепко, в климатическом отношении это моя «земля обетованная». Только вот здесь надо основательно питаться и жить не а ля Корнаро* (30 марта 1884).
3. ... *что вложил в них* – ср. у Канта: «Мы a priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими» (*Кант. И.* Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. Т 3. С. 88). – Прим. К. Свасьяна.
... *мерилом реальности* – в предварительных набросках (папка Mp XVI 4): *судьей мира.*
4. ... *со сновидения ... ложно поняты как его причина* – ср.: ЧСЧ 13.
6. ... *и представление 2, 666* – Н. цитирует по лейпцигскому изданию 1873–1874 годов, экземпляр которого сохранился в его библиотеке.

«Исправители» человечества

Эта глава, по мнению КиМ, также родилась из подготовительных материалов к «Воле к власти» – в особенности к третьей главе («*Добрые люди и улучшители*») Второй книги («*Происхождение ценностей*»), согласно плану, датированному 26 августа 1888 г. (см. ПСС 13, 18[17]).

2. ... *«белокурых бестий»* – ср. 11-й параграф Первого рассмотрения ГМ.

3. *«Закона Ману»* – Н. ознакомился с ним по книге Louis Jacalliot. Les législateurs religieux. Manou-Moïse-Mahomet. Paris, 1876. Об этом см. также в письме Кезелицу от 31 мая 1888 г. (НП, с. 319).
Третье предписание ... друг другу – ср. в вышеупомянутой книге Жаколио с. 105 сл.
(– это ... расы – там же, с. 102 сл.
4. *книга Еноха* – апокрифический древнееврейский текст, относящийся ко II в. до н. э. Ср. выписки Н. из Ренана в ПСС 13, 11[405].
5. *Ни Ману ... безнравственны* – ср. конец 55 параграфа А.

Чем обделены немцы

1. *... быть умным* – в черновых варинтах (тетради W II 3 и W II 7) после этих слов следовало: *Среди французов требуется мужество быть немцем.*
... народом мыслителей – первым, кто назвал немцев «народом мыслителей и поэтов», был, по всей видимости, Карл Музеус (в предисловии к «Народным сказкам» в 1782 г.).
Deutschland ... Alles – первая строка «Песни немцев», сочиненной в 1841 г. Х. Хоффманом фон Фаллерслебеном.
2. *Недаром ... до гроба* – см. D.F. Strauss. Gesammelte Schriften. Hrsg. v. E. Zeller. Bd. 12.
4. *Культура и государство ... антиполитичным* – один из черновых вариантов: *Сегодня государство претендует на то, чтобы высказываться в вопросах культуры и даже выступать в них судьей, – как если бы государство не было лишь средством, и весьма подчиненным средством культуры! Сколько «немецких рейхов» можно было бы отдать за одного Гёте!*
больше нет ... удивление – черновой вариант: *То, что нет никаких немецких философов, это бесспорный финал ... Словом «философ» злоупотребляют такие болтливые нули, как господин Бессознательный – Эдуард фон Гартман – или ядовито-желчные типы, вроде берлинского антисемита господина Е. Дюринга – среди приверженцев последнего совершенно нет пристойных людей, а среди приверженцев первого – пристойных «умов».*
5. *Нужны воспитатели ... воспитаны* – ср.: ПСС 8, 5[25].
«высших нянек» – ср.: ПСС 12, 10[12].
7. *нет пальцев* – ср. ЕН, Казус Вагнер, 4.

Набеги Несвоевременного

Заголовок раздела не означает, что на Н. «набежало» нечто «несвоевременное». Под «несвоевременным» Ницше подразумевает самого себя. Одна из его фотографий даже подписана им: «Фридрих Несвоевременный». Поэтому слово *Несвоевременного* мы даем здесь с прописной буквы.

Этот раздел также сложился из фрагментов, которые Н. создавал с осени 1887 по лето 1888 гг., первоначально предполагая включить их в «Волю к власти». КиМ видят в этом факте еще одно доказательство того, что СИ есть «продукт разложения» (Produkt der Auflösung) замысла «Воли к власти». В первой Rs, подготовленной летом 1888 г., то есть в рукописи, состоявшей еще из фрагментов будущих СИ и А, нынешние параграфы с 1 по 18 были собраны под заголовком «Среди художников и писателей», а параграфы с 19 по 31 и с 45 по 51 – под заголовком «Из моей эстетики». Параграфы с 32 по 44 были добавлены Н. между 4 и 13 октября, когда он занимался корректурой рукописи – они тоже взяты из материалов, предназначавшихся исходно для «Воли к власти».

1. *трубач ... из Зэкингена* – подразумевается популярное стихотворение И. фон Шеффеля. Ср. ЕН, Случай «Вагнер», 1.
lactea ubertas – т. е. молочное изобилие (*лат.*). Ср.: в «Дневниках» Гонкуров: «В ее позе есть тяжесть, невозмутимость, нечто от полуспячки жвачного ... Г-жа Санд – жвачный сфинкс, корова Апис». – Пер. К. Свасьяна.

2. *Ренан. – Теология ... характера* – черновой вариант: *Как же выходит, что столь рафинированный и гибкий ум, как Ренан, промахивается всякий раз, как отдается своим инстинктам? Абсурдным образом становится теологом и феминистом?*
соединить ... la noblesse – Ср.: ПСС 12, 9[20].
духовный аристократизм – черновой вариант: *святого Франциска духовного аристократизма.* Имеются в виду прежде всего «Философские диалоги» Ренана, которые Н. читал в немецком переводе.

3. Ср.: ПСС 13, 11[9], из которого становится еще очевиднее, что в этой характеристике Сент-Бева Н. использовал «Дневники» Гонкуров. Ср.: «Легкое касание – в этом шарм и убожество болтовни Сент-Бева. *Никаких высоких идей, никаких*

значительных выражений, ничего от тех образов, которые штрихом слагают фигуру. Все отточено, мелочно, колко, настоящий дождь мелких фраз ... Искусный, остроумный, но скудный разговор, где скопились грация, эпиграмма, благовоспитанное мурлыканье, когти и *бархатные лапки*. В сущности разговор, *в котором нет ничего* от разговора *настоящего самца*» (Journal des Goncourts II, 66). «...Он почти с ног до головы кажется нам неким нивелировщиком на манер Конвента, человеком, не упускающим случая проколоть XIX век выпадами *ненависти а ля Руссо, того Жан-Жака, с которым он немного схож физически*». (Там же, 90. Пер. с фр. К. Свасьяна). Курсивом выделены места, которые подчеркнуты рукой Н. в сохранившемся в его библиотеке экземпляре «Дневников».

... *предтеча Бодлера* – Ср.: ПСС 13, 11[231].

6. Ср.: ПСС 13, 11[24].

lettres d'un voyageur – книга Жорж Санд («Записки путешественника»), вышедшая в 1837 г.

Она заводила ... писала – ср. свидетельство Теофиля Готье: «Однажды она дописала роман в час ночи... и той же ночью взялась за другой ... Писание у г-жи Санд – это естественное отправление» (Journal des Goncourts II, 146. Пер. с фр. К. Свасьяна).

Ренан чтит ее – ср.: «Г-жу Санд я нахожу гораздо более правдивой, чем Бальзака... У нее страсти обобщены ... через триста лет читать будут г-жу Санд» (Journal des Goncourts II, 112. Пер. с фр. К. Свасьяна).

7. Ср.: ПСС 12, 9[64]. (*Colportage* переведено там как *«бульварные»*).

... *«с натуры»* – в ориг.: *nach der Natur*, что, по мнению КиМ, является переводом французской формулы «d'après nature», содержащейся, в частности, в предисловии к «Дневникам» Гонкуров.

8–11. Эти параграфы на определенном этапе предыстории книги составляли начало главы «К физиологии искусства», которую Н. упоминает в 7-м параграфе СВ: *в одной из глав моего основного произведения, носящей заголовок «К физиологии искусства»*. Глава под таким названием значится еще в майском плане «Воли к власти». См. также ПСС 13, 17[9].

10. *Что означает ... дионисического* – Ср.: ПСС 13, 14 [14–26].

12–13. Ср.: ПСС 13, 11 [45].
13. *Ut desint ... voluptas* – шутливая парафраза стиха Овидия (Epist. ex Ponto III 4, 79). Н. заменил овидиевское «voluntas» на «voluptas».
14. *«пускай ... останется»* – парафраза концовки лютеровского хорала «Твердыня – наш Господь». У Лютера – также *Reich*, но в значение «Царствие небесное».
15. Ср.: ПСС 12, 9 [99] и 9 [101].
16. *Гартман* – Ср.: ПСС 13, 11 [101].
19. *«О, Дионис ... длиннее»* – ср.: ПСДЗ 295.
20. *в этой ненависти ... глубоко* – черновой вариант (в тетради W II 7): *В этой ненависти заключена целая философия искусства.*
22. *Платон ... к зачатию* – См.: *Платон.* Пир 206 b–d.
23. *Платон ... почву* – См.: *Платон.* Федр 249d–256e.
24. Ср.: ПСС 12, 9 [119].
... *червь* – в Dm: *змея.*
25. Ср.: ПСС 13, 11 [2].
27. Ср.: ПСС 13, 11 [59].
«Какой чарующий портрет!» – начало арии Тамино из первого действия «Волшебной флейты» Моцарта.
je ... d'esprit – из письма аббата Галиани к мадам д'Эпине от 18 сент. 1769 г.
28. Ср.: ПСС 12, 10 [143].
31. Ср.: ПСС 13, 11 [79]; *Плутарх.* Цезарь 17.
32–36. Эти параграфы Н. взял из обширной Rs, которую он начал в апреле 1888 г. в тетради W II 6. Она состояла из шести параграфов, причем первые два стали затем 2-м и 3-м параграфами А, а остальные четыре вошли в СИ. В той же тетради чуть позднее был записан афоризм под заголовком «Реабилитация самоубийства, «добровольной смерти»», включенный затем в СИ в качестве 36-го параграфа *«Набегов Несвоевременного».*
40. Ср.: ПСС 13, 11 [60].
41. *«Свобода ... разумею»* – пародия на начальную строку стихотворения Макса фон Шенкендорфа «Свобода» (1813): «Freiheit, die ich meine».
44. *их предусловием ... сохранялось* – Ср.: ЕН, Почему я так мудр, 3.
45. Ср.: ПСС 12, 10 [50].

46. *Здесь вид свободный вдаль* – строка из второй части «Фауста» Гёте.

48. Ср.: ПСС 12, 9 [116].
«равным ... неравное» – Ср.: ТГЗ, О тарантулах.

49–50. Ср.: ПСС 12, 9 [179].

49. *Он носил ... инстинкты* – черновой вариант: *Он высвободил его сильнейшие инстинкты.*

Чем я обязан древним

4. *«Греки ... богослужения»* – хотя в качестве источника цитаты Н. ссылается на Aglaophamus Лобека, скорее всего цитата приведена по комментарию Ф. А. фон Беснарда к книге: *Арнобиус.* Семь книг против язычников (Arnobius, der Afrikaner: Sieben Bücher wider die Heiden. Landshut, 1842. В библиотеке Н. сохранился экземпляр с большим количеством сделанных им пометок, касающихся как дионисических мистерий, так и критики христианства со стороны античных авторов. Подробнее см: *I. Ebanoidze.* Beitrag zur Quellenforschung in: Nietzsche-Studien, Bd. 27. Berlin–NY, 1998. S. 552–556.

Молот говорит

См.: ПСС 4, с. 218, стр. 2–21.

Антихрист

Dm A сохранилась. В начале рукописи помещены два титульных листа. На первом, более раннем, значится: «*Антихрист.* / Опыт критики христианства. / *Первая книга* / Переоценки всех ценностей», на более позднем – «*Антихрист.* / [Переоценка всех ценностей] / Проклятие христианству», причем подзаголовок «Переоценка всех ценностей» зачеркнут Н. Очевидно, подзаголовок на титуле был перечеркнут Н. в декабре 1888 г., поскольку еще 26 ноября он писал Дейссену: «Моя «Переоценка всех ценностей» с заглавием «Антихрист» готова» (НП, с. 345).

Впервые А был опубликован в 1895 г. в 8-м томе собрания сочинений Н. под редакцией Фрица Кёгеля. При публикации четыре места в тексте книги были опущены, заголовок выглядел следующим образом: «Антихрист. / Опыт критики христианства». Спустя 4 года А вышел также в составе 8-го тома нового собрания сочинений под редакцией Артура Зайдля. Титульный лист также был воспроизведен некорректным образом, а именно: «Воля к власти. / Опыт переоценки всех ценностей. / Сочинение Фридриха Ницше. / Предисловие и Первая книга: Антихрист». Зато была восстановлена одна из купюр, сделанных в предыдущем издании – заключительный абзац книги. Остальные три места – к каждому из них мы даем постраничное примечание – были восстановлены только при публикации издания под редакцией Карла Шлехты в 1956 году. Также и заголовок в его исходном виде был впервые опубликован в издании Шлехты.

Предисловие

Этот текст родился из третьего параграфа изначального варианта предисловия к СИ: *Но что мне до немцев! Я пишу, я живу для совсем немногих. Они повсюду, – и они нигде. Чтобы иметь уши, слышащие меня, надо прежде всего быть хорошим европейцем – и еще чем-то впридачу к этому!.. Условия, при которых мои произведения – самую серьезную литературу, какая только есть – поймут, а тогда уж поймут с неизбежностью – эти условия я знаю доподлинно. Нужна ставшая инстинктом и страстью порядочность, краснеющая от того, что нынче называют нравственным. Нужно полнейшее, доходящее даже до издевки, равнодушие к тому, будет ли истина полезна или приятна для того, кто ее ищет, и не станет ли она для него роковой находкой. Нужно, как то свойственно сильному, отдавать предпочтение вопросам, которые в наши дни никто не осмеливается ставить; необходимо мужество, чтобы вступать в область запретного; необходима предопределенность – к тому, чтобы существовать в лабиринте. Нужна гигиена смельчаков, руководствующихся девизом: increscunt animi, virescit volnere virtus. И семикратный опыт одиночества; и новые уши для новой музыки; и*

новые глаза – способные разглядеть наиотдаленнейшее; и новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде немотствовавшие. Готовность вести свое дело в монументальном стиле – держать в узде энергию вдохновения... Почитать себя самого; любить себя самого; быть безусловно свободным в отношении себя самого... Ясность привыкшего к войне и победе – того, кому знакома и смерть!.. Вот кто мои читатели, читатели настоящие, читатели неизбежные; что проку от остальных? – Остальные – всего лишь человечество. – Нужно превзойти человечество силой, высотой души – превзойти его презрением... / Зильс-Мария, Верхний Энгадин / 3 сентября 1888.

... семикратный опыт одиночества – Ср.: в ДД концовки стихотворений «Сигнальный огонь» и «Садится солнце».

1. Параграфы с 1-го по 7-й, согласно плану от 26 августа 1888 г. должны были, под заголовком «Мы, гиперборейцы», составлять Предисловие к «Воле к власти».

«Ни по земле ... гиперборейцам» – ср.: Пиндар. Десятая Пифийская песнь, 29–30.

долго не знали – АМ: *вовсе не знали.*

2. Ср.: ПСС 13, 11[414]; 15[120].
3. Ср. там же.
4. Ср.: ПСС 13, 11[413].
5. Ср.: ПСС 13, 11[408].
7. Ср.: ПСС 13, 11[361].

Аристотель ... слабительное – очевидно, речь о следующих местах из «Поэтики»: 1449b, 27–28 и 1453b (вначале).

9. *зажмурил глаза* – в переводе АМ после этих слов стояло отсутствовавшее в оригинале уточнение: *не видишь себя.*
10. *Тюбингенский Штифт* – знаменитый богословский институт в Тюбингене, где учились Гегель, Шеллинг, Гёльдерлин.
11. *считается немецким* – АМ: *считается первым немецким.*

Не Кант ли ... вам Кант – см.: Kant I. Der Streit der Fakultaeten // Werke. Akademie-Ausgabe. Bd. 7. Berlin. S. 85–87.

12. Ср.: ПСС 13, 15[28].

А ведь ... «неистинно» – черновой вариант: *Интересно взглянуть на то, что противоположно происхождению философии, а именно – на происхождение науки. Если какое-нибудь семейство на протяжении ряда поколений сохраняет приверженность определенному роду деятельности, то случается, что все накопившиеся умения, привычка к последовательности, к точности,*

к предусмотрительности, к педантизму становится наконец независимой и распространяется теперь уже и на духовную сферу. Формальное обучение, которое проходит ум, словно бы обособляется от прежней цели этого обучения и само по себе становится некой потребностью, алканием проблем – сама цель становится средством. – Научность есть выражение врожденной virtù и точности в мышлении и поступках.Поэтому гениев науки можно встретить почти исключительно среди потомков ремесленников, торговцев, врачей, адвокатов: у еврейского ребенка совсем не мало шансов стать дельным ученым. И наоборот, из сыновей священников получаются философы.

13. В издание «Воли к власти» под номером 469 сотрудниками Архива Ницше был включен ранний черновой вариант этого параграфа.
К самым ценным выводам приходят – АМ: *Самого ценного приходится ждать.*
науке – АМ: *истине.*

14. *самое больное* – после этих слов у АМ стояло: *и уродливое.* Однако *das missrathenste* уже переведено выше как «*получился хуже*», и дублировать его, усиляя, «уродливым» неправомерно по отношению к оригиналу.
Прежнее слово «воля» служит теперь лишь – АМ*: Слово «воля» служит теперь.*

16–19. Содержание этих параграфов было еще весной 1888 под общим заголовком *К истории представления о Боге* записано Н. в его черновиках. Этот текст состоит из пяти параграфов, последний из которых не был использован в А. После смерти Н. его включили в «Волю к власти» под номером 1038. Целиком текст «К истории представления о Боге» приводится в ПСС 13, 17[4]. Ср. также ПСС 13, 11[346].

17. *воплощению всякого блага* – у АМ отсутствовало.
Они плетут ... «метафизикуса» – ср.: ПСС 13, 16[58].

18. Ср.: ПСС 13, 17[4], 3-й параграф.

20. *«не враждою ... вражде»* – цитата из книги Г. Ольденберга «Будда».
«одно только нужно» – цитата из Евангелия (Лк 10, 42). У АМ отсутствовало.
тем, как именно тебе – АМ: *одним – как.*

21. *выходят на первый план* – АМ: *выдвигаются вперед.*

23. *истинность чего-либо* – АМ: *истину.*

в том, чтобы верить в избавление от своих грехов, то для этого нужно – АМ: *в безгрешной жизни, то для искупления грехов важно.*

24. *«Спасение от Иудеев»* – Ин 4, 22.
ресентимента – у АМ здесь и в других случаях, где мы пишем «ресентимент» кириллицей, стояло: *ressentiment.*

25. Источником для этого и следующих параграфов, связанных с историей Израиля, Н. послужила книга: Julius Wellhausen: Prolegomena zur Geschichte Israels. Berlin, 1883. См. сделанные Н. выписки из нее: ПСС 13, 11[377].
за «грех» – у АМ отсутствовало.

27. *были нападками* – АМ: *это нападки.*
умер за свои «грехи» – В переводе Михайлова было: *умер по своей вине.* Однако в оригинале налицо полная симметрия между началом и концом предложения: *fuer seine Schuld* и *fuer die Schuld Andrer.* Устойчивое выражение, к которому апеллирует Ницше, говоря *fuer die Schuld Andrer*, в русском богослужении и богословии звучит как: «распят за нас (за ны)», «умер за наши грехи» или «чтобы искупить наши грехи». Чтобы сохранить ницшевскую параллель в русском звучании, мы меняем «по вине» (имеющее к тому же другой смысловой оттенок – оттенок неосторожности, нарушения техники жизненной безопасности) на «за грехи». Поскольку же Ницше относит понятие «греха» к числу противоестественных фикций, то заключаем это слово в скобки. В любом случае такая редакция приводит к крайнему полемическому заострению фрагмента, к чему, несомненно, стремился Ницше.
«грехи» других – АМ: *вину других.*

28. *Штрауса* – Речь о книге Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», которую Н. читал в 1864 г. Штраус занимался своего рода позитивистской (в рамках протестантского богословия) ревизией Евангелий, рассматривая, в частности, все сверхъестественные события Нового завета как «мифы».

29. *ощущение обратное тому, что* – АМ: *обратное борьбе ощущение, что.*
жизнь в любви, в любви без изъятия – АМ: *жизнь в любви, жизнь без изъятия.*
и после этого – у АМ отсутствовало.
обычаев – АМ: *государства.*
«Царствие ... есть» – Лк 17, 21.

31. Ср.: ПСС 13, 11[378].
в русском романе – Н. имеет в виду, разумеется, романы Достоевского, что становится очевидно из сравнения с ПСС 13, 15[9].
первой общине – у АМ отсутствовало.

32. Ср.: ПСС 13, 11[368, 369].
приносит «меч» – Мф 10, 34.
(сюда относится ... церковъ) – Ср.: J. Wellhausen. Reste des arabischen Heidentums. Berlin, 1887 (книга из библиотеки Н.) и соответствующие выписки в ПСС 13, 11[292, 293].

34. Ср.: ПСС 13, 11[354].
слово «сын» – см. выписки из Ренана в ПСС 13, 11[389].
история Амфитриона – Н. иронически сопоставляет зачатие Геракла и зачатие Христа, не учитывая, однако, что католический догмат о «непорочном зачатии», принятый в 1854 г., распространяется уже на зачатие самой Марии.

35. Ср.: ПСС 13, 11[354].
Всё евангелие ... сыном Божим – Слова сотника (Лк 23, 47) Н. вкладывает в уста распятого разбойника (Лк 23, 43). Возможно, эта ошибка послужила причиной того, что Архив Ницше опускал это место при публикациях А.

36. *вот и церковъ ... в пику евангелию* – Ср. выписки из «В чем моя вера» Л. Толстого: ПСС 13, 11[257, 276].
ироничное – у АМ отсутствовало.
бы мы искали – АМ: *искатъ.*

38. *люди откровенные, антихристиане* – намек на Бисмарка.

39. *относительно господства в человеке известных инстинктов* – АМ: *на предмет известных инстинктов, воцарившихся в человеке.*
бесед ... Наксос – см. ПСДЗ 295.

40. Ср.: ПСС 13, 11[378].
смертъ, эта – у АМ отсутствовало.
свободен, сколъ – у АМ отсутствовало.

41. Ср.: ПСС 13, 11[378].
«А если ... вера ваша» – 1 Кор 15, 17.

42. Ср.: ПСС 13, 11[378, 383].
на кресте – у АМ отсутствовало.
стоического просвещения – Павел родился в Тарсе и, будучи иудеем, имел римское гражданство и был знаком с греческой культурой.
и собирания стад – у АМ отсутствовало.

43. *не в жизнъ, а* – у АМ отсутствовало.

больше смысла жить – AM: *в жизни смысла.*
«а одно только нужно» – AM: *а необходимо одно.* Заменено на точную цитату по Лк 10, 42.

44. Ср.: ПСС 12, 10[72, 73].
45. Ср.: ПСС 12, 10[179, 200].
Хорошо наврал, лев – по традиции евангелист Марк изображался в образе льва. В то же время Н. цитирует здесь «Сон в летнюю ночь» Шекспира.
не так же ... и мытари – в цитируемом месте из Евангелия не «мытари», а «язычники» (Мф 5, 46–47).
Незадолго до того ... случаях – Н. имеет в виду стих Мф 6, 29, который стоит соответственно «незадолго до» цитируемого здесь Мф 6, 33.
что святые ... дела житейские – 1 Кор 6, 2–3. В обоих стихах Библии курсивом выделено слово «дела».
Не обратил ли ... хвалилась пред Богом – стихи 1 Кор 1, 20–29 Н. приводит с пропуском стихов 22–25. Как и в других цитатах, приведенных в этой главе, курсив Н.
46. Ср.: ПСС 12, 9[88]; 10[69, 183].
«Что есть истина?» – Ин 18, 38.
47. Ср.: ПСС 13, 11[122].
враждовать ... обыкновение – в черновом варианте было: *категорическая решимость: мы, Павел, желаем посрамить знание, а «Бог» – обозначение для всего, чего желает Павел.*
48. Ср.: ПСС 12, 9[72]; также: Julius Wellhausen: Prolegomena zur Geschichte Israels. Berlin, 1883. S. 310–336.
существует только одна серьезная опасность – AM: *одно очень опасно.*
для бога тоже – AM: *для бога одно очень опасно.*
от нее и знание – AM: *от нее и наука.*
он разделяет народы, он добивается того, чтобы люди уничтожали друг друга – у AM отсутствовало.
50. *откуда, скажите на милость, могло взяться утверждение, будто* – AM: *кто, ради всего на свете, мог бы полагаться на то, что.*
истине – AM: *науке.*
51. *болезнь – это болезнь* – AM: *ложь – это ложь.*
церковной – у AM отсутствовало.
Однажды я ... почве – Т. е. в 3-м рассмотрении ГМ.
folie circulaire – термин позаимствован из книги: Ch. Féré. Dégénérescence et criminalité. Paris, 1888. Ср. выписку из нее в ПСС 13, 14[172].

Которая не желает избавляться от суеверий души! – у АМ отсутствовало.
больные, испорченные слои – АМ: *все слои.*
христианских инстинктов – АМ: *христианских институтов.*

52. *То, что приводит к болезни* – АМ: *Болезненное.*
«слово писания» – АМ: *слово.*
отечественного оружия – АМ: *национальной армии.*
пиетисты ... недотепы – Ср.: ПСС 13, 22[7].

53. *самопреодоления* – АМ: *самоопределения.*
ведь им сказали – АМ: *им сказали.*
Кровавыми знаками ... собственное учение – См. ПСС 4, с. 95–96, стр. 39–5.

54. Ср.: ПСС 13, 11[48].
Напротив ... карлейлизм – Ср.: СИ, Набеги Несвоевременного, 12.

55. *надо иметь возможность решить, что здесь истинно* – АМ: *надо знать, что истинно.*

56. *упоминать ее* – АМ: *называть ее.*
«во избежание ... разжигаться» – здесь соединены две цитаты из послания апостола Павла (1 Кор 7, 2 и 1 Кор 7, 9).
дурно пахнущий раввинско-суеверный – АМ: *раввинско-суеверный.*
иудаин – Шарль Андлер указал на заимствование этого неологизма у Пауля де Лагарда («ein judainfreies Judentum als Religion»); ср. аналогичные неологизмы Н.: «моралин» и «нигилин» (*Ch. Andler.* Nietzsche. T.1. Paris, 1958. P. 486) – Прим. К. Свасьяна.
«Уста ... чисто» – См.: Louis Jacalliot. Les législateurs religieux. Manou-Moïse-Mahomet. Paris, 1876. P. 225 ff.

57. *несвятость средств христианства* – АМ: *несвятость христианства.*
выявит всю его презренность – АМ: *явит всю презренность христианства.*
разум этих законов – АМ: *разумность законов.*
pulchrum ... hominum – цитата из Горация (Sat. I 9, 44).
даже чандала – все это тоже часть совершенства – АМ: *даже возмущение чандалы – все это тоже относится к совершенству.*
и милой – АМ: *и достойной любви.*
Социалистическое отребье – у АМ отсутствовало.

58. Ср.: ПСС 13, 11[281].

ненависть чандалы к Риму, к «миру» – АМ: *ненависть чандалы, ненависть к «миру».*

«Суть «Дамаска». – См.: Деян. гл. 9.

59. *Августин* – Ср.: НП, с. 236.

... требуются мужи – черновой вариант: *требуются мужи, а не трусы и наполовину кастраты.*

60. Источником сведений об исламе для Н. был вышеупомянутый труд Вельхаузена. Также в его записной книжке (см. ПСС 13, 21[1]) упоминается книга: *August Müller.* Der Islam in Morgen- und Abendland.

Немецкое дворянство всегда было «швейцарской гвардией» церкви – АМ: *швейцарская гвардия церкви.*

Тут будто бы ... Фридрих II – черновой вариант: *Как возможно даже ставить вопрос о выборе, когда речь идет о выборе между исламом и христианством! В этих религиях ведь выражены ценностные противоположности! Либо ты – чандала, либо – аристократ... Немецкий аристократ попросту не может относиться к этому иначе, чем Гогенштауфен Фридрих II: война Риму – – –*

Фридрих II – Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250) –император «Священной Римской империи», король Сицилии. Близко познакомившись во время крестовых походов с исламской культурой, многое от нее перенял. Находился во враждебных отношениях с Папским престолом. Фридриху приписывается авторство трактата «О трех обманщиках» (то есть о иудаизме, христианстве и исламе).

61. *Чтобы наступать в решающем месте, в цитадели самого христианства* – АМ: *Чтобы наступать в решающем месте.*

вижу зрелище ... упразднено христианство – Ср. у Якоба Буркхардта в «Культуре итальянского Ренессанса», в частности, это место: «Что бы сделал Чезаре, не окажись он и сам смертельно больным после смерти своего отца? Каким получился бы конклав, если бы Чезаре, прибегнув ко всем своим средствам и, с помощью яда, избирательно сократив число входящих в коллегию кардиналов, заставил бы избрать себя папой, – причем в тот момент, когда поблизости не было французской армии? Перед фантазией, устремившейся вслед за такой гипотезой, разверзается настоящая пропасть». Также К. Свасьян в примечаниях ко второму тому 2-томника Н. 1990 года издания приводит следующую

цитату из Буркхардта: «Можно со всей достоверностью сказать, что папство в моральном отношении было спасено своим смертельным врагом... Без Реформации ... все церковное государство, по-видимому, уже давно перешло бы в светские руки». (op. cit. Bd. 1. Leipzig, 1944. S. 177).
в самой его цитадели – AM: *в самом его средоточии.*
он объявил ... утраченного – ср.: ПСС 13, 22[9]; НП, с. 333.
рейх – AM: *империя.*

62. *творила бедствия* – AM: *нуждалась в бедствиях.*
манера поведения церкви – AM: *манера поведения.*
по сегодняшнему – т. е. с 30 сентября 1888 г.
Переоценка всех ценностей!.. – после этих заключительных слов в Dm стояло перечеркнутое Н. указание для наборщика: *Затем пустой лист, на котором значится только: Закон против христианства.*

Закон против христианства

Листок с «*Законом против христианства*», на котором Н. проставил порядковую цифру 47 был приклеен к последнему, 46-му, листу Dm «*Антихриста*». На его лицевой стороне – заключительный абзац А, оборот пуст, но на нем есть следы клея. «*Закон против христианства*» написан, в свою очередь, на обороте черновика 4-го параграфа главы «*Случай «Вагнер»*» из ЕН. Следы клея сохранились на обоих сторонах этого листа. При этом следы клея на стороне с набросками к ЕН в точности соответствуют следам на пустой стороне последнего листа рукописи А. Иными словами, листы 46 и 47 были склеены друг с другом так, чтобы получался один лист: на его лицевой стороне – последний абзац А, на обороте – «*Закон против христианства*». Наконец, поверх текста «Закона» был приклеен еще один, чистый, лист. Именно этим объясняется то, что Овербек, забравший рукопись А из Турина и сделавший с нее собственную копию прежде, чем отдать рукопись Кезелицу, переписал концовку А, но не переписал «*Закон против христианства*». Лист с «Законом» был заклеен и оставался заклеен, по-видимому, вплоть до того времени, когда в 1900 году в Архив Ницше пришел работать Генрих Кезелиц (Петер

Гаст), упоминающий, в частности, «последний, заклеенный, лист рукописи «Антихриста»». Мы не можем с уверенностью утверждать, означало ли то, что Н. заклеил «*Закон против христианства*», отказ (временный? окончательный?) от его публикации. Однако в любом случае можно согласиться с КиМ, что «Закон» скорее всего является составной частью рукописи «*Антихриста*».

Вопрос о принадлежности и назначении текста «Закона» оказался предметом дискуссии в связи с тем, что, когда в 1932 году Ханс-Иоахим Метте проводил каталогизацию рукописей в Архиве Ницше, «*Закон против христианства*» лежал в одном футляре с рукописью «*Ecce homo*». Метте пишет: «Затем после страницы 44 следует лист 47: Издан в День Спасения, в первый день Первого Года (30 сентября 1888 г. по ложному летоисчислению)». Но поскольку страницы пронумерованы самим Ницше, то в случае, если бы «Закон», несмотря на все изложенное в предыдущем абзаце, относился к ЕН, «следовало бы предположить, что 45-я и 46-я страницы рукописи ЕН в принципе отсутствуют», пишут КиМ, будто бы не учитывая, что так оно и есть на самом деле, о чем им известно лучше, чем кому-либо (см. ниже).

Несмотря на убедительность вышеизложенной версии КиМ (подробнее с ней можно ознакомиться в 14-м томе KSA, S. 448–454), остается гипотетическая вероятность того, что «Закон» мог также входить и в состав ЕН. Об этом см. ниже в преамбуле комментариев к ЕН.

Ecce homo

Рукопись и фальсификации

ЕН впервые вышел в 1908 г. под редакцией Рауля Рихтера. Тогда же была составлена папка, в которой Dm Ecce homo находился на момент подготовки издания КиМ. Листы в ней можно классифицировать следующим образом:

а) пропагинированные (т. е. пронумерованные) самим Н. листы, исписанные с одной либо с обеих сторон, в некоторых случаях склеенные из нескольких фрагментов. Титульный лист, предисловие и содержание пронумерованы

римскими цифрами (I – V), остальные листы – арабскими: с 1 по 44 и с 48 по 49. На листе 44 заканчивается глава «*Почему я судьба*», после этого, согласно оглавлению, помещенному на листе V, должны были следовать разделы «*Объявление войны*» и «*Молот говорит*». «*Молот говорит*», то есть параграф 30 из главы «*О старых и новых скрижалях*» ТГЗ, которым заканчивается также СИ, помещается на листах 48–49. Соответственно следует предположить, что на листах 45–47 помещалось «*Объявление войны*». Текст под названием «*Объявление войны*» был, согласно свидетельству Элизабет Фёрстер-Ницше, сожжен матерью Н. из-за содержавшегося в нем «оскорбления Величества», а именно, – слов о «*натянувших на себя пурпур идиотах*». Это свидетельство позволяет судить о характере «*Объявления войны*» и ассоциировать его с сохранившимися черновиками, опубликованными в 13-м томе ПСС: фрагменты 25[1] (с заголовком «*Большая политика*»), 25[6] (где содержится процитированное «оскорбление Величества»), 25[11], 25[13] (с заголовком «*Война не на жизнь, а на смерть дому Гогенцоллернов*») и 25[14]. Как следует из письма Августу Стриндбергу, еще в начале декабря Н. намеревался отправить «*первые экземпляры* <ЕН> *с письменным* ***объявлением войны*** <курсив Н.> *князю Бисмарку и молодому кайзеру*» (НП, с. 348). Таким образом, характер «*Объявления войны*» и его место в ЕН представляются достаточно очевидными. Не очевиден лишь его объем – действительно ли оно занимало три листа в рукописи, – из-за чего остается вероятность того, что и «*Закон против христианства*», пронумерованный Н. как 47-й лист рукописи (чего? ЕН или А? См. выше), хотя и отсутствовал в оглавлении ЕН, мог быть в какой-то момент включен Н. в состав этой книги. Впрочем, вероятность эта – сугубо гипотетическая и едва ли может приниматься во внимание при публикации *Ecce homo.*

б) не пропагинированные Н. листы, содержащие тем не менее однозначные указания Н. на их расположение в тексте ЕН; впоследствии они были пропагинированы с помощью букв[1].

---

1 В четырех случаях – на листах 6, 12, 32 и 35 – пагинация с помощью букв (6а и т. п.) – проставлена самим Н.

в) три записки, которые, по указаниям Н., были на соответствующих страницах приклеены наборщиком в лейпцигской типографии.

г) листы, которые (по мнению КиМ) оказались в папке с ЕН после 1908 г., и не относятся к тексту ЕН. Это: 1) Записка с отвергнутым самим Н. заголовком «*Ecce homo.* / Подарок / моим друзьям»; 2) Черновой вариант 2-го параграфа главы «*Почему я пишу такие хорошие книги*» (см. ниже комментарий к этому параграфу); 3) Так называемая «Парагвайская записка», написанная рукой Элизабет Фёрстер-Ницше (см. ниже комментарий к 4-му параграфу главы «*Случай «Вагнер»*»); 4) Листы 46 и 47 из рукописи А (см. выше, а также комментарий к 4-му параграфу главы «*Случай «Вагнер»*»); 5) Записка с заголовком «Последнее соображение», на которой стоят указания для наборщика в лейпцигской типографии. Эта записка осталась среди бумаг Н. в Турине; он использовал ее оборот для наброска посвящения *Дионисовых дифирамбов* Катуллу Мендесу и для фрагмента 25[20] из ПСС 13.

19 мест в Dm зачеркнуты. Зачеркивания сделаны рукой Н. во всех случаях, за исключением трех. Первое из этих трех – первое предложение параграфа 10 в главе «*Почему я так умен*»: *В этом месте необходимо сделать хорошую паузу.* Почему его вычеркнул Кезелиц (Петер Гаст), определить невозможно, однако КиМ уверены, что зачеркивание сделано его рукой. Поэтому в данном издании, в отличие от предыдущих, это предложение включено в текст ЕН.

Второй такой случай встречается в том же параграфе – здесь вычеркнуто сразу четыре предложения, и мотивация вычеркивающего на сей раз более или менее ясна[1]. См. ниже комментарий к месту, начинающемуся со слов: *Германский кайзер.*

Примерно такой же объем – три предложения – был вычеркнут и в третьем зафиксированном КиМ случае – это

---

1 Одно схожее зачеркивание было восстановлено еще в самой первой публикации ЕН. Это место из 1-го параграфа главы «*Так говорил Заратустра*», где тою же рукой было вычеркнуто: *с которой я тогда был дружен, – фройляйн Лу фон Саломе.* Однако поскольку это место сохранилось в копии, сделанной Кезелицем, Рауль Рихтер проигнорировал зачеркивание и, как пишет Подах, «втихаря» включил его в свое издание ЕН. – *Прим. КиМ.*

концовка 4-го параграфа главы «*Случай «Вагнер»*». В данной редакции мы восстанавливаем это место в тексте EH. См. также комментарий к соответствующему параграфу.
В целом, несмотря на вставки и зачеркивания (в том числе мелкую корректуру с исправлением пунктуации и орфографии) Dm без всякого труда читается как связный текст. Однако это не исключает того, что могли не сохраниться некоторые не пронумерованные, но снабженные указаниями для наборщика листы, отправленные в типографию из Турина. На такое подозрение наводит история с окончательным вариантом 3-м параграфа главы «*Почему я так мудр*». Очевидно, он относится к числу тех мест, про которые Кезелиц, сделавший в феврале 1889 г. копию Dm, писал Овербеку: «Мне хотелось бы, чтобы Вы, уважаемый господин профессор, ознакомились с этим произведением по сделанной мною копии, то есть без тех мест, которые произвели на меня впечатление чрезмерного самоопьянения или же слишком далеко зашедшего презрения и несправедливости. Таким образом Вы сможете получить впечатление, которое мне нелегко вызвать в себе, поскольку слишком живо воспоминание о выпавших фрагментах». Итак, как следует из этого письма, сделанный Кезелицем список – идентичный с сохранившейся в Архиве рукописью – уже тогда, в начале 1889 г., не содержал «выпавших» по усмотрению Кезелица фрагментов. И речь идет уже не об отдельных фразах, но, по-видимому, о целых фрагментах, которые были впоследствии уничтожены матерью и сестрой Н. В частности, в так называемой «большой биографии» Элизабет Фёрстер-Ницше мы читаем: «В ту пору он исписывал листы странными фантазиями, в которых сказания о Дионисе–Загрее были перемешаны с евангельскими страстями и реальными личностями знакомых ему современников: растерзанный своими врагами и возродившийся бог прогуливался вдоль берегов По и видел все, что он когда-то любил – свои идеалы, современные идеалы вообще, – где-то далеко внизу. Его друзья и близкие стали ему врагами, растерзавшими его. Эти листы направлены против Рихарда Вагнера, Шопенгауэра, Бисмарка, его ближайших друзей – профессора Овербека, Петера Гаста, – против фрау Козимы, моего мужа, моей матери и меня...

Даже в этих заметках есть места пленительной красоты, но в целом их можно охарактеризовать как болезненный лихорадочный бред. В первые годы заболевания моего брата, когда мы еще питали ложную надежду, что он сможет снова стать здоровым, эти листы были по большей части уничтожены. Любящее сердце и хороший вкус моего брата были бы глубоко уязвлены, если бы подобные рукописи попались ему впоследствии на глаза».

Благодаря одной находке, сделанной среди бумаг Генриха Кезелица (Петера Гаста) – сейчас они находятся в GSA – читатель данной редакции ЕН может увидеть один из таких уничтоженных (но сохранившихся в копии Кезелица) листов на предназначавшемся ему месте, т. е. в качестве 3-го параграфа главы «Почему я так мудр».

Этот лист рукописи поступил в лейпцигскую типографию, по свидетельству издателя Науманна, «в один из двух последних дней декабря». На нем стояло указание Н.: «В первую тетрадь Ecce homo вместо прежнего 3-го фрагмента». Помимо него Н. отослал из Турина 29 декабря еще множество других добавлений и исправлений. Гранки первой тетради ЕН были отосланы Н. обратно в Лейпциг еще 18 декабря с пометкой «в печать». Однако после этого он пожелал заменить входящий в эту тетрадь вышеназванный параграф другим текстом, содержащим более чем резкие характеристики матери и сестры. Технолог в типографии обратил внимание Науманна на «резкость» данного текста, и тот решил дождаться от Н. подтверждения необходимости печатать именно эту редакцию параграфа. Тем временем пришло известие о душевной болезни Н. Лист оставался в рабочем столе у Науманна, покуда его не забрал в феврале 1892 г. Кезелиц. 9 февраля он отослал его Элизабет Фёрстер-Ницше, сопроводив посылку следующими словами: «Порадуемся, что этот лист в наших руках! Однако теперь его точно следует уничтожить! Пусть даже очевидно, что он был написан в полнейшем безумии, наверняка найдутся люди, которые скажут: именно поэтому этот текст так важен, – ведь здесь без всякого стеснения и с полной искренностью говорит инстинкт». Тем не менее после этого Кезелиц сделал собственноручную копию, благодаря которой мы теперь можем судить о том, что именно на-

звано здесь «полным безумием» и (выше) «лихорадочным бредом». Копию Кезелиц надписал словами: «Копия листа, который Ницше, уже в полном безумии, отправил Науманну во время печати Ecce homo». Позже, возможно, после разрыва с Элизабет Фёрстер-Ницше в 1909 году, Кезелиц стер слова «в полном безумии», более того – ссылался на данный текст в переписке с Эрнстом Хольцером. Тогда как раз вышел V том писем Н., в который вошло немало адресованных Элизабет писем, ею же во многих случаях и сфабрикованных[1]. В связи с этим 23 июня 1909 Кезелиц пишет Хольцеру: «В Вашей последней открытке говорится: письма (V) не оставляют никаких сомнений относительно душевно близких отношений Ницше с сестрой. Ну да, ну да!.. Однако близкие отношения требовали немалого самопреодоления. Сколь мучительным было это преодоление для Ницше, стало ясно лишь незадолго до того, как он впал в безумие, а именно – когда он отправил Науманну в качестве дополения к Ecce большой лист in folio по поводу матери и сестры».

Два сохранившихся черновика к 3-му параграфу не оставляют никаких сомнений относительно аутентичности этого текста. Да и в том, что касается прорывающегося местами психического напряжения, 3-й параграф мало чем отличается от многих других мест EH. В свете этого КиМ включили его в состав EH именно в непубликовавшейся ранее окончательной версии, что вслед за ними делает и наше русское издание. Одновременно текст 3-го параграфа дает представление и о том, каким могло быть содержание «выпавших» из-под руки Кезелица (т. е. при изготовлении им копии рукописи EH; см. выше) фрагментов и уничтоженных, по признанию Элизабет, «мест пленительной красоты».

---

1 «Фабрикация» в данном случае – не фигура речи, а вполне уместная характеристика «эпистолярного творчества» Элизабет: она не писала несуществующих писем Н., но компилировала их из писем другим так, чтобы в итоге создавалось ощущение, 1) будто всем самым важным и сокровенным Н. непременно делился именно с ней; 2) будто их переписка носила эмоционально ровный и исключительно регулярный характер. – *Прим. ред.*

История создания

В основу текста ЕН легло небольшое самоописание, созданное во время работы над корректурой СИ. Оно опубликовано в ПСС 13 как фрагмент 24[1] и состоит из 11 главок, включающих в себя как фрагменты глав «*Почему я так мудр*» и «*Почему я так умен*» из ЕН, так и главу «*Чем я обязан древним*» из СИ. После того, как 15 октября 1888 г., в свой сорок четвертый день рождения, Н., согласно его письменным свидетельствам (см. НП, с. 337–338), «*принялся за очередное начинание*», где «*речь идет обо мне и моих произведениях*», он 24 октября отослал в лейпцигскую типографию главы «*Чем я обязан древним*» и «*Молот говорит*» (текст из ТГЗ) в качестве завершающих разделов СИ.

Работа над первой редакцией ЕН продолжалась с 15 октября по 4 ноября. Именно в промежутке между этими датами Н., согласно его письму Науманну от 6 ноября, «*выполнил неимоверно трудную задачу – рассказать самого себя, свои книги, свои взгляды ... свою жизнь*». Эта первая редакция, которую КиМ называют «октябрьской редакцией», состояла из 24 параграфов. Затем Н. написал Предисловие и главы о ПСДЗ, СВ и СИ. Вместе с октябрьской редакцией он отослал их в середине ноября в типографию Науманна. Таким образом было возведено основное здание книги, в которое с середины ноября до 6 декабря Н. также периодически вносил новые, не столь значительные изменения. 6 декабря Н. отослал целиком просмотренную им Dm в лейпцигскую типографию. Однако с середины декабря последовали новые существенные изменения: 1) в главу «*Почему я так умен*» добавились параграфы 4, 6 и 7; 2) в главе «*Почему я пишу такие хорошие книги*» текст 2-го параграфа был заменен новым; 3) в главу о ЧСЧ добавился 6-й параграф; 4) изменена концовка 5-го параграфа главы о ТГЗ (цитата из «*Закона против христианства*»); 5) заменен 3-й параграф главы «*Почему я так мудр*» (см. ниже). 29 декабря, то есть после того, как были отосланы все эти добавления, Н. известил издателя, что будет прислан еще «*остаток рукописи, сплошь чрезвычайно существенные вещи, в том числе стихотворение, которым должен заканчиваться Ecce homo*». Самое последнее изменение было внесено 2 января 1889 г., когда Н. отозвал обратно стихотворение «*Слава и вечность*» (см.

коммент. к ДД), предназначенное было венчать собою ЕН. В свою очередь отправлено в Лейпциг оно было 29 декабря, с указанием: *«Раздел «Объявление войны» выпадает, равным образом и – "Молот говорит"»* (см. ниже). Таким образом, согласно последним распоряжениям Н., заканчиваться текст ЕН должен был так же, как он заканчивается во всех изданиях, начиная с 1908 г.

Предисловие

1. *в Верхний Энгадин, чтобы* – черновой вариант: *в Верхний Энгадин – умолчу из человеколюбия о своих друзьях – чтобы.*
4. *Самые тихие слова ... миром* – цитата из «Так говорил Заратустра», глава «Самый тихий час». Ср.: ПСС 4, с. 153, стр. 35–37.
Плоды ... после полудня – глава «На блаженных островах». Ср.: ПСС 4, с. 88, стр. 1–7.
Один ухожу ... вернусь к вам – глава «О дарящей добродетели». Ср.: ПСС 4, с. 81, стр. 18–34.
В этот совершенный день ... – в октябрьской редакции ЕН значится как первый параграф, датируется 15-м октября 1888. Ср.: ПСС 13, 23[14].

Почему я так мудр

2. *Он реагирует ... навстречу* – Ср.: СИ, Чем обделены немцы, 6.
3. Об истории этого параграфа см. выше в преамбуле. В предыдущих изданиях вместо него публиковался следующий текст: *Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях – я двойник, у меня есть и «второе» лицо кроме первого. И, должно быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, – я последний антиполити-*

ческий немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и liberum veto. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к крапленым немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Ее брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем «Мутген» в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов – Фридрих Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. – Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества – за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. – Чтобы только понять

что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, – одной ногой стоять по ту сторону жизни. – Пер. Ю. Антоновского.

Происхождение высших ... накапливать – Ср.: СИ, Набеги... 44.

4. *Генриха фон Штайна ... Энгадина* – О визите фон Штайна в Энгадин и о его кончине см. в письмах Ф. Овербеку от 14 сентября 1884 и 30 июня 1887 (НП, с. 226–227, 278).
погрязшего ... в вагнеровском болоте – ср. черновик письма фон Штайну: НП, с. 233–234.
к «любви ... словом и делом – использована редакция К. Свасьяна по двухтомнику 1990-го года (ср.: т. 2, с. 702).
«Искушение Заратустры» – под этим названием Н. планировал осенью 1888 года публикацию четвертой части ТГЗ. Варианты подзаголовков к этой публикации см.: ПСС 13, 22[13,15,16].

5. *молчальники* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 703).

6. *безропотным фатализмом* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 704).
«не вражда ... предел вражде» – ср. А, 20.
мстительными последышами чувства – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 704, 705).

7. *мстительные последыши* – см. пред. прим.
... напастью тысячелетий – в Dm после этих слов следовала поначалу другая концовка параграфа, которую Н. вычеркнул при редактуре в начале декабря: *И даже в случае Вагнера, – ведь как мог бы я отрицать, что из своей дружбы с Вагнером и госпожой Вагнер я вынес самые отрадные и возвышенные воспоминания, – что между нами ни разу не пробежало ни единой тени? Именно это дает мне нейтральность взгляда, необходимую, чтобы видеть проблему Вагнера как проблему культуры вообще – и, возможно, разрешить ее... В-пятых и в последних: я нападаю только на те вещи, которые я знаю досконально, – которые я сам пережил, которыми я в определенной степени сам был когда-то. Христианство моих предков находит во мне свое завершение, – взращенная самим христианством, ставшая солнечно ясной строгость интеллектуальной совести обращается против христианства: в моем лице судит себя, во мне преодолевает себя само христианство.*

8. *замаскированной ... воспитания* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 706).
Что же случилось ... против ветра – см. ПСС 4, с. 101, стр. 16 – с. 102, стр. 21.

Почему я так умен

1. *противником вегетарианства ... Вагнер* – см. письмо фон Герсдорфу от 28 сентября 1869 г. (НП, с. 69–70).
дух носится над водою – ср.: Быт 1, 2.
начать с ... какао – ср. письмо Франциске Ницше от 3 августа 1887 г. (НП, с. 280).
Сидячая жизнь ... святого духа – ср. афоризм 34 «Стрел и изречений» в СИ.
2. *Никто не волен жить где угодно; а кому суждено* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 710).
эти имена о чем-нибудь да говорят – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 711).
3. *Виктора ... Grecs* – книга издана в Париже в 1887 году. Экземпляр сохранился в библиотеке Н.
мои Laertiana – т.е. исследования Н. о Диогене Лаэртском: *De Laertii Diogenis fontibus* (опубликовано в «Rheinisches Museum», 1868–1869, Bde. 23–24); *Analecta Laertiana* (опубликовано в «Rheinisches Museum», 1870, Bd. 25); *К вопросам об источниках и критике Диогена Лаэртского* (Basel, 1870).
... что его не существует» – до проделанной Н. в начале декабря редактуры после этих слов следовало такое продолжение: *Эмерсон со своими эссе даже в мрачные времена был для меня другом и умел меня развлечь: в нем столько скепсиса, столько «возможностей», что у него даже добродетель становится остроумной... Единственный случай: ... Еще ребенком я охотно прислушивался к нему. Равным образом «Тристрам Шенди» относится к числу книг, которые были вкусны для меня с самых ранних лет; о том, как я воспринимал Стерна, говорит очень выразительное место в «Челов. слишком челов.» (II, аф. 113). Возможно, что по родственным причинам среди немецких книг я предпочитал Лихтенберга... Хочу также упомянуть аббата Гальяни, этого глубочайшего во всей истории шута. – Из старинных книг одно из моих сильнейших впечатлений – озорной*

провансалец Петроний, сочинивший последнюю Satura Menippea. Эта суверенная свобода от «морали», от «серьезности», от собственного утонченного вкуса, эта рафинированность в смешении вульгарной и «ученой» латыни, этот раскованный задор, который с грацией и лихостью перескакивает через всю эту животную суть античной «души» – я не смог бы назвать другой книги, которая бы произвела на меня столь освобождающее впечатление: она действует дионисийски. В тех случаях, когда мне нужно побыстрее избавиться от вреднего впечатления – беру тот случай, когда я в целях моей критики христианства слишком долго дышал воздухом трясины апостола Павла, – мне хватает, в качестве героического средства, пары страниц Петрония: я тут же выздоравливаю.

сказал где-то ... против бытия – ср. СИ, Четыре великих заблуждения, 8, предпоследнее предложение.

4. *насилие над Евтерпой* – см. письмо Ганса фон Бюлова от 24 июля 1872 г. и черновик ответа Н. (НП, с. 93–95).
Шекспира ... тип Цезаря – ср. аф. 98 ВН.

5. До редактуры, проделанной в начале декабря, этот параграф выглядел следующим образом: *Музыка – ради неба! – пусть она будет отдохновением и ничем иным!.. Ни за что на свете не должна она становиться для нас тем, чем ее сделало в наши дни нещадное злоупотребление – возбуждающим средством, еще одним ударом кнута для измотанных нервов, типичным вагнерианством! – Не существует ничего более нездорового – crede experto! – чем это вагнеровское злоупотребление музыкой; это наихудшая разновидность «идеализма» среди всех возможных идеалистических вывертов. Мало что удручает меня так, как измена инстинкту, с какой уже в молодые годы предаются пороку Вагнера. Вагнер и молодость – это ведь то же самое, что яд и молодость... Лишь за последние шесть лет мне снова стало знакомо, что такое музыка – благодаря тому, что я глубоко опомнился, вернувшись к своему почти забытому инстинкту, благодаря, прежде всего, неоценимому счастью обрести близкородственного в этом инстинкте друга, Петера Гаста, единственного композитора, который в наши дни еще знает, что такое музыка, – который еще может ее создавать! – Чего я вообще хочу от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как предзакатный час в октябре. Мягкой, милой – не жаркой... Чтобы она нежилась на солнце, чтобы все в ней было сладко, особенно, тонко и*

умно... Чтобы в ногах у нее был азарт... Ни одна попытка «проникнуться» Вагнером в эти шесть лет мне не удавалась. Всякий раз после первого акта я бежал от смертельной скуки. Как беден, как экономен и осмотрителен от природы этот «гений», какое терпение приходится проявлять прежде, чем дождешься от него чего-нибудь стоящего! Сколько же у него самого желудков, чтобы постоянно снова пережевывать то, что он нам уже перед этим немилосердно разжевал! Я называю его «Магнер[1] *»...*

Бодлер – ср. письмо Кезелицу от 26 февраля 1888 г. (НП, с. 305–306).

6. *С того момента ... клавираусцуг* – знакомство Н. с клавиром этого произведения состоялось в 1861 г.

8. *обратиться в ежа* – ср.: «О бедности богатейшего», с. 314 наст. изд.: *Заратустра не ёж.*

9. *на свое будущее ... никаких желаний* – ср. ПСС 13, 16[44], а также письмо Брандесу от 23 мая 1888 г. (НП, с. 318).

моя первая филологическая работа – «К истории собрания изречений Феогнида». Опубликовано в «Rheinisches Museum», Bd. 22 (1867).

10. *Германский кайзер ... «величие»* – в Dm это место было кем-то (не рукою Ницше) зачеркнуто, тем не менее оно содержится в копии, сделанной Петером Гастом. Рауль Рихтер и Отто Вайс опубликовали его в комментариях к своим изданиям – соответственно в 1908 и 1911 годах. Карл Шлехта в своем издании 1956 года почему-то упустил его из вида. В основном тексте оно впервые было восстановлено лишь в издании Подаха в 1961 году.

пакт с папой – в сентябре 1888 кайзер Вильгельм II нанес в Риме визит папе Льву XIII.

безлюдья ... «многолюдья» – у Н. игра слов (*Einsamkeit* – *Vielsamkeit*). В переводе использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 721).

... рано, в семь лет – ср.: ПСС 8, 28[8].

---

1 Игра слов от нем. Magen – «желудок». Соответственно Вагнер, переделанный в Магнера, может читаться как «желудочник».

Почему я пишу такие хорошие книги

1. Ср.: ПСС 13, 19[1, 7].
иные ... посмертно – ср.: СИ, Изречения и стрелы, 15.
фон Штайн ... в моем «Заратустре» – см. черновик письма Генриху фон Штайну: НП, с. 233.
кто понял ... «современным» людям – ср. черновик письма Францу Овербеку: НП, с. 322.
когда я своей веской – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 722).
один профессор Берлинского – вероятно, профессор Ю. Кафтан. Ср.: черновик адресованного ему письма конца декабря 1888: «*Вы с вашим визитом в Сильс-Мария летом прошлого года относитесь к тем эпизодам моей жизни, от которых волосы дыбом встают*». (Цит. по: Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. М., «Прогресс», 1994).
Видманна ... «Опасная книга Ницше» – об этой статье см. подробнее в письме Мальвиде фон Мейзенбуг от 24 сентября 1886 г. (НП, с. 260).
обзор ... Шпиттелером – см. письма Йозефу Видманну и Карлу Шпиттелеру февраля 1888 г. (НП, с. 298–300).
Из-за игры ... для попадания – До второй половины декабря редакция этого места выглядела следующим образом: *Не то, чтобы в первом или втором случае отсутствовала «добрая воля», тем более интеллигентность. Господина Шпиттелера я даже считаю одним из самых достойных и тонких среди нынешних критиков; его работа о французской драме – пока еще не изданная, – должно быть, вещь первого ранга.*
истребителя морали – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 722).
2. До декабря 1888 г. этот параграф выглядел следующим образом: *Немцы до сих пор ничего не поняли в моих книгах, тем более – во мне самом. – Понял ли вообще хоть кто-нибудь хоть что-то у меня – во мне? – Только один, и никто кроме него – Рихард Вагнер (еще один повод усомниться, был ли он собственно немцем)... У кого из моих немецких «друзей» (понятие друга в моей жизни – это понятие в кавычках) есть хоть в малейшей степени та глубина взгляда, которая сделала Вагнера шестнадцать лет назад пророком в том, что касается меня? Он представил меня тогда немцам, в письме, опубликованном в «Норд-*

дойче цайтунг», следующими бессмертными словами: «То же, чего ждем мы от Вас, может стать задачей всей жизни – всей жизни такого человека, который сейчас нужнее всего для нас и в качестве какого мы и возвещаем сейчас о Вас всем тем, кто в наше время испытывает потребность в том, чтобы из самого наиблагороднейшего источника немецкого духа – всепоглощающего сурового глубокомыслия – разузнать и разведать, какой же должна быть немецкая образованность, если только необходимо, чтобы споспешествовала она достижению самых благородных целей этой вновь воскресшей к жизни нации»[1]. *Вагнер просто оказался прав, – он прав сегодня. Я – единственный форс-мажор, достаточно сильный, чтобы избавить немцев, и не только немцев... Возможно, он забыл, что, коль скоро мое предназначение – указывать пути культуре, то я должен указывать их и всякому Рихарду Вагнеру? Культура и «Парсифаль»? Такое сочетание не годится...*

старые торговки ... винограда – ср. письмо конца 1888 г. Францу Овербеку: НП, с. 355–356.

Париже изумлялись ... Тэна – слова из письма Ипполита Тэна к Н. от 14 декабря 1888 г.: «столь литературный и столь живописный немецкий стиль <речь о «Сумерках идолов» – *ред.*> нуждается в читателях, весьма сильных в знании немецкого; я недостаточно владею языком, чтобы с первого раза ощутить все Ваши дерзости и тонкости». (Пер. К. Свасьяна).

Я не могу ... Аминь – пародия на Лютерово «На том стою, и не могу иначе». Ср. в ДД «В кругу дочерей пустыни».

3. В более ранней, ноябрьской, версии этого параграфа было написано, в частности, следующее: *Мои произведения требуют усилий. Чтобы понимать самый лаконичный язык – а заодно и самый скупой на формулы, самый живой и, как правило, художественный, – которым когда-либо говорил философ, следует проделывать процедуру обратную той, что применима ко всей прочей философской литературе. Последнюю нужно сгущать, иначе можно испортить себе желудок – меня же требуется раз-*

---

1 Строки из «открытого письма» Вагнера к Н., опубликованного в связи с полемикой вокруг памфлета Виламовица-Мёллендорфа против «Рождения трагедии». Цит. по: Ф. Ницше. Рождение трагедии. М.: Ad Marginem, 2001. С. 288. Пер. А.В. Михайлова.

бавлять, делать жидким, иначе тоже испортишь себе желудок. Для меня молчание – такой же инстинкт, как для господ философов – болтовня. Я краток, – мои читатели сами должны стать пространными, чтобы выудить и собрать все, что мной продумано и затаено. – С другой стороны, есть такие предпосылки «понимания» меня, до которых доросли очень и очень немногие: нужно уметь помещать проблему на нужном месте, то есть в связи с родственными ей проблемами, и при этом надо топографически представлять себе заброшенные уголки, труднодоступные местности науки в целом и прежде всего философии. – Наконец, я говорю только о пережитом, а не просто о «помысленном»; у меня отсутствует противоположность мышления и жизни. Моя «теория» вырастает из моей «практики» – ох, из отнюдь не безобидной практики!.. Послушайте, что нам дает понять об этом Заратустра, тот, кто утверждает: «Добрые люди никогда не говорят правду» (далее следовала цитата из ТГЗ: см. ПСС 4, с. 205, стр. 12–18).

... экстазы познания – ср. в письме Г. Кезелица к Н. от 25 октября 1888 г.: «Какими «просветлениями», какими экстазами познания благодарен я Вашему духу – духу правителя мира!»

мое слово ... дурных инстинктов – ср. ПСС 4, с. 102, ст. 19–21.

Вам, отважным ... делать выводы – см. главу «О видéнии и загадке» (ПСС 4, с. 160, ст. 17–25).

4. *уши, способные ... позволительно делиться* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 725).

5. *прочих пустых ... кочанах* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 726).

моего определения любви – ср. СВ, 2.

«проповедь ... духа жизни» – см. А, «Закон против христианства», Тезис четвертый.

6. *«Гений сердца ... отливов»* – цитируется начало 295 афоризма ПСДЗ, в котором Н. говорит о Дионисе.

«Рождение трагедии»

1. *с именем ... надежды* – предварительный вариант этого места в Dm: *у дела Вагнера появились интеллигентные сторонники.*

«Возрождения трагедии – ср. письмо Г. Харта к Н. от 4 января 1877: «За последние два дня (: возможно, то же будет и в следующие два:) я дважды подряд прочел, – вернее ска-

зать, «проглотил», «переболел» ею – Вашу вещицу «Возрождение трагедии из духа музыки», и пришел к выводу, что, пожалуй, никто не проникал до сих пор в суть искусства и художественного творчества столь глубоко, как Вы».

3. *«Говорить жизни ... уничтожения»* – см. СИ, Чем я обязан древним, пар. 5.
4. *Весь образ ... 41–44* – ср.: РВБ, главы 7, 1, 4, 9, 6.

Несвоевременные

1. *или ... Ницше* – предварительный вариант этого места в Dm: *Но настал день, когда Вагнер снизошел – опустился; когда он протянул руки всему, что хотело примириться с ним, когда он примирился с «рейхом», с патронажным «образованием» и даже с добрым боженькой – когда он пошел причащаться!.. Вагнер скомпрометировал меня.*
2. *распивочного евангелия* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 733).
   пресловутый «Grenzboten» – об этой статье, вышедшей 17 октября 1873 г., см. в написанном спустя десять дней письме Н. к фон Герсдорфу: НП, с. 102–103.
   Гофманом из Вюрцбурга – См.: Franz Hoffmann (рецензия на ДШ) in: Allgemeiner litterarischer Anzeiger für das evangelische Deutschland, Bd. 12 (1873), S. 321–336 (November), 401–408 (Dezember). Опубликовано также в: Philosophische Schriften, V. Erlangen, 1878, S. 410–447.
   Карл Хиллебранд (1829–1884) – Его статья «Ницше против Штрауса» («Nietzsche gegen Strauss») впервые была опубликована в Augsburger Allgemeine Zeitung, №№ 265–266 от 22 и 23 сентября 1873.
   собрании его сочинений – Karl Hillebrand. Zeiten, Völker und Menschen. Bd. 2. Berlin, 1875. S. 291–310. Книга имеется в библиотеке Н.
   Стендаля ... дуэлью – ср. в письме Карлу Шпиттелеру от 25 июля 1888 г.: *Первый шаг, который надо совершить, появившись «в обществе, чтобы на тебя обратили внимание, – это дуэль», сказал Стендаль. Я этого не знал, но я это сделал* (НП, с. 324). КиМ полагают, что источником цитаты для Н. послужило предисловие Проспера Мериме к переписке Стендаля, изданной в 1855 г. в Париже (книга сохранилась в библиотеке Н.).

libres penseurs ... противоречии – ср. в черновике декабрьского письма Георгу Брандесу: *черт знает что сотворил бы я с этими вольнодумцами* (НП, с. 350).

3. *указание ... третьего «Несвоевременного»* – см. предпоследний абзац 7-й главы ШВ.

О том ... побыть ученым – ср.: ШВ, 3; ЧСЧ, 252; ЕН ЧСЧ 3. Ср. также предварительный вариант этого места в Dm: *Чем должен быть ученый, и чем я тогда совершенно не был – это с нетерпеливой суровостью я написал перед собой на стене. – Хотите пример того, как я ощущал себя в то время, почти что выродившийся в ученого, похожий скорее на книжного червя, полуслепого, который педантично ползал вдоль и поперек через тома античных стихотворцев, вбурившийся в свое ремесло, которое отнимало не только три четверти моих сил, но и время, необходимое хотя бы для того, чтобы подумать, как эти силы восполнить? Я привожу этот суровый образчик психологии ученого, который в названном сочинении внезапно, словно повествуя о каком-то невыразимом переживании, бросается в глаза.*

многосущим – вариант К. Свасьяна, использован нами по КСВ (ср.: т. 2, с. 736).

Человеческое, слишком человеческое

Октябрьская редакция этой главы содержала, в частности, следующие, не вошедшие в окончательный текст, детали первого Байройтского фестиваля:

Типичное зрелище являл собою старый кайзер, который аплодировал и одновременно кричал своему адъютанту графу Лендорфу: «ужасно! ужасно!». – Здесь был весь европейский бездельничающий сброд, и кто ни попадя входил в дом Вагнера и выходил из него так, будто Байройт был каким-то новым видом спорта. Да и ни чем иным он в сущности не был. Здесь, вдобавок к старым поводам бездельничать, открыли новый, художественный, повод – «большую оперу» с препятствиями; в убедительной, благодаря ее тайной сексуальности, музыке Вагнера открыли связующее средство для общества, в котором каждый предавался своим plaisirs. То, что там осталось от «дела» и, если хотите, было самой его невинностью – это идиоты, вроде Ноля, Поля и Коля (последний, можно сказать, – genius loci в Байройте), порода настоящих вагнеранцев, шайка богооставленных и духолишенных типов с крепкими брюшками, которая подъедала все «отходы», оставленные мастером. А сколько же он оставляет «отходов»!..

2. *Брендель* – Карл Франц Брендель (1811–1868), немецкий музыковед и композитор, один из основателей «Всеобщего музыкального объединения».
Ноль, Поль, Коль – Карл Фридрих Людвиг Ноль, автор биографии Вагнера, которую Н. читал в 1888 г.; Рихард Поль, музыковед, опубликовавший в 1888 в ответ на СВ памфлет «Казус Ницше»; Й.Г. Коль – как удалось установить биографу Н. Курту Паулю Янцу, – автор книги «О звуковой живописи в немецком языке».
очаровательная ... утешить – речь о Луизе Отт. См. переписку с нею Н. августа–сентября 1876 г. (НП, с. 124–126).
3. Ср. ПСС 12, 9[42].
4. *Глубоко скрытое ... другие Само* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 739).
6. *безнадежных ... высший рэализм* – 16 июня Эрвин Роде писал Н. по поводу ЧСЧ: *Возможно ли вот так вынуть свою душу и взамен впустить в себя другую? Стать вдруг Рэ вместо Ницше?* На что Н. отвечал: *Ищи в моей книге лишь меня, а не друга Рэ.* (НП, с. 146–147).
рэализм – в оригинале: Reealismus, от фамилии Рэ.
послужить секирой ... человечества – выражение из проповеди Иоанна Крестителя: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф 3, 10). Н. говорит об *искоренении «метафизической потребности» человечества.*

Утренняя заря

1. *На мораль ... "или?"...* – в октябрьской редакции: *На мораль не нападают, ее просто больше не слушают... По ту сторону добра и зла! «Утренняя заря», gaya scienza (1882), мой «Заратустра» (1883) – это прежде всего поступки, говорящие «Да!» – в каждом предложении слово берет имморалист. Отрицание в них – просто итог, оно следует, оно не предшествует.*
2. *есть воля ... человекоосквернителями* – перевод К. Свасьяна, приводится по КСВ (ср.: т. 2, с. 742).
затаившихся священников – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 742).

Веселая наука

Ты ... Януариус – эпиграф к четвертой книге ВН. Перевод К. Свасьяна.

Может ли ... Заратустры – см. ВН, 342.
«*К мистралю*» – сочинено осенью 1884 г.

Так говорил Заратустра

1. *беременности ... слониха* – ср. по поводу сроков «вынашивания» ЧСЧ: ПСС 8, 22[80].
начало «Заратустры» ... мысль Заратустры – см. ВН, 342; 341.
гобоя... – должно быть: *кларнета*, указывает Кезелиц.
незабвенный германский – в Dm эти слова зачеркнуты Кезелицем. Фридрих III был, пожалуй, единственным современным Н. германским политиком, о котором он с симпатией отзывался в зрелые годы. В 1888 г., получив известие о его смерти, Н. писал: *Он был для нас светом, пусть и слабеньким, мерцающим, но светом свободной мысли, последней надеждой Германии* (цит. по: Т. Манн. Аристократия духа. М., 2009. С. 328).
2. Н. цитирует афоризм 382 из ВН. Приводится нами в новой редакции перевода К. Свасьяна.
3. *«Сюда приходят ... говорить»* – ПСС 4, с. 188 (стр. 21–23) – 189 (стр. 18–20).
4. *Л'Акуилу ... стечение обстоятельств* – городок в Абруццких Апеннинах. 10 июня 1883 Н. писал своей сестре Элизабет в Рим: *Неудача! Сирокко держит свой пламенеющий меч над Л'Акуилой. Местность не для меня!*
Фридрихе II – см. прим. к А, 60.
ни одного приветного ... возмущения – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 748).
в таком состоянии ... теплота – ср.: ПСС 13, 9[7].
6. *ремень у обуви* – ср.: Ин 1, 27.
«я замыкаю ... гор» – см. ПСС 4, с. 212, стр. 11–13.
душа ... отлив – см. ПСС 4, с. 212 (стр. 29)–213 (стр. 5).
огромное ... Аминь – см. ПСС 4, с. 170, стр. 6.
во все ... Да – см. ПСС 4, с. 170, стр. 28–29.
7. *Ночь ... влюбленного* – см. ПСС 4, с. 110–111.
8. *Ариадна* – так Н. обращается 3 января 1889 г. в своей записке к Козиме Вагнер. Так же он называет ее в конце письма Буркхардту от 6 января (см. НП, с. 361, 366).
Я брожу ... избавлением – см. ПСС 4, с. 145 (стр. 38)–146 (стр. 7).
Не хотеть ... до богов – см. ПСС 4, с. 89 (стр. 38)–90 (стр. 16).

станьте тверды – см. ПСС 4, с. 218, стр. 21.
созидающие тверды – см. ПСС 4, с. 218, стр. 14.

По ту сторону добра и зла

1. *... негативной, негактивной* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 754). У Н. противопоставлено *jasagende* (букв.: говорящая «да») и *neinsagende, neinthuende* (букв.: говорящая «нет», творящая «нет»). Хотя Н. здесь и не образует неологизмов, передать симметричным образом его противопоставление возможно только с помощью игры слов (*негактивный*, т. е. негативно активный). Для усиления симметрии мы заменили и «утверждающую» (jasagende), стоявшую в переводе Антоновского и оставленную Свасьяном, на «позитивную».

Генеалогия морали

«Ибо человек ... не хотеть» – заключительная фраза «К генеалогии морали».

Сумерки идолов

2. *«Современные идеи», например* – вариант этого места в более ранней редакции: *Все политические «современные идеи», включая идею Рейха, рабочий вопрос, преступление, добровольную смерть, брак, все позавчерашние литературные суеверия, предпосылки образования, последние эстетические ценности – все это выражено в пяти словах.*

второе сознание ... «темным стремлением» – ср. в письме Кезелица к Н. от 25 октября 1888: «Такое ощущение, как будто у Вас выросло второе сознание, как будто всё до сих пор было темным, слепым стремлением, как будто только в Вашей духовности «Воля» зажгла свой свет, чтобы отвергнуть неверный путь, по которому она идет под откос». Стоит отметить, что Н. охотно копирует здесь за Кезелицем шопенгауэровскую терминологию.

«темным стремлением» ... верном пути – Н. перефразирует строки из «Пролога на небесах» в «Фаусте» Гёте. Существующие стихотворные переводы не передают в точности смысл этих строк, который буквально таков: «Добрый человек даже среди темных стремлений сознает, где находится верный путь».

только с меня ... культуры – еще одна цитата из письма Кезелица к Н. от 25 октября: «только с Вас начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры».

3. *Предисловие ... льдом и Югом* – ср.: НП, с. 327–328.
полузатопленном Комо – см. письмо Кезелицу от 27 сентября 1888 (НП, с. 332).
родился Виктор Эммануил – Виктор Эммануил II (1820–1878), с 1861 г. первый король Италии. В последнем письме Буркхардту Н. идентифицирует себя с ним (см. НП, с. 365).
завершение «Переоценки» – на месте этих слов в Dm стояло: *седьмой день*. КиМ восстановили окончательный, на их взгляд, вариант, исходя из следующего. Отправляя в 1893 г. список «Ecce homo» в Наумбург Элизабет Ферстер-Ницше, Кезелиц указывал в сопроводительном письме: «Список с Ecce homo дословен. Единственно ... я позволил себе ... на с. 104 вставить два слова: «первой книги» <т. е. «первой книги «Переоценки»>». Поскольку Кезелиц говорит о вставке, то неизбежен вывод, что слова «*завершение «Переоценки»*, к которым присоединена вставка, написаны Н. В Dm до сих пор можно различить следы вписанных карандашом, а затем стертых резинкой слов над словами «*седьмой день*», на которых в свою очередь заметны следы впоследствии стертого карандашного зачеркивания. Поэтому события можно реконструировать следующим образом. 1. *Завершение «Переоценки»* было правкой Н., которую он отправил в Лейпциг уже после корректуры, сделанной в начале декабря. 2. Листок или записка, на которой Н. дал инструкции касательно этого исправления, потерялся или был уничтожен. 3. Поскольку об этом изменении говорилось в отдельной записке или на отдельном листе, то оно не могло не попасться на глаза Кезелицу, когда он забирал в Лейпциге рукопись ЕН; отсюда и возбужденное письмо Овербеку от 18 января 1889 г., где он пишет: «Если это произведение закончено, во что я верю, то Ницше мог сойти с ума от того, что безгранично радовался триумфу человеческого разума в нем, окончанию этого произведения», а также спустя неделю: «В «Ecce homo» говорится о «Переоценке всех ценностей» как о завершенном труде». Стоит заметить, что Кезелиц тогда все еще представлял себе «Переоценку» как произведение в четырех книгах. Отсюда

вытекает 4-й пункт: поначалу Кезелиц заменил *седьмой день*, согласно указанию Н., на *завершение «Переоценки»*, но позднее, когда он готовил свою копию EH, он вписал то, что ему показалось на тот момент правильным: *завершение первой книги «Переоценки»*. 6. Первый редактор EH, Рауль Рихтер, ничего не знал об этих обстоятельствах, и оставил так, как было в первой редакции Dm: *седьмой день*.
Клод Лоррен ... совершенства – ср. в письме Кезелицу от 30 октября 1888 г. (НП, с. 337).

Случай «Вагнер»

1. ... *трубачу из Зэкингена* – см. СИ, Набеги Несвоевременного 1 и коммент.
извилистой – В оригинале: *listiger Kirchenmusik*, т. е. «хитрая церковная музыка», но поскольку речь идет о ферейне Листа, то в *listiger*, несомненно, прочитывается и «листовская». Наилучший паллиатив для передачи этой игры слов на русском – «*извилистый*» – предложен К. Свасьяном в КСВ (т. 2, с. 758).
2. *лежит на совести ... реанимировал ее* – ср.: НП, с. 333, 341. *Фишера* – немецкий эстетик Фридрих Теодор Фишер (1807–1887).
3. *У немца ... плосок* – ср.: СИ, «Изречения и стрелы», 27. *немецкий кайзер ... просто «немецким»* – ср.: ПСС 13, 25[13].
4. ... *хорошего часа* – после этих слов, согласно указаниям Э. Фёрстер-Ницше, должна была быть вставка из так называемой «парагвайской записки». По уверениям Фёрстер-Ницше, после смерти ее мужа она «нашла в его бумагах чрезвычайно обидное письмо Н. к нему, и кроме того, 5 листов ... два из которых содержали пометки, что их содержание должно быть вставлено в одну из глав» (из письма Э. Фёрстер-Ницше Раулю Рихтеру, редактору первого издания EH, от 22 июня 1908 г.). Вот содержание «вставки», о которой говорит Элизабет Фёрстер-Ницше: *Рассказать ли о моем «немецком» опыте? – Фёрстер: длинноногий, голубоглазый, блондин (соломенная башка![1]), «породистый немец», ядовито и желчно налетающий на все, в чем есть дух и будущее – на еврейство, вивисекцию и т. д., – однако моя сестра остави-*

---

1 В оригинале: Strohkopf, т. е. буквально «соломенная голова», а в переносном смысле «набитый дурак».

ла ради него своих «ближних» и ринулась в мир полный опасности и злых случайностей. – Кезелиц: по-саксонски льстивый, временами настоящий телепень, которого с места не сдвинуть, воплощение закона тяжести – но у него первосортная музыка, которая несется на легких ногах. – Овербек: высушенный, скисший, живущий под каблуком у своей супруги; он, как Миме, подносит мне отравленный напиток сомнения и недоверия к самому себе, выказывает, однако, свою благожелательную заботу и называет себя моим «дальновидным другом». – Полюбуйтесь на них, – вот три немецких типажа! Канальи!..
Подах опубликовал в своей биографии этот текст в качестве аутентичного текста Н., за что был подвергнут критике многих ницшеведов. КиМ, в свою очередь, согласны с Подахом в том, что содержание записки «вполне могло быть продуктом крайнего раздражения Н. в отношении его близких и друзей, свойственного Н. в определенную фазу создания ЕН». Кроме того, КиМ отмечают, что записка написана в стилистике Н., Элизабет Фёрстер-Ницше никогда не смогла бы сама сочинить таких фраз. И все же, по мнению КиМ, филологические основания для публикации этих фраз в составе ЕН отсутствуют. Во-первых, рукопись этих страниц не сохранилась: по словам Элизабет, она переписала текст, после чего уничтожила оригинал. Во-вторых, нет никакой гарантии, что Н. сохранил бы эти фразы в окончательной редакции книги. В-третьих, не исключено, что текст является компиляцией из аутентичных фраз Н., составленной Элизабет наподобие некоторых сфальсифицированных ею писем. (В этой связи редактор данного тома советует обратить внимание на письмо к Элизабет от 7 февраля 1886 г. (НП, с. 251), где Н. также сокрушается о ее отъезде в Парагвай.) Наконец, в-четвертых, весьма вероятно, что письмо в Парагвай было отослано Н. в первые дни января 1889 г., в дни «туринской катастрофы», то есть после завершения работы над ЕН, и содержало в себе «забракованные» самим Н. черновые варианты, с помощью которых он решил вызвать определенную реакцию у Б. Фёрстера.
датчанин ... Брандес – о лекциях Брандеса см. в переписке Н. с Брандесом: НП, с. 308, 311, 314, 317, 318. По поводу комментируемого места в ЕН см. в письме Брандесу от 20 ноября 1888 г. (НП, с. 341).

И вот ... человечества – Речь идет о Мальвиде фон Мейзенбуг. Эти предложения были вычеркнуты в Dm чужой (не Н.) рукой (см. преамбулу). КиМ полагают, что далее могло следовать продолжение главы, где, в частности, «*Мальвида предстает в образе Кундри*» (из черновика письма Козиме Вагнер). См. также НП, с. 363: *Мальвида, как известно, – Кундри, которая смеялась в то время, как содрогался мир* (согласно легенде, использованной в «Парсифале» Вагнера, Кундри высмеяла Христа на его крестном пути).

Почему я судьба

1–2. Ср. ПСС 13, 25[6]; НП, с. 349–351.
2. *и кто ... творческое благо* – см.: ПСС 4, с. 120, стр. 36–40.
4. *... исчадия* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 765).
Обманчивые берега ... основания – см. ПСС 4, с. 217, стр. 23–25.
«последними людьми» – см. ПСС 4, с. 17–18.
Ибо добрые ... началом конца – см. ПСС 4, с. 217, стр. 1–6.
И как бы ... вред – см. ПСС 4, с. 216, стр. 21–22.
5. *«Чтобы унестись ... будущее»* – см. ПСС 4, с. 151, стр. 18–19.
Вы, высшие ... дьяволом – см. ПСС 4, с. 151, стр. 12–14.
Так чужда ... доброте – см. ПСС 4, с. 151, стр. 7–8.
7. *обращенным в инстинкт ... фабрикацией* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 767).
одержимости ближним – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 767).

Дионисовы дифирамбы

В ранних редакциях ЕН в прологе (*«В этот совершенный день»*) фигурировало произведение под названием «*Песни Заратустры*». 27 ноября 1888 г., Н. отправил неизвестному (издателю?) письмо со списком из девяти пунктов, в котором три последние пустуют, а в шести первых перечислены стихотворения из будущих ДД (см. НП, с. 346). Это те

самые стихотворения, наброски к которым Н. летом 1888 г. собрал в новую тетрадь (W II 10) – «*Солнце садится*», «*Меж коршунов*», «*О бедности богатейшего*», «*Слава и вечность*», «*Огненный знак*» и добавленная к ним более ранняя по происхождению «*Последняя воля*».

На определенных этапах работы над ЕН и НСВ в декабре 1888 г. Ницше предназначал для этих произведений два из вышеназванных стихотворений. 15 декабря он отправил в Лейпциг рукопись НСВ вместе со стихотворением «О бедности богатейшего», а 29 декабря – стихотворение «Слава и вечность» в качестве концовки ЕН.

Между 29 декабря и 2 января Н. затребовал, однако, эти стихотворения из Лейпцига обратно. Очевидно, именно в эти дни возникла Dm собственнно «Дионисовых дифирамбов». Об этой датировке, в частности, свидетельствует посвящение французскому поэту Катуллу Мендесу: *Восемь Inedita и inauditia, переданные моему другу и сатиру, творцу «Изолины»: пусть он передаст мой дар человечеству / Ницше Дионис / Турин, 1 января 1889*. То, что Н. говорит о «*восьми inedita*» целиком согласуется с тем, что в тот же день Н. затребовал из типографии назад «*Славу и вечность*», «*О бедности богатейшего*» же еще до следующего дня рассматривалась как концовка НСВ. То же, что Н. называет Мендеса «творцом «Изолины»», также дает нам точную хронологию. Как пишет Подах (NWZ, 372 f.), премьера «Изолины, принцессы фей» состоялась в Париже только 26 декабря 1888 г. Любимая газета Н. «Journal des Débats» с рецензией на премьеру вышла в номере от 31 декабря, напечатанном вечером 30-го. В Турине газета должны была оказаться на следующий день.

Для отправки в типографию рукопись ДД была подготовлена, очевидно, между 1 и 3 января. 3-го числа Н. отправил Козиме Вагнер записку следующего содержания: *Мне рассказывают, что некий божий скоморох сегодня днем закончил «Дионисовы дифирамбы»*.

Паяц – и только! Поэт – и только!

Ср. ПСС 4, с. 299–302 (Песнь уныния, 3).

В кругу дочерей пустыни

Ср. ПСС 4, с. 306–311 и комментарии.
ваших ножек ... европейцу – в ТГЗ здесь была еще одна строка, переведенная у Голосовкера как «*впервые, право*».
... *прочих дамочек* – по сравнению с ТГЗ выпало *ältlichen* (у Голосовкера было переведено как «самочек староватых»).
еще раз рыкнем ... не могу иначе – здесь, похоже, Голосовкер сперва пародирует песню «Дубинушка», а затем уже сам Н. пародирует Лютера. Ср. в ЕН, Почему я пишу такие хорошие книги, 2.
Пустыня ширится ... это ты – Ср.: ПСС 11, 28[4].

Последняя воля

Ср. ПСС 10, 20[11].

Меж коршунов

В Rs это стихотворение носило заголовок «*У пропасти*».

Огненный знак / Сигнальный огонь

Мы приводим два перевода этого стихотворения, поскольку они, в равной степени стремясь к точности и адекватности передачи оригинала, дают во многом разную и взаимодополняющую его интерпретацию. Смысловые различия начинаются с самого названия и продолжаются во второй же строке: «*камень-жертвенник обрывисто-высокий*» у Микушевича и «*за ночь взнесенный жертвенный камень*» у Карельского, причем корректными могут быть оба варианта, поскольку различия здесь обусловлены двумя разными способами передачи немецкого слова «*jäh*», означающего как «отвесный», так и «стремительный». В первой же строфе следует еще более существенное различие в передаче многозначного слова «*verschlagne*». Verschlagen – это либо прилагательное, означающее «хитрый, лукавый», либо причастие, образованное от глагола, имеющего среди проче-

го значение «уносить», «относить» (течением, волной). Соответственно у Микушевича мы видим «*хитрых мореплавателей*», а у Карельского – «*заблудших пловцов*» (что на первый взгляд объяснимее из образности стихотворения, но вступает в противоречие с поэтикой Н. в целом: «заблудший» – слишком христианское понятие, кроме того, Заратустра не занимается прозелитизмом, хотя «сигнальные огни» и могут вызвать ассоциации со спасительным маяком). Третье значительное разночтение касается того, чем именно хочет поймать Заратустра свое «*седьмое одиночество*». У Микушевича «*высокогорный рыбак*» «*метнул крючок над головой*» (что вернее, поскольку «*Angel*» – это удочка), у Карельского же он «*к небесам забрасывает невод*» (что тоже возможно, поскольку «Angel nach <etwas> werfen» в принципе может переводиться и как «расставлять сети»). В любом случае перед читателем два замечательных перевода, которые можно уподобить дереву с раздвоенным стволом, растущему из корней немецкого оригинала.

Садится солнце

Воздух так … зачем? – черновой вариант: *воздух становится прохладен и чист; / уже бросает на меня ночь / искоса свой / соблазняющий взгляд: / и даже храброе сердце сомневается / и спрашивает: зачем?*
… *отправляется в путь* – черновой вариант: *вплывает в Ничто.*

Жалоба Ариадны

Ср.: ПСС 4, с. 254–256 (Чародей, 1).

Ницше contra Вагнер

Ядро этого произведения содержится в письме Н. Фердинанду Авенариусу от 10 декабря 1888 г. Здесь он указывает на те места в его произведениях, которые могут свидетель-

ствовать о давней истории его противоречий с Вагнером: *Противоположность между декадентом и творящей из преизбытка сил, то есть дионисийской натурой ... это противоположность, которая выражена в моих книгах, должно быть, раз пятьдесят, например, в «Веселой науке», с. 312 сл. <т. е. ВН 370> ... Вот с ходу несколько мест: «Человеч. слишком человеч.» (написано более 10 лет назад) 2, 62 – декаданс и бернинизм в стиле Вагнера <СМИ 144>; 2, 51 – его нервозная чувственность <СМИ 116>; 2, 60 – одичание в том, что касается ритма <СМИ 134>; 2, 76 – католицизм чувства, его «герои» просто невозможны физиологически <СМИ 171>. «Странник и его тень», 93 – против espressivo любой ценой <СЕТ 165>; «Утренняя заря», 225 – искусство Вагнера обольщать профанов в музыке; «Веселая наука», 309 – Вагнер насквозь актер, в том числе и как музыкант <ВН 368> – и 110: восхитителен в утонченности чувственной боли <ВН 87>. «По ту сторону добра и зла», 221 – принадлежность Вагнера к больному Парижу, по сути как у французских поздних романтиков, как у Делакруа, у Берлиоза – все с неким fond неисцелимости в глубине и, следовательно, фанатики выразительных средств.*

Таким образом, здесь названы прототипы уже 7 будущих главок НСВ.

На следующий день, 11 декабря, Н. написал письмо Карлу Шпиттелеру, в котором предлагал к изданию «*произведение такое же по оформлению и объему, как «Случай «Вагнер»» ... заключающее в себе 8 избранных отрывков из моих произведений, под заголовком: Ницше contra Вагнер / Досье / из произведений Ницше*». Однако уже 12 декабря Н. решил сам издать это произведение и набросал следующий его план (в тетради W II 10):

Ницше contra Вагнер / Из досье / психолога
в. Н 1. Звездная дружба <ВН 279>
в. Н 2. В чем я восхищаюсь
в. Н 3. В чем я возражаю
Ч 4. Вагнер как опасность
для ритмики, 59
при исполнении С. 93
Ч 5. Музыка без будущего
в. Н 6. Почему Вагнер говорил о себе глупости <ВН 99>
в. Н. 7. Два антипода

П. 8. Почему Вагнер – французское явление <по-видимому, ПСДЗ 254, 256>

Ч. 9. Как я освободился от Вагнера

в Н. 10. Почему мой вкус изменился <по-видимому, будущий «Эпилог», т. е. исходно параграфы 3 и 4 из Предисловия к ВН>.

Как видим, в дальнейшем Н. удалил только два отобранных фрагмента – «*Звездную дружбу*» и «*Почему Вагнер говорил о себе глупости*», – добавил еще две главки и заключительное стихотворение.

В процессе переписывания фрагментов для Dm Н. менял некоторые предложения в своих афоризмах, вставлял новые фразы, делал отдельные сокращения. 15 декабря подготовленную таким образом рукопись он отослал в типографию Науманну. Спустя два дня он добавил к рукописи «*Интермеццо*», т. е. в точности воспроизведенный 7-й параграф главы «*Почему я так умен*» из ЕН. Однако уже 22 декабря Н. пишет Кезелицу: *Произведение «Ницше contra Вагнер» печатать не будем. В «Ecce» содержится все основное и по этому поводу*. Науманну было отправлено распоряжение остановить печать НСВ. Тем временем в Турин из Лейпцига уже пришли гранки для корректуры. В связи с этим обстоятельством Н. снова изменил решение и 27 декабря отправил обратно просмотренные им гранки с пометкой «в печать». В сопроводительном письме он, в частности, пишет: *В 1889 году надо издать «Сумерки идолов» и «Ницше contra Вагнер» – сперва, наверное, последнее, поскольку мне со всех сторон пишут, что по сути именно мой «Случай «Вагнер»» привлек ко мне настоящее внимание общественности. «Ecce homo», который, когда он будет готов, надо передать переводчику, никак не раньше 1890 года окажется в такой готовности, чтобы выйти сразу на трех языках.*

Однако непосредственно перед помрачением Н. его планы приняли новый оборот. 2 января 1889 г. он пишет Науманну: *События успели далеко обогнать маленький текст «Ницше contra В.»: вышлите мне стихотворение, которое стоит в конце, а также последнее присланное Вам стихотворение «Слава и вечность». Вперед с «Ecce»!* (НП, с. 361). Это последняя дошедшая до нас авторская воля Ницше, и согласно ей печать НСВ либо должна была быть приостановлена, либо отме-

нялась вовсе. (В связи с этим КиМ поместили это произведение в самом конце VI тома, после ДД). В 1889 году оно вышло в нескольких экземплярах – в том виде (вместе с «*Интермеццо*» и заключительным стихотворением), в каком и публикуется в нашем издании.

Чем я восхищаюсь

Ницше почти в точности воспроизводит афоризм 87 «*О тщеславии художников*» из ВН. Добавлено несколько образов в предложении *Он знает, как устало влачится душа*, а также два последних предложения.

В чем я возражаю

Ницше воспроизводит с многочисленными изменениями и уточнениями афоризм 368 «*Циник говорит*» из ВН.
Это не означает ... о Вагнере – в ВН отсутствует.
Эстетика ... vrai» – в ВН: *мой «факт»*.
Чтобы слушать ... Gérandel – в ВН отсутствует.
... а кто не «народ» – изменения по сравнению с исходным вариантом этого места в ВН производят впечатление полемики Н. с самим собой: снимая кавычки с «народа», которые были в ВН, он спрашивает (себя?): «а кто не «народ»?».

Интермеццо

См. раздел 7 главы «*Почему я так умен*» в ЕН.

Вагнер как опасность

Первая часть этой главы представляет собой существенно переработанную версию афоризма 134 «*Как должна двигаться душа сообразно новейшей музыке*» из СМИ, вторая – афоризма 165 «*О принципах исполнения музыки*» из СЕТ .

Музыка без будущего

Глава, название которой обыгрывает применявшееся к музыке Вагнера понятие *Zukunftsmusik*, представляет собой значительно сокращенный и одновременно дополненный множеством характеристик и положений (в частности, добавлена последняя, пророческая, фраза) афоризм 171 «*Музыка как позднее дитя всякой культуры*» из СМИ.

Мы антиподы

Эта глава представляет собой существенно отредактированную и дополненную новой концовкой (со слов «*В Гёте...*») первую половину афоризма 370 «*Что такое романтизм*» из ВН.

одаривал Вагнеров ... самим собой – здесь Н. планировал сделать вставку, от которой, однако, отказался. Она сохранилась в папке Mp XVI 5, с указанием для наборщика: «*вставить в главу* Два антипода, *после слов:* самим собой». Здесь Н., в частности, пишет: *Мои произведения богаты такими подарками; следует быть начеку, когда я называю имена. Все самые важные вещи о себе я всегда высказывал таким образом, что кто-нибудь другой бывал каждый раз несказанно тронут и чуть ли не захлебывался от восторга. Третье «Несвоевременное», к примеру, называется «Шопенгауэр как воспитатель»: из благодарности за это почитатели Шопенгауэра мне чуть ли не в ноги кланялись. Следует же читать: Ницше как воспитатель и, возможно, как нечто большее... Эта книга завершается такой мыслью: когда в мире появляется великий мыслитель, то всё оказывается под угрозой. Это как если бы в большом городе случился сильный пожар – такой, когда никто уже не знает, где искать убежища и что сможет устоять. Любовь к истине есть нечто страшное и насильственное, она как пожар.*

... конвульсий, оглушения ... – ср. черновик письма Ф. Овербеку от 20 июля 1888: «*Этому же служат и мои последние книги: в них больше страсти, чем во всем, что я вообще до сих пор написал. Страсть оглушает. Она идет мне на пользу, она позволяет немного забыться*» (НП, с. 322).

... истязал себя, сочиняя ... – Флобер заставлял привязывать себя к стулу во время работы.

Где место Вагнеру

Первая половина главы представляет собой существенно измененное и дополненное начало афоризма 254 из ПСДЗ. Вторая половина – столь же сильно видоизмененную середину афоризма 256 из ПСДЗ.

... *насмехаться над ... Парижем в 1871 году* – Н. имеет в виду комедию «Капитуляция», которую Вагнер сочинил после падения Парижа.

Вагнер как апостол целомудрия

1. Здесь воспроизводится стихотворение, завершавшее афоризм 256 из ПСДЗ.
2. Отредактированная вторая половина 2-й главы Третьего рассмотрения из ГМ.
3. За исключением последних трех предложений – отредактированная 3-я глава Третьего рассмотрения из ГМ.
   Проповедь целомудрия ... к противоестественности – ср. Тезис четвертый *«Закона против христианства»* и предпоследнее предложение 5-го параграфа главы *«Почему я пишу такие хорошие книги»* в ЕН.

Как я освободился от Вагнера

1. Слегка отредактированный вариант 3-го параграфа предисловия к СМИ. Данный текст публикуется на русском впервые.
   ... *фестиваля ...* – речь идет о вагнеровском фестивале в Байройте.
   ... *антисемитизму* – в СМИ отсутствовало.
   ... *приговорен к немцам* – ср. начало 6-го параграфа главы «Почему я так умен» ЕН.
2. Практически дословно воспроизведенный параграф 4 предисловия к СМИ. На русском публикуется впервые.

Слово берет психолог

1. Здесь с некоторыми сокращениями и незначительными изменениями воспроизводится первая половина афоризма 269 из ПСДЗ.
2. Слегка сокращенное и дополненное некоторыми вставками продолжение афоризма 269 из ПСДЗ.
3. С незначительными изменениями афоризм 270 из ПСДЗ.

Эпилог

1. Слегка отредактированный параграф 3 предисловия к ВН, к которому Н. добавил первые шесть предложений.
2. Воспроизведенный с незначительными изменениями параграф 4 предисловия к ВН. Добавлены первое и два последних предложения первого абзаца.
   … *пример этому* – этими словами заканчивалась рукопись, которую Н. отослал 15 декабря издателю. Однако вслед за тем Н. добавил дальнейший текст из предисловия ВН и отправил издателю с указанием: *В конце книги, перед стихотворением, продолжение текста.*

Фридрих Ницше
Полное собрание сочинений
Том 6

Научный редактор
И.А. Эбаноидзе
Оформление и верстка
И.Э. Бернштейн
Корректор
А.Б. Клюева

Подписано в печать 05.08.2009.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура NewBaskervilleC. Печать офсетная.
Печ. л. 12,75. Тираж 2200 экз. Заказ № 3860.

Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 9/4, стр. 1
Телефон (495)6218471
E-mail editor@kultrev.ru

При участии ООО «ЭМПРЕЗА»

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 25-58-83, 53-53-80
http://www.gipp.kirov.ru
e-mail: pto@gipp.kirov.ru